

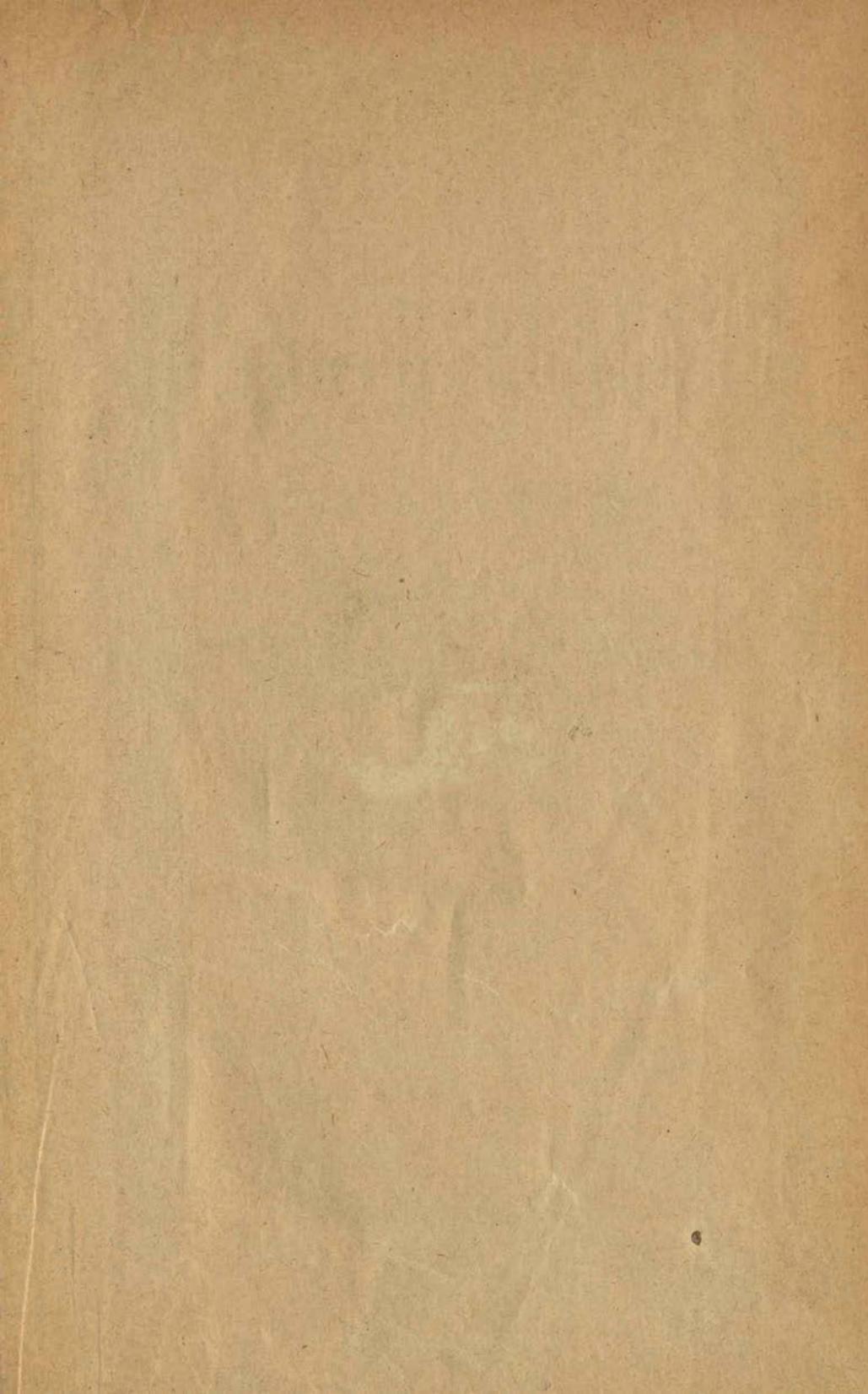
W 442
35

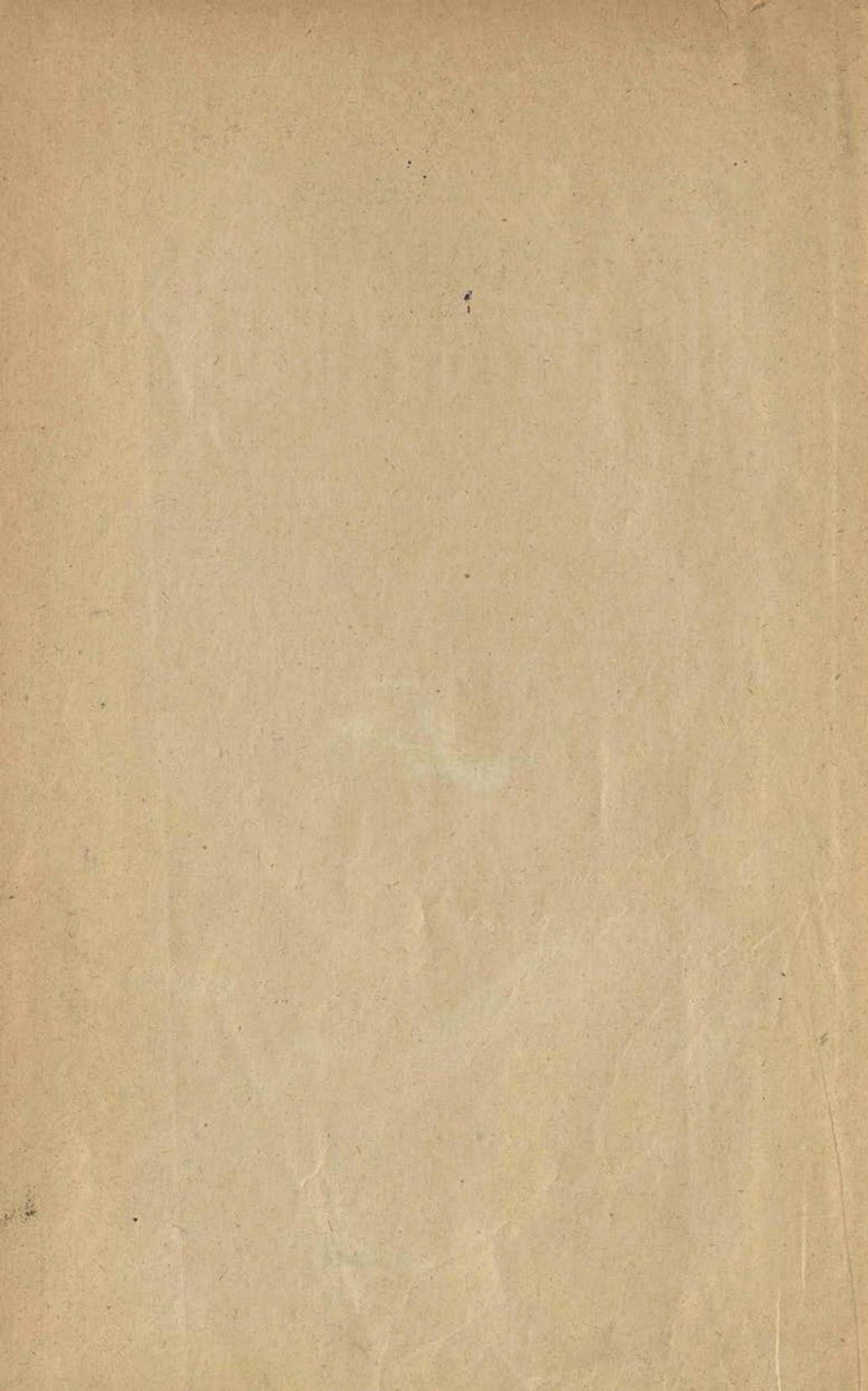
1925r. T. III

W-442
35

~~106~~ 163







66 X/163
БИБЛИОТЕКА ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

Под редакцией проф. Н. Г. ТАРАСОВА

W 442
35 W 442
35

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

452
Т о м III

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
В ЭПОХУ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ,
ЗАРОЖДЕНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ И
КАПИТАЛИЗМА

ДОПУЩЕНО ГОСУДАРСТВ. УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

2-ое издание.



66/163
245
БИБЛИОТЕКА ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

Под редакцией проф. Н. Г. ТАРАСОВА

~~W 442~~ / 35 W 442 / 35

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ

СОСТАВЛЕН

при участии: Г. О. ГОРДОНА, Н. П. ГРАЦИАНСКОГО,
А. А. ДЕКОНСКОГО, К. В. КОТРОХОВА, Е. А. МОРО-
ХОВЦА, В. С. СЕРГЕЕВА и Н. Г. ТАРАСОВА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Н. Г. ТАРАСОВА

Том III

ДОПУЩЕНО ГОСУДАРСТВ. УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Изд. 2-е, исправленное





37 2860



Ленинградский гублит № 22876.

Тираж 7000.-17 л.

2-ая Типография 1 арт. школы им. «Красного Октября», пр. Майорова, 53.

Том III.

**ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ
ОКЕАНИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ,
ЗАРОЖДЕНИЯ МИРОВЫХ
РЫНКОВ И КАПИТАЛИЗМА.**

СОСТАВИЛИ:

**А. А. ДЕКОНСКИЙ, К. В. КОТРОХОВ
и Н. Г. ТАРАСОВ**





ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение. 9

1. ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ.

Происхождение, значение и рост торгового капитализма.

1. Общее понятие о капитале. По **Богданову**, Краткий курс экономической науки 15
2. Торговое посредничество и эксплуатация ремесленника торговым капиталом. По **Зомбарту**, Современный капитализм, по **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии, по **Кулишеру**. Промышленный и рабочий класс в Западной Европе в XVI—XVIII стол. 17
3. Развитие домашней формы крупной промышленности. По **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии, по **Каутскому**, Предшественники научного социализма, по **Кулишеру**, Промышленность и рабочий класс в Западной Европе в XVI—XVIII столетиях, по **Зомбарту**, Современный капитализм, по **Богданову**, Краткий курс экономической науки, по **Кулишеру**, История экономического быта Западной Европы. 20
4. Социально-экономические результаты морских открытий и колониальной политики XV и XVI веков. По **Зомбарту**, Современный капитализм, по **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии 31
5. Расширение сферы деятельности торгового капитала и происхождение мануфактуры. По **Кулишеру**, Очерки экономического быта Западной Европы и Промышленность и рабочий класс в Западной Европе в XVI—XVIII столетиях, по **Бризону**, История труда и трудящихся, по **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии 47
6. Развитие мануфактуры и условия, задерживавшие ее рост в XVII и XVIII веках. По **Зомбарту**, Современный капитализм, по **Бризону**, История труда и трудящихся, по **Кулишеру**, Очерки экономического быта, по **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии 56
7. Борьба за океанические торговые пути и колониальные войны. По **Зомбарту**, Современный капитализм, по **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии 67
8. Меркантилизм. По **Богданову** и **Степанову**, Курс политической экономии, по **Чупрову**, История политической экономии 69

II. ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ ТОРГОВОГО КАПИТАЛИЗМА.

I. Условие экономического развития Англии, Франции и Германии в XVI—XVIII веках.

1. Интенсификация сельского хозяйства в связи с ростом английской торговли и промышленности. По **Tawpy**, The agrarian problem in the 16-th century, по **Slater**, The english peasantry and the enclosure of common fields, по **Rogers**, Six centuries of work and wages, по **Rogers**, History of agriculture and prices in England. по **Gay**, Inclosures in England in the 16-th century, по **Гранату**, К вопросу об обезземелении крестьянства в Англии, по **Савину**, Английская деревня эпохи Тюдоров, по **Н. Марксу**, Капитал, ч. 1, по **Каутскому**, Томас Мор и его «Утопия» и Томас Мор, первый великий утопист, по **Томасу Мор**, Утопия, пер. Генкель 73
 2. Огораживания в Англии. По вышеуказанным работам 76
 3. Образование безработного и безземельного населения и борьба с ним в Англии. По **Н. Марксу**, Капитал, т. I. 84
 4. Утопия Мора, как отражение новых экономических отношений. По **Каутскому**, Томас Мор и его «Утопия» и Томас Мор, первый великий утопист и по **Томасу Мор**, Утопия, пер. Генкель 89
 5. Экстенсивная система земледелия во Франции. По D'Avenel, Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800 93
 6. Укрепление крестьянского земледелия во Франции. По тем же работами по **Лучицкому**, Крестьянство во Франции XVIII в. (в Книге для чтения по истории нового времени), по **Кунову**, Борьба классов и партий в Великой французской революции 1789—1794, по **Кулишеру**, Очерки экономического быта 96
 7. Сенъериальный строй и тяжелое экономическое положение французского крестьянства. По тем же работам и по **Товвилю**, Старый порядок и революция 100
 8. Развитие сенъериального строя на западе и крепостного на северо-востоке Германии. По статье **Савина**, Аграрный строй Германии в XVI веке («Научное Слово», кн. 7, 1903 г.), по **Кулишеру**, Очерки экономического быта 104
2. Социально-политическая жизнь общества Западной Европы в XVI—XVIII веках.
1. Союз крупного землевладения с торговым капиталом в Англии. По статье **Бернштейна** из II тома «Предтечи новейшего социализма» 110
 2. Классовые группировки в Англии. По **тому же** 112
 3. Английская революция XVII века и ее результаты. По **тому же** 113
 4. Уничтожение феодальных вольностей королевскою властью и сохранение привилегированного положения дворянства во Франции. По **Ганото**, Франция перед Ришелье, по статье **Гуго**, Социализм во Франции XVII и XVIII ст. «Из истории общественных течений», История социализма т. II. 130

5. Слабость французской буржуазии и бессилие ее ограничить королевскую власть. По **тому же** 138
6. Ограничение феодальных вольностей, усиление власти помещиков над крестьянами и военно-бюрократический характер государства в Германии. По **Мерингу**, История Германии с конца Средних веков 147
7. Отражение социально-политической жизни французского общества в искусстве XVII—XVIII веков. По **Бельтову**, За 20 лет 152

3. Условия экономического развития общества в России в XVII—XVIII веках.

1. Экономическое положение Московского государства в середине и во второй половине XVII века. По **Покровскому**, Русская история, т. III, по **Готье**, Замосковский край в XVII веке 165
2. Развитие торгового капитализма в XVII веке. По **Покровскому**, Русская история, т. III, по **Кулишеру**, Очерк истории русской промышленности 171
3. Торгово-промышленное развитие в XVII столетии. По **Покровскому**, Русская история, т. III, по **Бочкареву**, Экономический быт России в XVII веке 178
4. Крупная промышленность начала XVIII века. По **Туган-Барановскому**, Русская фабрика, по **Кулишеру**, Очерк истории русской промышленности 192

4. Социально-политическая жизнь общества в России в XVII—XVIII веках.

1. Индустриализация крепостного хозяйства в XVIII веке и влияние этого на социальный строй. По **Покровскому**, Русская история, Очерк истории русской культуры и Русская история в самом сжатом очерке 208
2. Социально-экономическое преобладание дворянства и рост дворянских привилегий. По **Покровскому**, Русская история, т. III, и Эпоха великих реформ 217
3. Отражение экономических отношений на эволюции государственного строя в XVII и XVIII столетиях. По **Покровскому**, Очерк истории русской культуры 228
4. Экономическая политика торгового капитала и меркантилизм. По **Покровскому**, Очерк истории русской культуры и Русская история в самом сжатом очерке 237
5. Проникновение культурных влияний с Запада и зарождение буржуазных революционных идей. По **Покровскому**, Очерк истории русской культуры и Русская история в самом сжатом очерке. 245

З а к л ю ч е н и е.

1. Какие изменения произвел торговый капитал. По **Мерингу**, История Германии с конца Средних веков 247
2. Торговый капитализм и современность. По **Ульянову-Ленину**, Развитие капитализма в России и по **Спутнику** по Сельско-Хозяйственной Выставке С. С. С. Р. 253

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



ВВЕДЕНИЕ.

Третий том, давая характеристику жизни общества в XVII и XVIII веках, ставит изучение жизни общества на началах, идущих вразрез с традицией, которая держится устойчиво и до настоящего времени.

В одной из книг, изданных в 1923 году, общее содержание так называемой «новой истории» и разделение ее на периоды обозначается почти дословно так: Новую Историю открывает XVI век расширением европейской торговли; смелые предприятия народов западной окраины материка пролагают пути к дальнему востоку, Индии, Китаю, Японии, а также начинают собою завоевание громадного материка Америки. Одновременно происходит реформация, т. е. разрушение большой папской державы. Приток золота из заокеанских стран, поступление в оборот бывших церковных богатств, отнятых светской властью, усиливает в Европе соперничество и войны. В духовном смысле реформация означает начало освобождения умов от авторитета церкви. Так как основная движущая сила здесь реформация, то и период этот обозначается веком реформации. Он охватывает 1500—1660 годы, приблизительно.

Далее, переходя к следующему периоду, отмечают, что, «несмотря на перемены, внесенные реформацией», строй общества и приемы управления остались при «старом», «феодалном» порядке, «выработавшемся в «средние века». В XVII и XVIII веках положение крестьян даже ухудшается, особенно в средней и восточной Европе, где установилось тяжелое крепостное право; в европейских колониях Америки возникло в эту пору рабовладение. Между тем просвещение сделало большие шаги: в XVIII веке в «образованных кругах резко сознавался» устарелый характер абсолютной монархии и сословного строя. Среди американских новопоселенцев впервые стали слагаться демократические и автономные порядки,

послужившие примером для Европы. Этому периоду, на основании изложенного, и придается название «последнее столетие старого порядка». Этот период датируется 1660—1789 годами. Так оформляется содержание «новой истории» в Западной Европе: оно строится на основе реформации и просвещения, «осознающего» старый порядок.

Не сильно отличается от этого и традиционное построение изучения жизни общества Восточной Европы. В русской жизни обычно сосредоточивается внимание на внешне-политической стороне: на польских войнах и на присоединении Малороссии в XVII веке, на Великой северной и Семилетней войнах, на двух турецких войнах и на трех разделах Польши в XVIII веке. В области внутренней политики выступает на первый план Соборное Уложение, «Реформы Петра» и «Наказы и опыты сословного законодательства Екатерины», на фоне придворных переворотов, идущих непрерывно на протяжении всего XVIII века. Наконец, в области культурной—выдвигается «культурный перелом», часто связывавшийся почти исключительно с именем Петра, а позднее захватывавший и XVIII век. В XVIII веке отмечается «влияние просвещения».

Настоящий том, порывая с этой традицией, ставит себе задачей прежде всего вскрыть то, что обуславливало тот, а не иной ход вышеуказанных явлений и процессов. Поэтому является необходимым, чтобы было показано: расширение сбыта, рост торгового капитализма и колониальных завоеваний, военная потребность крупных монархий в больших армиях и флоте и содействие капиталистической организации домашней промышленности и мануфактуре и вытекающий из этого меркантилизм. Далее должна быть выявлена сила дворянства, усиление буржуазии и притеснение торговым капитализмом низших классов, борьба за власть дворянства, буржуазии и монархии, сила правительственной власти и значение дворянства и, наконец, стражение этого в придворной и дворянской культуре и зарождение культуры буржуазной.

Соответственно этому заданию и подбирается материал и озаглавляется он совершенно иначе: нет века реформации, века просвещения и старого порядка, а есть эпоха океанической торговли, господства торгового капитализма и зарождения промышленного капитализма, так как именно это было основой, на которой и происходило движение жизни общества. В виду поставленной задачи—возможно выпуклее выдвинуть обуславливающую

все силу торгового капитализма—первый отдел этого тома выясняет понятия о капитале и роль торгового капитала.

Поэтому в первой статье, выясняющей общее понятие капитала, раскрывается, как средства производства,—а вместе с ними и деньги, которые являются их общей формой стоимости,—становятся капиталом лишь в руках того, кто, опираясь на свое право собственности, пользуется им для присвоения прибавочного труда других. Вторая статья, устанавливая на основе роста производства, расширения и отдаления рынка неизбежность торгового посредничества, следит за рождением и развитием присвоения прибавочного труда торговцем, за эксплуатацией торговцем ремесленника. К этому примыкает ряд статей, позволяющих видеть, как на основе этих условий вырастает организация домашней промышленности, а затем возникает и мануфактура, где окончательно купец становится хозяином, как развившийся торговый капитал вызывает торговые войны и появление меркантилизма. Это дается в статьях от третьей до восьмой включительно.

Второй отдел посвящен жизни общества в эпоху торгового капитализма в Европе. Первая часть этого отдела вскрывает условия экономического развития общества в Западной Европе XVI—XVIII веков, и прежде всего в Англии. Первая статья подчеркивает интенсификацию сельского хозяйства в связи с ростом английской торговли и промышленности. Вторая и третья статьи показывают, как шло огораживание и как образовалось безземельное и безработное население, а четвертая дает характеристику «Утопии» Мора, как отражения новых экономических отношений. В отличие от экономических условий Англии, экономические условия Франции характеризуются экстенсивной системой земледелия, укреплением крестьянского землевладения и тяжелым положением крестьянства при сеньериальном строе. В Германии, как характерная черта, выдвигается развитие сеньериального строя на западе и крепостного на северо-востоке.

Вторая часть этого отдела изображает социально-политическую жизнь общества в Западной Европе в тех же веках. Здесь читатель находит эволюцию политического строя, стоящую в каждой из названных стран в зависимости от указанных особенностей экономического развития. Для Англии устанавливается характерная черта—союз землевладения и торгово-промышленных кругов, и с точки зрения классовых группировок рассматривается

английская революция и выясняются ее результаты. Для Франции характерно уничтожение феодальных вольностей королевской властью и сохранение привилегированного положения дворянства, слабость буржуазии и бессилие ее ограничить королевскую власть. Для Германии—ограничение феодальных вольностей, усиление власти помещиков над крестьянством и военно-бюрократический характер государства.

В третьей части даются явления и процессы, происходившие в Восточной Европе в связи с ростом торгового капитала. Первая статья, давая очерк экономического положения Московского государства в середине первой половины XVII века, с одной стороны, на фоне деревенского разорения показывает рост натурального оброка, закрепление крестьянина за помещиком и рост крупного землевладения, как основы, создающей расцвет новой феодальной знати XVIII века, а с другой стороны, изображает идущее параллельно с усилением мелкого хозяйства развитие мелкого ремесленного производства, питавшего торговлю, носившую в это время типическую еще средневековую форму, далекую от торгового капитализма. Следующие две статьи знакомят, как во вторую половину XVIII века крупная торговля путем монополизации наиболее ценных товаров сосредоточивала торговый капитал в руках московских гостей с царем во главе, и как шло торгово-промышленное развитие, когда делали первые шаги наряду с домашнею формою крупной промышленности и мануфактуры. Четвертая статья рисует, как концентрация торгового капитала дала базис для начала развертывания мануфактуры XVIII века, сначала купеческой, а затем дворянской.

Четвертая часть второго отдела показывает, как сложилась индустриализация крепостного хозяйства в XVIII веке, как эта индустриализация влияла на социальный строй, выдвигая помещика, оттирая буржуазию и все сильнее пригнетая трудящиеся классы, крестьян и рабочих, и как из этого родились крестьянские волнения и Пугачевщина. Далее вскрывается обусловленная ростом торгового капитализма экономическая политика, поведшая к борьбе за Балтийское и Черное моря и укреплению меркантилизма, затем отмечается, как в политическом строе новые экономические отношения вызвали падение земских соборов и развитие бюрократической монархии и как в результате социально-экономического преобладания дворянства выросли его политические при-

вилегии. Наконец, в связи с развитием торговли с Западом и проникновением оттуда культурных течений, рассматривается зарождающаяся у руководящих кругов новая идеология, отражающая интересы торгового капитализма и нарождающегося промышленного капитализма.

В соответствии с началом тома, где трактуется о значении и природе торгового капитализма, в конце тома две статьи выясняют, какие изменения произвел торговый капитал в жизни общества и каковы формы торгового капитализма, живущие и поныне, а также причины живучести их в современности.



1. ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ.

1. Происхождение, значение и рост торгового капитализма.

1. Общее понятие о капитале.

В обыденной речи под капиталом принято понимать имущество, приносящее доход. Но такое понимание совершенно неправильно, потому что никакое имущество само по себе дохода приносить не может.

Рассмотрим конкретный пример. Торговец располагает известной суммой денег. Он эти деньги затратил на покупку товара, затем продал товар и получил некоторую прибыль. Всю операцию можно выразить такой формулой:

$$Д \text{ (деньги)} — Т \text{ (товар)} — Д' \text{ (деньги)},$$

причем $Д'$ больше $Д$, так как иначе операция не имела бы смысла. Положим, что $Д$ составляет 80 рублей, а $Д'$ равно ста рублям. Далее, пусть производство денежного металла в размере одного рубля требует затраты одного дня общественно-необходимого труда. Следовательно, торговец, затратив 80 рублей, не только вернул их, но и получил сверх того 20 рублей или продукт, соответствующий 20 дням общественно-необходимого труда.

Этот избыток может происходить из двух источников. Возможно, что доставка товара от производителя, у которого торговец его купил, к потребителю, которому он его продал, потребовала как раз 20 дней труда, благодаря, например, перевозке на дальнее расстояние. В таком случае торговец лишь довершает дело непосредственного производителя, заканчивает необходимый трудовой процесс, относящийся к продукту, и получаемый им доход тогда имеет такой же характер, как доход ремесленника. Но в большинстве случаев труд, приложенный самим торговцем, отнюдь не исчерпывает разницы между $Д'$ и $Д$. Эта разница получается от того, что торговец оплачивает не весь труд производителя, а только часть

его. Товар стоил самому его производителю 90 дней труда; купец же дал за него не 90 рублей, а 80, и присваивает себе, таким образом, 10 дней прибавочного труда. Тут торговец выступает уже не в качестве ремесленника, занятого перемещением товаров, а в качестве «капиталиста». Его денежный запас и прочее имущество, которое служит здесь для целей присвоения прибавочного труда товаропроизводителя, играет роль капитала.

Бывают, однако, случаи, когда кажется, что доход с капитала не имеет ничего общего с процессом труда. Таков, например, доход с капитала, отданного в рост, — с капитала ростовщического или кредитного. Ростовщик ссужает известную сумму денег крестьянину или ремесленнику и через известный промежуток времени получает обратно сумму, которая значительно больше первоначальной; он совершает операцию, которую можно выразить следующей формулой:

$$D \text{ (деньги)} — D' \text{ (деньги)},$$

где D' , как и в первой формуле, больше D . Здесь иллюзия самовозрастания D еще больше, чем в первом случае, потому что роль ростовщика не имеет ничего общего с производительной деятельностью. Но если мы вдумаемся в вопрос, то мы увидим, что ростовщик получил известный доход только потому, что он ссудил свои деньги (или часть своего имущества, в виде семян, сырья и т. п.) непосредственному товаропроизводителю. Если бы он хранил их в своем сундуке, то ясно, что количество денег не подверглось бы никакому изменению. Но, ссудив эти деньги товаропроизводителю, он дал ему возможность обратить их в средства производства (в орудия, сырье и т. д.), прибавить к ним известное количество труда и получить таким образом продукт, имеющий большую стоимость, чем первоначальная сумма. Часть этой новой стоимости и присваивает себе ростовщик в виде процента на капитал.

То же самое относится к капиталу промышленного предприятия. Как и в рассмотренных случаях, движение капитала начинается здесь с денег. Фабрикант покупает средства производства и рабочую силу, которые образуют промышленный и производительный капитал. Заканчивая производство продукта, он получает товар, который и продается за определенную сумму, превосходящую первоначальные затраты. Избыток получается от того, что фабрикант, уплачивая рабочим заработную плату, отдает им лишь

часть той стоимости, которую они прибавили к средствам производства, превратившимся в готовый продукт. Таким образом, доход с капитала и здесь основан на присвоении продукта чужого труда, на эксплуатации чужой рабочей силы.

Эта эксплуатация возможна только потому, что средства производства, без которых она вестись не может, не принадлежат непосредственному производителю или имеются у него в недостаточном количестве, а составляют либо целиком, либо в некоторой необходимой своей части частную собственность капиталиста. С этой точки зрения капитал следует определять, как средства производства, ставшие средствами эксплуатации благодаря тому, что они находятся в частной собственности.

Средства производства, а вместе с ними и деньги, которые являются их общей формой стоимости, становятся капиталом лишь в руках того, кто, опираясь на свое право собственности, пользуется им для присвоения прибавочного труда других — безразлично, будут ли эти другие его наемными рабочими, или самостоятельными на вид производителями. Если бы те же самые средства производства перестали быть частной собственностью, а, следовательно, орудием эксплуатации, то тем самым они перестали бы являться и капиталом, сохраняя, конечно, все свое производственное значение.

2. Торговое посредничество и эксплуатация ремесленника торговым капиталом.

Два основных факта обусловили переход ремесленно-городского общества в торгово-капиталистическое: во-первых, общее возрастание производства и, во-вторых, наиболее быстрое развитие той его отрасли, которая заключается в перемещении продуктов.

Особенно сильный прогресс «перевозочно-торгового производства» определялся тем фактом, что с возрастанием всего производства и расширяющимся разделением труда приходилось перемещать не только большие массы продуктов, но, в общем, и на большие расстояния, чем прежде.

Расширяющееся производство не ограничивается ближайшими рынками и шаг за шагом вступает в связь с рынками более отдаленными. На отдаленные рынки приходится перевозить все большую долю продуктов. Как отыскание таких рынков, так и поддержание сношений с ними становится технически все более трудным делом.

Вместе с тем перемещение продуктов из мастерской на рынок приобретает все большее значение в общей системе производства.

Для интерлокального сбыта товаров возможны два способа: первый способ—разносный торг и сбыт на рынках и торгах, производимый самими ремесленниками, и второй способ—сбыт торговцами-посредниками. При незначительности сбыта и близости рынка можно обойтись первыми двумя способами; при увеличении же производства, расширении сбыта и удалении рынка является необходимость в торговом посредничестве, так как мелкий производитель не имеет возможности доставлять лично свои товары на отдаленный рынок, и, таким образом, последняя операция производства—перемещение продукта—отделяется от предыдущих и переходит в руки купца.

Европейское ремесло рано начало работать для интерлокального сбыта на обширный рынок и рано явились посредники-торговцы. Уже в XII веке велась обширная торговля сукнами, произведенными ремесленниками. Организация в Магдебурге в 1152 году гильдии, которая, главным образом, вела торговлю сукнами в отрез, показывает, что в это время начиналась во всяком случае значительная торговля сукнами. В 1192 году кельнское сукно распространялось по Рейну и доставлялось в Вену регенбургскими купцами. В XIII столетии случаи интерлокальной торговли сукнами становятся чаще. В XIV веке повсюду в северной Германии почти сплошь, а также и в других местах торговцы отрезами захватывают монополию. Большое значение имела интерлокальная полотняная промышленность. Здесь работала большая масса ремесленников, произведения которых констанцские купцы развозили по всему миру. У этих полотняно-торговцев были собственные дома в Париже и Брюсселе. В XIII и XIV веках мы встречаем их также на ярмарках Шампани, а собственные их дома в Баре, Труа, Провансе и Ланьи. Шелковая индустрия с самого момента своего возникновения была производством, работавшим на вывоз. То же можно сказать о производстве манчестера и других бумажных тканей в XV и XVI столетиях. Добыча металлов производится лишь в определенных местонахождениях, рассеянных по всему земному шару; поэтому, если бы металлы не сделались объектами интерлокальной и интернациональной торговли, сколько-нибудь значительное массовое потребление их было бы невозможно. И они действительно рано становятся предметом широкой торговли. Железо и руды уже в X веке были пред-

метом ввоза в Северную Италию. Предметом ввоза из Европы в Египет железо сделалось в XII и XIII столетиях, предметом ввоза в Англию—в начале XIV столетия, предметом немецко-итальянской и ганзейской торговли оно было и в течение всех Средних веков. Серебро из Германии в XIII веке мы встречаем на ярмарках в Шампани и на дорогах в Англию. В XIV и XV столетиях им торгуют купцы из Данцига, а также мелкие торговцы из Любека; роль его в немецко-итальянском торговом обороте все увеличивается. Точно также медь, латунь, олово, свинец уже в раннюю эпоху Средних веков часто упоминаются как объекты международного обмена. Но не только сырые материалы или полуфабрикаты,—предметами торговли скоро сделались и вполне готовые продукты металлургической промышленности: всего раньше оружие наступательное и оборонительное, а также те вещи, которые в настоящее время обыкновенно называются «мелочными железными товарами»—инструменты, ножи, замки, булавки, иглы, петли, крючки и пр. Так ширилось производство и сбыт, что вызывало необходимость торгового посредничества. Соответственно этому, совершались изменения в общественной роли различных групп общества.

Если национальные и международные рынки Средневековья не могли обходиться без купцов, то появление мирового рынка, последовавшее за эпохой великих географических открытий, сделало необходимость торгового посредничества неизбежной. Для получения экзотических товаров европейцам было необходимо вывозить в заокеанские страны товары собственного производства. Но посещение отдаленных заморских рынков самими производителями для сбыта товаров оказывалось крайне затруднительным, даже невозможным. С другой стороны, еще более, чем раньше, для успешных продаж приходилось сообразоваться со спросом. Новый рынок потребовал и новых людей, тех специалистов, которые появляются и растут вместе с рынком. Дальнейшее же расширение и углубление товарного хозяйства постепенно увеличивало силу и общественное значение класса, который сделал торговлю своей специальностью,—класса купцов.

Оторвавшись от рынка, производитель должен продавать свои товары купцу, чтобы иметь возможность продолжать свое дело; но условия этой меновой сделки перестают быть равными для обеих сторон. Во-первых, производитель не знает действительных условий того рынка, на котором купец продаст его товар; во-вторых, производитель не может ждать, так как при его маленьких запасах ему необходимо немедленно продать свой товар, чтобы приобрести средства

для дальнейшего ведения своего хозяйства. Купец, напротив, обладает всеми нужными сведениями и, располагая сравнительно большими средствами, может ждать с покупкой, если ему не нравятся предлагаемые условия. Следовательно, производителю приходится вообще уступать, принимая ту цену, которую дает торговец. Это еще не значит, конечно, что торговец станет понижать цену до произвольно низкого уровня: во-первых, существует конкуренция и между торговцами, и в случае крайности производитель товара может, хотя и с большими усилиями, найти для себя другого купца-посредника; во-вторых, купцу нет и расчета окончательно подрывать хозяйство мелкого производителя чрезмерно тяжелыми условиями, потому что, если хозяйство его разрушится, купец не будет больше извлекать из него никаких выгод и подорвет основу собственного благосостояния. Дело сводится, следовательно, к такой эксплуатации, которая еще оставляет мелкому производителю только необходимые средства для продолжения его предприятия, а все, что сверх того, получает торговец, соответственно уменьшая ниже уровня стоимости ту цену, которую он дает за продукт производителю.

Со второй половины XIV века мы встречаемся уже часто с эксплуатацией мелкого производителя со стороны торговца. Но наряду с этим нередко в качестве посредника-скупщика выступает не чистый купец, а производитель, выполняющий вместе с тем последнюю перед доставкой на рынок товара операцию производства. Иногда скупщик выступает еще и в роли кредитора-ростовщика, давая в трудную минуту мелкому производителю ссуду на поддержание хозяйства. Этим он, в сущности, заранее выплачивает цену тех продуктов, которые еще только будут произведены его должником. Но зато тем сильнее понижается цена этих продуктов и тем прочнее становится зависимость производителя от торговца-ростовщика.

3. Развитие домашней формы крупной промышленности.

Все существенные особенности ремесла находят свое выражение в определении: непосредственное производство на потребителя. Именно способ сбыта отличает эту форму производства от всех позднейших. Ремесленник работает всегда для потребителя, причем либо последний побуждает его к этому заказом отдельных предметов, либо они встречаются на рынке или на ярмарке. Работа на заказ и ра-

бота для рынка должны друг друга пополнять, во избежание «мертвого сезона». Обыкновенно рынок сбыта ограниченный: город и его ближайшие окрестности. Потребитель покупает из первых рук.

В XVI, а тем более в XVII—XVIII столетиях, когда рынок сбыта сильно расширяется, развивается крупная промышленность. Существенные особенности ее, в отличие от ремесла, в том, что ремесленник не встречается с потребителем, и покупка последним совершается из вторых, а то и из третьих рук. Непосредственное производство на потребителя заменяется в ней производством на посредника-скупщика.

Такую новую форму промышленности мы можем наблюдать уже с XIV века, в особенности в области производства сукна и в некоторых металлургических промыслах.

Суконное производство во Флоренции в XIV столетии пробило первую брешь в твердыне ремесленных статутах: отдельные мастера и купцы стали заказывать ремесленникам и просто рабочим заготовлять для вывоза сукна, и около 30 тысяч человек начали работать для суконного дела. Появились посредники, снабжавшие рабочих сырьем и зарабатывавшие на этом большие деньги; предприниматели же отправляли уже готовые продукты в те страны, которые в них нуждались.

Тонкие сукна были предметом роскоши. Как таковые, они оплачивали расходы на перевозку и потому могли сделаться предметом вывоза. Рынком для них была вся Европа. Неудивительно, что там, где существовали необходимые условия, где было обилие хорошего сырого материала и где в то же время техника достигла необходимого развития,—там суконная промышленность легко делалась вывозной промышленностью. Где шерстяная промышленность делалась вывозной, там для занятия ею требовался капитал. Производитель уже не продавал своего товара непосредственно покупателю: товар делал большие путешествия, переходил иногда для сбыта с одного рынка на другой и при перевозке часто подвергался опасностям. Проходило много времени прежде, чем затраты на производство товара возвращались. Там, где шерстяная промышленность начинала служить вывозу, вскоре сказывалась необходимость подвозить сырье, шерсть издалека, ибо ближайшие окрестности не могли удовлетворить возрастающего спроса на шерсть. И чем больше развивалась промышленность, тем сильнее возрастала конкуренция, тем выше становились требования к тонкости и добротности сукна, тем большие требования предъявлялись и к

сырью. Лишь немногие местности доставляли удовлетворительную шерсть; лучшая шерсть доставлялась из Англии. Сырье становилось тем дороже, чем дальше отстояло место его производства от места потребления; приходилось делать все большие запасы его. Капитал, вложенный в сырье, увеличивался, и оборот его замедлялся в той же мере, в какой расширялся вывоз. Благодаря всему этому, производитель сукна либо сам должен был сделаться капиталистом, либо попадал в зависимость к купцу, который давал ему необходимый для производства аванс. В действительности происходило и то и другое. Шерстяной ткач работал на дому один или с одним помощником, получал сырье от купца и возвращал последнему продукт своего труда за определенную плату, или же он становился капиталистом, который давал работу большему или меньшему числу рабочих и руководил не только производством, но и торговлей. Такого положения удавалось достигнуть не только ткачам, но часто и другим рабочим, занятым в шерстяной промышленности. Над шерстью, прежде ее превращения в сукно, совершались различные манипуляции, которые все более расчленились и производились специальными рабочими. В Страсбурге, напр., в XIV столетии от ткачей вообще отделялись прежде всего шерстобиты; последние чистили, приготавливали и пряли шерсть; затем пряжа переходила к ткачу. С ткацкого станка сукно отправлялось к валяльщику; в XIV веке валянье сукна также сделалось самостоятельным ремеслом; то же самое произошло и со стрижкой сукна. Позже всего отделилось от тканья крашение шерсти. Лишь во второй половине XV века крашение шерсти появляется в виде самостоятельного ремесла; еще в XVI веке многие суконщики сами красили свои сукна. Каждое из этих отдельных ремесел технически зависело от других, каждое старалось поставить другие ремесла в экономическую зависимость от себя. Особенно энергичная борьба велась между шерстобитами и ткачами. Кое-где, например в Силезии, ткачам удавалось поставить в зависимость от себя шерстобитов, но в большинстве случаев верх одерживали последние. Среди шерстобитов развилась аристократия в лице торговцев шерстью, которые отдавали шерсть для обработки наемным рабочим или бедным мастерам. Подобное явление мы наблюдаем и в металлургии.

В производстве холодного оружия и Золингене на Рейне, известном центре оружейной промышленности, мастера делились на три цеха: на кузнецов, на закаливальщиков и шлифовальщиков

и на мастеров, выделывавших ножны (швертфегеров) и собиравших готовые части оружия (рейдеров). Оружие явилось только тогда годным для употребления, когда оно успело уже пройти через руки мастеров всех трех цехов, лишь после того, как швертфегер изготовил ножны и рейдер составил оружие. И до тех пор, пока оно не было готово, оно не могло поступить в продажу, ибо кузнецам было запрещено сбывать клинки в необделанном виде, в виде «черных клинков», иначе следующие за ним работники лишились бы заработка. Таким образом, кузнецы были вынуждены сбывать все свои изделия рейдерам для окончательной отделки. Зависимость их от последних была тем сильнее, что только мастерам цеха, изготовлявшего ножны и составлявшего оружие, было дозволено уезжать в другие местности, тогда как остальные цехи давали клятву не покидать Золингена, чтобы не выдавать секретов производства. Шлифовальщики и закаливальщики уже в XV веке превратились из самостоятельных мастеров в наемных рабочих, постепенно становились рабочими и кузнецы. Так как рейдеры, с одной стороны, имели право разъезжать, а, с другой, к ним поступали все части оружия для сборки и окончательной отделки, то и вся торговля должна была сосредоточиться в их руках. Монополизировав торговлю оружием, они постепенно превратились из ремесленников в купцов. Первоначально купцы были вместе с тем ремесленниками и, возвратившись с ярмарки, снова принимались за составление оружия и выделывание ножен; они были такими же членами цеха, как и все остальные, хотя и более состоятельными, более уважаемыми, и подчинялись тем же самым статутам. Но чем более расширялась торговля Золингена, чем более отдельные купцы, более энергичные, более бережливые и имевшие большую удачу, стали посвящать себя исключительно торговой деятельности, тем более они выделялись в самостоятельный класс купцов. Вместе с тем ремесленная форма производства постепенно переходит в кустарную домашнюю форму. Все реже и реже кузнецы сами сбывают мечи, все более частым станвится явление, что они работают, как и другие ремесленники, по заказу купцов; последние принимают на себя поставку железа, стали и других материалов. Подобным же образом совершился процесс превращения в кустарную промышленность в ножевом производстве Золингена... В Тюрингии, именно в Руле, ножевщики первоначально составляли один цех, и один и тот же мастер производил весь продукт. Когда в начале XVII века ма-

стера, отделявшие клинки, отделились от кузнецов и между теми и другими установилось разделение труда, последние очутились в зависимости от первых. В качестве мастеров, в руках которых находились конечные процессы производства, отделятели занимались сбытом ножей, и из них образовался постепенно класс скупщиков. К концу XVII века скупщики состояли из прежних отделятелей, к которым присоединились розничные торговцы. Кузнецы стали наемными рабочими.

Многие промыслы, возникавшие в форме ремесленного производства, с течением времени становятся технически возможными только в виде крупного производства с чрезвычайно сложным и дорогим оборудованием. Наиболее ярким примером может служить горное дело. Пока можно было ограничиваться поверхностной выработкой руды или россыпей, устройство «дудки» не превышало сил отдельной семьи. С углублением разработки становится необходимой сложная система шахт с водоподъемными машинами и вентиляционными приспособлениями. Пока техника производства железа оставалась кузнечной, у крупного производства в области горного дела не было почвы. С переходом к технике доменной печи почву утратило мелкое производство.

В начале XVI века эксплуататор рудника не имел права собственности на него, а лишь право пользования им. Предоставлением этого права распоряжался княжеский чиновник, горный мастер. Получивший отвод учреждал товарищество из четырех, а впоследствии и более паев или кусков (от чешского слова *Kus*, кус, т. е. часть). Определенное число этих паев принадлежало князю. Паи можно продавать; владелец одного или нескольких паев был «пайщик». Таким образом, рудники эксплуатировались акционерными обществами. Владение паями не давало права собственности на рудник, но лишь на чистую прибыль, получаемую от его эксплуатации. Прибыль эта делилась между владельцами паев, равно как и расходы по эксплуатации. Кроме ведения коммерческой стороны дела, не отличавшейся, впрочем, сложностью, особенно в серебряных рудниках, продукт которых шел на чеканку монет, роль пайщиков сводилась лишь к уплате денег при дефиците и получению их при успешном ходе дела... Вместе с умалением личного участия пайщиков в разработке принадлежавших им рудников, росли требования на их капиталы. Успешная и прибыльная эксплуатация горного промысла сделалась вскоре привилегией крупных капиталистов, крупных городских купцов и банкиров. В конце Средних веков и в начале новейшего времени

техника горного дела сильно развилась, особенно в Германии, считавшейся тогда «Перу Европы», самой богатой золотом и серебром страной нашей части света. Чем более углубляются шахты и выработки рудника, тем опаснее и труднее становятся работы в них. Рудники для добычи большинства ископаемых, например, железных руд и каменного угля, имели крайне примитивное устройство, допускавшее разработку на небольшой сравнительно глубине. Подъем и доставка добытого материала за известными пределами глубины становились слишком трудными: в выработках ощущался недостаток свежего воздуха, и благодаря этому дальнейшее углубление стано, вилось невозможным, подземные воды затопляли шахты. Однако жадность к благородным металлам сумела победить все эти препятствия; она заставила служить себе ум практиков и ученых, ставила в возникшей в то время научной технике все новые и более широкие задачи, толкала ее от одного изобретения к другому, чтобы покорить силы природы, заставляла изобретать более и более совершенные орудия, возводить грандиознейшие сооружения. Таким образом, уже в XVI веке мы находим горное дело Германии на очень высокой степени развития. И поэтому, «кто желает заниматься горным промыслом,—говорит один современник,—тот должен иметь или деньги, или здоровые руки, ибо копать, шурфовать и т. д. должны или очень богатые, или очень бедные»... Иными словами, в горной промышленности находили себе место или крупные капиталисты или пролетарии.

В тех же случаях, когда разработка руды велась ремесленным способом отдельными «старателями» или группами «старателей», последние были вынуждены обращаться за ссудой на ведение дела к купцам и отдавать своим кредиторам всю выработку. В этом случае зависимость между старателем и купцом были точно такой же, как между «кустарем» и раздатчиком. Относительно Христофора Шейрля мы знаем, что в союзе с Вельсерами он ссужал старателям деньги для разработки оловянных и серебряных рудников в Шлаггенвальде и Иахимстале, «дабы таким способом создать для себя прибыльную торговлю оловом и серебром». В Силезии мы наблюдаем такие же отношения. Один купец, по имени Франц Ботенер, ссужал деньги на разработку Рейхенштейнского золотого рудника, чтобы превратить старателей в работников для себя. В качестве такого рода кредиторов, «ферлегеров»—раздатчиков, скупщиков по отношению к силезским старателям мы встречаем далее Фуггеров, Вельсеров, Имгофов, Гумниссов и др. О

купцах, которые ссужали «бедным подмастерьям деньги на производство» для разработки силезских оловянных рудников, нам сообщают, что они сильно эксплуатировали горнорабочих, платили им за центнер олова всего 10—13 талеров, а сами значительно обогащались на этом.

Но не сразу и не легко устанавливается право сбыта промышленных изделий скупщиками-купцами.

Цехи долго придерживались правила, что только лицо, входящее в состав цеха, может сбывать изготовленные цеховыми мастерами товары. В статутах бочаров Висмара и Данцига XIV и XV столетий еще вовсе запрещается сбывать товары через посредство других лиц.

В Вюртемберге статут 1536 года запрещает лицам, не занимающимся выделкой шерстяных изделий и не состоящим мастерами шерстяного цеха, торговать сукном и давать заказы другим мастерам. Купцы, однако, обходили это постановление. Они ссужали мастеров деньгами с тем, чтобы последние возвращались им в форме сукна. Пришлось признать, что подобного рода ссуды вызываются бедностью ткачей, и допустить эти операции, если они производятся туземными, а не иностранными купцами. Таким образом, уже в конце XVI и в начале XVII века купцам удалось получить в свои руки торговлю шерстяными изделиями.

Как при посредстве ссуды технический рабочий постепенно подпадал под власть кредитора, а в результате окончательно утрачивал свою независимость, красноречиво свидетельствует торговая книга Отто Руланда. Этот милый человек промышлял преимущественно четками и деревянными досками, употреблявшимися для печатания, которые он скупал у ремесленников из всех стран. Ловкой выдачей ссуд он умел понемногу приводить дело к тому, что ремесленники со всем, что у них было, мало-по-малу, шаг за шагом попадали в полное его распоряжение, пока, наконец, они не обязывались на многие годы поставлять ему свои работы в уплату и погашение долговых обязательств. «Я, Отто Руланд, купил у столяра Фрица в Зальцбурге его работу, что может он сделать со Сретенья в течение трех лет по одной дюжине таких-то досок (следует детальное перечисление сортов), причем он получил 15 грошей золотом»... «Четочник Перкгарт остается должен мне 400 рейнских гульденов, которые я готов оставить ему, и зато он должен дать мне столько-то четок». Такими-то и тому подобными записями полна книга Руланда. И все это заканчивается оговоркой, которая об-

условливает продажу в своего рода рабство: «они не должны никому ничего продавать из этого,—разве они дадут кому-либо одну доску, но ни под каким видом не скупщику».

Таково же развитие и в области ткацкого дела. Отто Руланд в большинстве случаев занимает такое же положение, какое в докапиталистическое время занимал по отношению к ремесленнику купец: он—скупщик товаров, поставляемых ткачам. «Я, Отто Руланд, договорился с Каспаром из Дорнека относительно сотни штук сукна, но я ничего не купил у него, и из этого числа 35 должно быть окрашено в зеленый цвет и 35—в коричневый и 15—в красный и 15—в светло-синий и васильковый и черный. Если он пришлет их мне, я должен уплатить ему в ближайшую осеннюю ярмарку в 51 году. Если же он не пришлет мне, я ничего не должен ему». Та же самая картина и в Англии. А впоследствии начинаются ссуды деньгами—иногда это делает уже и Отто Руланд—или пряжей. Таким способом закладывается фундамент для самостоятельного капиталистического предприятия. Уже в XIV веке флорентийские торговцы заставляют ткать за их счет грубые сукна фо Фландрии и Брабанте. И в то же самое время мы наблюдаем, как в Генуе, Венеции, Флоренции текстильные производства ремесленного характера преобразуются в домашнюю промышленность. В XV столетии базельские торговцы и деятельные компанейцы покупают хлопок и поручают его перерабатывать в полотняную ткань—ткачам, которые до того времени были производителями, работавшими по найму, на заказ, «лонверкерами»; потом торговцы с большой выгодой продавали эти ткани.

В XVI столетии в Германии работали, таким образом, на Фугеров уже целые местности, жители которых, повидимому, находились и в юридической зависимости от раздатчиков. Крупнейшие торговые дома уже содержат специально для скупки, раздачи особых служащих факторов. До нас дошла тайная книга одной такой фирмы—торгового дома Гаука и Линка. В 1533 году у этого дома ко времени подсчета в белильне было плису на 3612 флоринов, и относительно того же года сообщается, что на 177 ткачей за доставленный им сырой материал лег долг в 4000 флоринов. Повидимому, и книгопечатание сначала велось таким образом, что настоятельные кредиторы ссужали необходимые средства печатникам ремесленного типа: не даром слово «ферлегер» (раздатчик, скупщик, издатель) до новейшего времени употреблялось именно в области книгоиздательства для обозначения собственно предпринимателя.

Зависимость ремесла от торгового посредничества росла. В Базеле в 1599 году 16 человек, работавших на скупщика шелковых изделий, составляли еще редкость, а в 1646 году в том же Базеле уже установлен максимум для станков, могущих работать на одного скупщика, выражающийся цифрой 50 (15 станков в городе и 35 в окрестных деревнях). В Лионской шелковой промышленности XVIII века на каждого скупщика приходилось 20—30 ткацких станков, т. е. 8—14 мастеров и 35—50 рабочих вообще, считая всех лиц помогавших мастеру. В городе Седане в том же XVIII веке было 25 предпринимателей, на которых работало 10000 человек. В Ноттингэме в 1750 году на 50 скупщиков работало 1200 чулочно-вязальных станков. Наряду с этим росло и расширение круга лиц, занятых в промышленности. Прежде всего увеличилось количество цеховых ремесленников и появились производители, стоявшие вне цеховой организации. К последней категории принадлежали, наряду с привилегированными мастерами, получавшими патенты от городов и королей, и с иностранцами, переселенцы из деревень, непринятые в цехи и самочинно занявшиеся промыслами. Кроме того, в XVI—XVIII веках значительно увеличилось количество женщин и детей, занятых в промышленности. Наконец, ремесла широко развились в городах, где производители сразу стали вне цеховой охраны. Значительная часть этого нового промышленного элемента принадлежала к пролетаризированным и полупролетаризированным слоям населения. Их экономическая слабость делала их бессильными перед предпринимателями, а их конкуренция подрывала сопротивляемость скупщиков и городского организованного ремесла. Производитель все более и более должен был «смотреть купцу в глаза», «плясать под его дудку», купец все более и более становился хозяином.

Мы видели, как развивалась домашняя форма крупной промышленности, как в торговых посредников превращались постепенно некоторые производители, выполнявшие последнюю производственную операцию перед выпуском товара на рынок. Точно также было показано, как мелкий производитель попадал в зависимость от предпринимателя, получая от него ссуду деньгами или сырьем (силезские шерстобиты и кредитование старателей). Мы наблюдали, как зависимость от торгового посредника (скупщика), кем бы он ни являлся, лишает мелкого производителя действительной самостоятельности. Опираясь на свою материальную силу, скупщик вмешивается в производственную деятельность мелкого производи-

теля: контролирует его, выступает в качестве высшего организатора производства. Сообразно со своими расчетами, торговец указывает, в каком количестве, какого качества и в какое время должен быть приготовлен продукт, и назначает цену за него. Производитель вынужден на все соглашаться, потому что в противном случае ему нет возможности сбыть свой продукт. Сообразно со своими расчетами, скупщик заставляет производителя сократить производств или значительно расширить его. Косвенно при этом скупщик влияет и на самую технику производства, требуя продуктов такого, а не иного качества. Вообще, в значительной степени скупщик уже является если не формальным, то фактическим организатором мелких хозяйств. Так создается объединение мелких хозяйств под властью одного организатора; объединение это лишь частичное, далеко не полное, сохраняющее за мелким производителем значительную долю самостоятельности во внутренних отношениях его предприятия. Такова торгово-капиталистическая организация производства. Торгово-капиталистическое производство уже нельзя считать типичным мелким производством. Это крупное производство для рынка, хотя большую часть производства товар проходит в мелких, формально разьединенных предприятиях по домам.

Весьма часто скупщик берет на себя доставку производственных материалов, которые и покупаются у него мелкими производителями. Так как производители все чаще должны брать эти материалы в кредит, то с течением времени дело упростилось; скупщик стал просто давать мелкому производителю материалы, из которых тот должен был приготовить ему продукт по заранее условленной цене. При этом мелкий производитель еще в большей мере теряет свою самостоятельность. Про него, строго говоря, нельзя даже сказать, чтобы он продавал скупщику свой продукт: он только получает от торгового капиталиста вознаграждение за свою работу на его, капиталиста, материалах и за изнашивание своих орудий при этой работе. Если бы устранить эту вторую часть вознаграждения, то перед нами было бы то, что принято называть заработной платой. Так народилась и развилась домашняя система крупного капиталистического производства,—вторая стадия развития торгового капитализма.

С внешней стороны при домашней системе капиталистического производства торговый капитал очень мало изменяет в организации хозяйства отдельного мелкого производителя. Зато происходят зна-

чительные перемены по существу во взаимных производственных отношениях членов такой группы.

Вначале вторжение торгового капитала в жизнь мелкого хозяйства является выгодным для производителя: скупщик, принужденный конкурировать с местными покупателями, дает ему довольно хорошие цены, а главное, делает большие заказы для отдаленных рынков. Но по мере того, как производитель впадает в материальную зависимость от скупщика, дело изменяется. Иго торгового капитализма начинает угнетать производителя все более возрастающей, зачастую непосильной тягостью. Благополучие хозяйства постепенно падает. Иногда, после полного разорения производителя, торговый капиталист находит еще выгодным доставлять ему не только материалы, но и орудия для дальнейшего производства, так что почти исчезает последняя тень самостоятельности мелкого хозяйства. Это—крайний момент развития собственно торготоргового капитала, та граница, на которой он переходит в промышленный капитал. Но если торговый капитал сделает еще шаг в постепенном расширении организаторской своей роли в области производства, если он увеличит еще свое влияние на производство, тогда наступит эпоха промышленного капитализма — организации крупного производства, основанного на наемном труде.

Но для этого необходима наличность двух предварительных условий: во-первых, капиталов достаточной величины и, во-вторых, рабочих, свободных от личной зависимости, т. е. имеющих возможность продавать свою рабочую силу и в то же время вынужденных продавать ее.

Если у свободного производителя имеются средства производства, как это было у городского ремесленника цехового периода, он и работает сам на себя, продает свой продукт, а не рабочую силу. Продавать ее он вынужден тогда, когда у него нет средств производства, когда он отделен от них. И, конечно, он будет продавать ее тому, кто может предоставить ему эти средства производства—капиталисту. Капиталист же, чтобы организовать на таком найме рабочих производство в крупном масштабе, должен иметь у себя в достаточном количестве эти средства производства, или, что в меновом обществе равносильно тому же, деньги на их покупку: он должен обладать так или иначе накопленным капиталом.

Процесс, посредством которого создавались эти условия, процесс первоначального накопления осуществлялся в ряду веков до

начала промышленного капитализма самыми разнообразными способами, мирными и насильственными.

Ремесленная промышленность городов была организована так, что долгое время не допускала значительного накопления. В общем при обмене между крестьянско-феодальной деревней и ремесленно-торговым городом различие в ступенях культуры и, особенно, значительная сплоченность промышленных организаций города должны были приводить к тому, что город систематически обирал деревню—покупал ее продукты ниже их стоимости. Торговый класс, как посредник в обмене, выигрывал при этом больше всех, эксплуатируя в свою пользу и забитость крестьянина, и расточительность феодала. Таким образом крестьянский труд превращался в городской капитал. Вслед за крестьянством и феодалами торгово-ростовщический капитал подчинил себе также ремесленников: домашняя капиталистическая форма производства оставляла всякому мелкому производителю лишь необходимые средства для поддержания предприятия, а прибавочный труд шел в пользу торгового капитала.

4. Социально-экономические результаты морских открытий и колониальной политики XV—XVI веков.

Торговля и ростовщичество не были единственным источником, из которого образовывались те суммы денег, которые в течение XV века стали обращаться в промышленный капитал. Первоначально накоплению содействовали и морские открытия, и колониальная политика XV и XVI веков.

Константинополь был в руках турок. Столетняя война только что закончилась, книгопечатание было изобретено, феодальный мир медленно разлагался, королевская власть и современные государства мало-по-малу выходили из состояния анархии, как вдруг старый свет расширил свои пределы, присоединив к себе за морями отдаленные страны золота и пряностей. Когда в 1492 году Христофор Колумб, предполагая открыть Индию, страну пряностей и золота, пристал к берегу одного из тех неведомых островов, которые затем названы Ликейскими или Багамскими, то он просто на просто спустил с цепи целую революцию. В самом деле, вслед за Васко-де-Гамой, за Магелланом, совершившим первое кругосветное путешествие, целая армия «конквистадоров», искателей золота и искателей пряностей, истинных рыцарей океана, которых «обуял зуд» поискать приключений и поработать шпагой в далеких странах,

целая армия кинулась в моря на завоевания новых миров: испанцы—на запад, в Америку, португальцы—на восток, вдоль бесконечных африканских и азиатских берегов. Тогда были созданы первые колонии, откуда тотчас же рекой хлынули в Европу золото и серебро; тогда произошла денежная революция, перевернувшая вверх дном все экономические и социальные отношения; тогда переместились старые торговые пути, оставя Средиземное море ради океана, за пределами которого дождем сыпался в «Чипанго» драгоценный металл и скрывались жадно искомые пряности; тогда политическое могущество, дитя экономического могущества, переселилось с берегов Средиземного моря на берега океана, и западные государства—Испания и Португалия, Голландия, Франция, Англия—определили южные страны: жизнь переместилась в другое место.

Отчего произошло это экономическое могущество? Как совершилось первоначальное накопление в этих странах? «В действительной истории», говорит Карл Маркс, «как известно, завоевание, парабощение, разбой, словом, насилие играли большую роль. В кроткой политической экономии издавна царила идиллия. Право и «труд» были всегда единственными средствами обогащения, разумеется, каждый раз за исключением «нынешнего года». В действительности же, способы первоначального накопления представляют все, что угодно, но только не идиллию». Различные моменты первоначального накопления располагаются хронологически более или менее последовательно в таком порядке: Испания, Португалия, Голландия, Франция и Англия. Методы накопления различны: среди них важную роль играют колониальная политика и протекционная система (меркантилизм) в связи с системой государственного кредита и современных налогов. «Все эти методы частью покоятся на грубейшей силе, например, колониальная система». Последняя состоит из торговых сношений с туземцами и на принуждении последних к производству, сопровождаемому безграничной эксплуатацией.

Задача колониальной торговли заключалась в том, чтобы при помощи добровольной, по видимости, меновой торговли, а в действительности посредством обмана и силы отнять, если можно, без всякого вознаграждения, ценные объекты у незащитных народностей. Известно бесчисленное множество махинаций, при посредстве которых удавалось выманивать у туземцев драгоценные товары и в особенности золотой песок, слитки и деньги в обмен на предметы, не имеющие решительно никакой ценности, или же прину-

ждать туземцев к продаже по невероятным ценам. Здесь не могло быть и речи об обмене эквивалентов ни в объективном, ни в субъективном значении. «Продавец» навязывал туземцам европейские товары без всякого соображения с существующими потребностями. Согласно Бодену, старые сапоги оценивались в таких случаях в 300 дукатов, испанская материя в 1 тыс. дукатов, 1 лошадь в 4—5 тысяч дукатов, 1 боченок вина в 200 дукатов. Несчастные туземцы часто получали такие вещи, об употреблении которых у них не было ни малейшего представления. Они могли потом возражать против этого сколько угодно: «продавцы» все равно отказывались принимать обратно что бы то ни было. Нередко бывало так, что туземцы лишь с трудом зарабатывали скудное пропитание для себя и своей семьи, и в то же время они должны были ходить в шелку и бархате и украшать зеркалами голые стены своих полуразрушенных хижин; им навязывали кружева, ленты, пуговицы, книги и тысячи других бесполезных для них вещей,—и все это по самым бешеным ценам. Смехотворны также цены, по которым «покупались» у туземцев их произведения. Бахор гвоздики на Молуккских островах стоил 1—2 дуката, на Малакке за него приходилось платить уже 10—14 дукатов, а в Калькутте уже 50—60 скуди золотом. Голландская Ост-Индская компания покупала перец по $1\frac{1}{2}$ —2 штюбера за фунт, а продавала его в Голландии за 17 штюберов. В 1663 году пять кораблей доставили в Голландию груз, который при закупке стоил 600.000 флоринов, а при продаже было выручено 2.000.000 флоринов. Португальцы платили в Ост-Индии от 3 до 5 дукатов за центнер перца, а в Лиссабоне выручали за него 40 дукатов. Одно дошедшее до нас вычисление, произведенное в XVI веке английскими торговцами, показывает, что ост-индские товары в Лондоне стоили вдвое дешевле, если английские купцы закупали их непосредственно в Ост-Индии, минуя посредничество португальцев. Легко представить себе, как велики были выгоды от торговых операций в колониальных землях. Голландская Ост-Индская компания получила от ввоза и вывоза на Цейлон за 1764 г. в среднем выводе 142%, в 1783 г.—в среднем выводе $145\frac{1}{8}$ %. Рассказывают, что компания Гудзонова залива еще в начале XVIII столетия продавала туземцам товары с барышем в 2000%. Португальцы зарабатывали на своем экспорте обыкновенно 400%.

Тот способ, каким торговля исполняла свою известную культурную миссию, лучше всего характеризуется настроением, поро-

денным ею в туземцах. Мы наблюдаем, что повсюду, как основное настроение, проявляется отчаяние или же ярость. Обитатели Молуккских островов отчасти сами уничтожали пряные деревья, которые представлялись им причиною их тяжких страданий. Крепости должны были охранять «торговцев» от мести туземцев. Если забывали запереть вечером ворота укреплений, ночью в них вторгались и избивали своих купцов, может быть, те самые индейцы, с которыми купцы в течение дня вели «мирную торговлю». Подобные явления наблюдались во всех областях колониальной торговли на первых ступенях ее развития. Да и к чему бы иначе требовалось военное снаряжение для всех решительно крупных торговых компаний?

Колумб выразился однажды таким образом: «Истинное богатство новооткрытых стран составляют люди, их населяющие». Колонии, не имеющие рабочих, которых можно было бы эксплуатировать, все равно, как нож без клинка. И всегда, при всей многосложности форм, которыми европейцы пользовались для завладения новыми областями, эффект получался один и тот же: порабощение туземного красного и желтого населения. «Порабощение» опять-таки в многочисленных оттенках: в принципе нередко оставляли туземцам свободу. Так, индейцев обыкновенно заставляли только отбивать барщину. В течение 8—9 месяцев они находились в распоряжении европейских повелителей для полевых работ или для промывания золота; остальное же время года они могли оставаться дома и обрабатывать свои поля; или просто обуславливалось доставление определенных продуктов. На главу племени возлагалось обязательство заставить своих людей обработать поля для такой поставки. Барщинную систему ввели и португальцы в своих африканских колониях, в которых, напр., на острове св. Фомы, возделывали, главным образом, сахарный тростник. Уже в начале XVI ст. мы находим здесь плантации с 150—300 рабочих «негров и негритянок, которые обязаны работать всю неделю на хозяина, за исключением субботы, когда они работают для собственного существования». Следовательно, «необходимый» труд стоял здесь к «прибавочному» труду в ужасающем отношении 1:6. Люди желтой расы в голландских колониях оказались в высшей степени квалифицированными выючными животными. Напротив, краснокожие не могли вынести обдирания европейцев. Известно, до какого отчаяния были доведены эти племена, как они искали спасения в воздержании от половых сношений и в массовом самоубийстве. И какой ужасный трагикомизм в анекдотах, которые влетает Лас Казас в свои сообщения о мас-

совом самоубийстве индейцев. Одному кубанскому плантатору донесли, что индейцы, обязанные ему работой, собираются повеситься. Он успел еще во время захватить их, но так как никакие меры не могли заставить их отказаться от своего намерения, то он попросил у них дать и ему веревку, чтобы покончить с собой, ибо ему без них все равно придется умереть с голода. Эта просьба дала другое течение мыслям несчастных: они утрастились, что если их господин отправится на тот свет следом за ними, — их рабство и там не окончится. И потому, чтобы иметь спокойствие по меньшей мере по смерти, они возвратились к своим земным страданиям.

Известно быстрое угасание краснокожих под гнетом европейского владычества, угасание, которое, по справедливому замечанию Пешеля, «очень близко напоминает вытеснение животных на протяжении целого геологического периода». Когда испанцы явились на Багамские острова, последние были густо заселены. В 1629 году, когда англичане обосновались в Новом Провидансе, здесь уже не было ни одного туземца. В 1503 году на Ямайке поселились первые испанцы, и уже в 1558 году все индейцы исчезли. В Эспаньоле в 1508 году при завоевании было 60.000 жителей-туземцев, а в 1548 году — уже всего только 500. На Кубе уже в 1548 году исчезло туземное население. В Перу в 1575 году, следовательно, почти через полвека по завоевании, все еще насчитывалось почти 1.500.000 жителей туземцев, а в 1795 году уже только 600.000. Так же растаяло и население в Мексике.

Итак, те индейцы, которых Колумб назвал истинным богатством Нового Света, уготовали своим господам горькое разочарование. Они оказались неспособными для того, чтобы приобщиться к благословениям европейской культуры. На смену краснокожих в Центральную Америку, Бразилию и Вест-Индию повезли негров из богатой людьми Африки. Черное рабство начало исполнять свою всемирно-историческую миссию. Уже в 1510 году Лиссабон открывает торговлю африканскими рабами, которые употребляются для горных работ. В 1513—1515 годах на Антильских островах начинают возделывать сахарный тростник, в 1518 году там уже появляются рабы — негры. В 1520 году рабы-негры были так уже многочисленны в Сан-Доминго, что европейским колонизаторам приходилось с тревогой помышлять о возможном восстании черных. Приблизительно такие же отношения складывались иногда и на Порто-Рико.

Все потери в туземном населении, которые понесла Америка, ступеньваются перед гекатомбами негров, которые были принесены

Молоху колониального хозяйства. Достаточно сказать, что для XVII столетия годовой вывоз негров из Африки составлял не менее 100.000 голов. Но и желтой расе пришлось понести тяжелые жертвы человеческими жизнями. Баньованьи—одна провинция на острове Яве—еще в 1750 году насчитывала свыше 80.000 жителей, а в 1811 году уже только 8000. В 1617 году привилегированная компания Зибценов настоятельно повторила приказ своему наместнику Коэну: искоренить население на острове Банда и вновь заселить его послушными племенами или рабами. Спустя несколько лет кровавое дело было осуществлено на практике: 15.000 людей пало жертвой интереса Зибценов. Еще чаще сообщают нам о таких избиениях с островов, которые находились в собственности голландцев. Избиения эти происходили в связи с уничтожением пряных деревьев, которые предпринимались компанией, чтобы совершенно монополизировать торговлю продуктами их.

Самый факт громадного истребления человеческих жизней за время существования европейских колоний ничего еще не говорит о соответственно высоких суммах, которые колонисты извлекли из своих хозяйственных предприятий. Поэтому необходимо показать на фактах, что немалая часть имуществ, накопленных в метрополиях, представляла ни что иное, как прибавочную ценность рабского труда в колониях. Уясним себе прежде всего, что колоссальные суммы зарабатывались на рабах раньше, чем последние доходили по назначению,—«зарабатывались» на работорговле. Прибыль от торговли неграми едва ли составляла когда-либо менее 50%, обыкновенно же много больше, до 180% и 190%. Один отчет, относящийся к Гвинее и составленный в 1693 году, содержит следующие цифры: 800 рабов куплено за 29.000 ливров и продано за 240.000. В истории английской работорговли мы находим следующие официальные вычисления расходов. Как засвидетельствовано судом, корабль «Ферм» получил валовую выручку в 145.000 долларов; валовой расход на покупку, съестные припасы, оборудование, наем экипажа и т. п. составил 52.000 долларов. Следовательно, прибыль—180%. На корабль «Венуе» было нагружено 850 рабов, которые при покупке обошлись в 3.400 фунт. стерл., накладные расходы до прибытия на место составили 2.500 фунт. стерлингов, выручка от продажи достигла громадной суммы в 42.500 фунт. стерлингов. И таких примеров известны нам целые дюжины. Кроме того, мы имеем прямые доказательства большой выгодности рабского труда. Около 1700 года одна плантация на

французских Антильских островах оценивалась в 350—400 тыс. франков, а доходу приносила она 90.000 франков, следовательно, около 25%. Согласно другому вычислению, получается следующий счет прибылей и убытков для одной сахарной плантации, стоимость которой вместе с землями, постройками и 220 рабочими (считая женщин и детей) определялась в 35 000 фунтов стерлингов, выручка от производства—10.800 фунт. стерлинг., издержки производства—1800 фунт. стерл.,—следовательно, общая выручка 9.000 фунт. стерл., что опять-таки соответствует прибыли почти ровно в 25%. Вообще говоря, первые два года обычно окупали покупную цену раба, а потом, конечно, оставался значительный излишек над издержками содержания, которые были очень низки.

Но что делало колониальное хозяйство в особенности доходным для предпринимателей в метрополиях, так это следующее важное обстоятельство. Одинаковым шагом с эксплуатацией человеческой силы шло разграбление стран,—высасывание сил почвы, расхищение естественных богатств фауны и флоры. В Вест-Индии культура сахара действовала таким истощающим образом, что скоро почти все лучшие участки земли сделались непригодными для земледелия; то же сообщается относительно провинций Минье в Уругвае и Багия в Бразилии. Величественные леса повсюду падали жертвой европейских предпринимателей. Уже в 1548 году лес в окрестностях Сан-Доминго был настолько опустошен, что дрова приходилось привозить за 12 миль. Школьный пример хищнического хозяйства представляет деятельность Голландской Ост-Индской компании. «Исключительное стремление к барышу приводило к тому, что внешние владения подвергались полному истощению; радикальные средства, которые применялись для достижения целей Зибценов, везде заканчивались нищетой захваченных этими средствами стран: имения подвергались расхищению, а племена доводились до самой глубокой степени бедности... Потом еще раз наступил период успеха, когда царство Матарам (Ява), сохранившее еще свои силы неистраченными, пало жертвою компании. Конtribusiи и принудительные поставки «за ничто» или по крайне низким ценам снова наполнили кассы компании, пока, наконец, и этот последний источник не начал иссякать все больше и больше и не был исчерпан».

Если одним открытием «новых миров» немислимо объяснить нарушение экономического равновесия феодального общества, то все же оно было существенным фактором, обусловившим его. Эльдо-

радо привело в смятение старый мир. Америка была серебряным рудником, «конквистадоры» кинулись на ее завоевание.

Как стая кречетов на пададь налетает,
 Так утомленные надменной нищетой
 И опьяненные воинственной мечтой
 Стремятся вдаль бойцы и Палос покидают.
 Отважных моряков влечет к себе металл,
 Который скрыт от глаз в Чипанго коях дальних...
 И к берегам миров неведомых и тайных
 Пассат порывистый их мачты наклонял.
 И вечер приходил с надеждою, что утром,
 Когда морская гладь струится перламутром,
 Свершатся наяву их золотые сны.
 И наклонясь чрез борт на коравелле стройной
 Они глядят всю ночь восторгами полны,
 На блеск иных светил над зыбью бесконечной.

[Жозе-Мариа де Эредиа. Трофеи].

Для выкачивания из нового света драгоценных металлов европейцы применили те же приемы насилия, грабежа и эксплуатации, что и для получения других товаров. Открыв Америку, европейцы нашли там храм, туземное имя которого в переводе на русский язык значит «золотое место». На западной стене было символически изображено божество: человеческий лик, в сиянии бесчисленного множества лучей, исходящих от него по всем направлениям, как нередко у нас символически изображается солнце. Фигура его была вырезана на золотой доске—самородке колоссальных размеров, густо усеянной изумрудами и благородными камнями. Она стояла против восточных дверей, так что лучи утреннего восходящего солнца тотчас же падали на нее и наполняли все пространство сверхъестественно сияющим блеском, отражающимся от золотых украшений, которые сплошь покрывали стены и потолок. Во всех внутренних частях этого храма исходили лучи от блистающих листов и колонн из чистого золота. Карнизы, обходившие стены вокруг святилища, были из чистого золота и золотой же фриз, вделанный в каменную кладку, окружал снаружи все здание. Золото, думали там, — это слезы, которыми плакало солнце. Поэтому храм, посвященный луне и примыкавший к «золотому месту», был украшен не золотом, а серебром. И вся утварь в обоих святилищах, служившая для религиозных обрядов, была сделана из золота и серебра. В садах, которые окружали храмы, сияли изображения животных и растений тоже из золота и серебра.

Таков был Куско, таково было Перу, такова была Америка, в которую вторгся теперь грубый народ Европы, чтобы утолить здесь свою жажду золота. Подобно хищным зверям, — по справед-

ливости говорят об испанцах, — рыскали они по новым землям, высматривая добычу. Обман и хитрость, грубость и насилие, — все это последовательно находило себе применение, чтобы сделать собственностью новых господ те сокровища, которые были накоплены здесь в течение тысячелетий. Испанцы вымогали деньги за выкуп туземных владык, захваченных ими в плен, вскрывали гробницы, отрывали золотые плиты со стен храмов, отнимали предметы украшения у аборигенов. Одна экспедиция, снаряженная Вельсерами во внутренние части Венецуэлы в 1535 г., принесла добычу в 40.000 пезет чистого золота и 30.000 пезет менее ценного. У Монтезумы захватили такие сокровища, что, перелитые в слитки, они представляли ценность в 162.000 пезет, а более мелкие предметы украшения стоили 500.000 дукатов. Ценность добычи, полученной при завоевании главного города Мексики и потом переплавленной, определяется в 19.200 унций или 131.000 пезет. В одном письме епископа Зумарагга из Мексики от 17 августа 1529 года упоминается, что когда арестовали Салазара, заместителя Кортеса, у него было найдено 30.000 пезет чистого золота; это осталось у него после отправки золота в Испанию. Другие чиновники награбили, по его словам, по 25—30 тысяч пезет. От пленного Кацика Мехоакана потребовали выкуп из 800 золотых слитков по половине марки весом и 1.000 серебряных слитков по одной марке весом. В другом письме, от апреля 1532 года, упоминается, что некий Ухихила награбил у туземцев Мехоакана золотые украшения и переплавил их в 15—16 слитков, но из этого количества не утаил только двух. Имеется указание, что в 1535 году из Перу в Севилью прибыло на четырех судах золото и серебро, ценностью в 2 мил. дукатов. Это была добыча, которая досталась испанцам при разрушении царства Агатуальпы, или, говоря точнее, выкуп за Агатуальпу, составлявший 1.326.539 пезет золота и 51.610 марок серебра. Не менее точными сведениями располагаем мы и относительно количества золота и серебра, награбленного в 1535 году при завоевании Куско. До нас дошел подлинник протокола, где перечислена вся добыча. Согласно этому документу, захвачено было 242.160 кастеллано золота и 83.560 марок 5 унций серебра. Выкуп за Инку и добыча в Куско составили в общей сложности свыше 53.000.000 марок в переводе на довоенные деньги. Это цифры, которые приведены в известность. А какие огромные суммы доставались, кроме того, завоевателям мелкими долями при каждом грабеже, при каждом хищении!

Второй формой присвоения уже добытых благородных метал-

лов было обложение налогами, взимание даней и т. п., и этим способом завоеватели воспользовались в самых широких размерах. Частные лица получали из этого источника известную долю в форме жалования, или же им прямо передавались доходы с более или менее обширных территорий. Поместья, пожалованные в Перу испанским офицерам, как рассказывают, приносили по 150—120 тысяч пезет ежегодно. Фамилия Кортеса получила в качестве маркизства долину Оахака с населением в 17.700 душ, которое в эпоху Кортеса должно было уплачивать податей 60.000 дукатов. Губернатор португальской колонии Мозамбик по истечении трех лет своего управления обыкновенно получал прибыль в 30.000 крузадо.

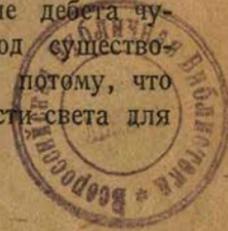
Нет никакой возможности дать числовое выражение тем суммам золота и серебра, которые таким способом попали в Европу; поэтому приходится ограничиваться, главным образом, цифрами добывания благородных металлов в рудниках. На этот счет мы, действительно, располагаем сравнительно достоверным материалом, чем мы обязаны прежде всего интересам фиска.

С 1520 г. по 1544 г. ежегодная добыча серебра поднялась до 90.000 килограммов. В первую четверть века рудники доставляли в среднем только 47.000 килограммов серебра и около 6.000 килограммов золота. Начиная с 1545 года, серебряные рудники Потози в Перу, Гуанакато и Закатекас в Мексике перекачивали в Испанию по 100—120 миллионов в год. Ежегодно свыше 300.000 килограммов серебра и 7.500 килограммов золота выбрасывалось на европейские рынки. В одно столетие с 1500 по 1600 г.г. общая стоимость звонкой монеты, циркулировавшей в Европе, поднялась с 800 миллионов до 3 миллиардов 300.000. По д'Авенелю, «не будет преувеличением считать общее количество звонкой монеты в первые годы XVII века в 5 или 6 миллиардов».

Если бы Европа еще на несколько столетий осталась таким замкнутым миром, каким она становится к XV веку, когда османские турки отрезают торговые пути на восток, то это не сделало бы европейский капитализм невозможным. Напротив, он начал бы развиваться к высшим крупно-производственным формам, вероятно, одним—двумя столетиями позже, чем то было в действительности. Порукой этому является ганзейская торговля, которая представляет собой непосредственное преддверие капиталистической эпохи. Ганза обслуживала страны, которые с течением времени все более превращались в ее равноправных контрагентов. Меновые отношения народов, втянутых в ганзейский оборот, стали пред-

ставлять собой собственно торговлю в форме характерной для капиталистической эпохи—т. е. двусторонний обмен равностоимостей. Но европейский капитализм без открытия новых стран и торговых путей был бы сравнительно мелкий, карликовый по общему масштабу капитализм. Только прочно включивши в систему своих экономических отношений Восток и Америку с конца XV века, Европа могла создать предпосылки для той энергии и размаха, которыми характеризуется поступательное движение капитализма с конца XVIII века. Те же географические открытия сделали возможным и неизбежным новый расцвет той примитивной, экстенсивной, резко докапиталистической торговли, той эксплуатации чужих стран, которая по существу возрождала отношения средневековой итальянской торговли. (Главным источником прибыли последней, как известно, служило сначала беспощадное разграбление стран Леванта, а потом крепостной и рабский труд в завоеванных странах). Торговля в новое время повторяет в громадном масштабе, на основе всех приобретений предыдущей эпохи, историю средневековой торговли. Начальный период последней—итальянская торговля—воспроизводится португальцами и испанцами. Но прямое разграбление начало естественно отмирать, так как оно по самому своему существу возможно не как длительная система, а скорее как акт однократный. Позднейшая голландская и английская торговля, не утрачивая колониального характера, развернула и такие стороны, которые живо напоминают старую Ганзу.

Но за все время своего развития колониальное хозяйство оставалось одним из существенных факторов в развитии европейского капитализма. Никогда не следует забывать такой вещи: Западная Европа, чтобы забраться на вершину ее теперешнего могущества, не только захватывала продукты труда внеевропейских народов, причем для эксплуатируемых все же сохранялась возможность дальнейшего существования; нет, кроме того, она вела в истинном смысле этого слова хищническое хозяйство с миллионами людей и до такой степени высасывала их, что они утратили возможность к дальнейшему воспроизведению. Если мы хотим подвести правильный баланс западно-европейского капитализма, мы должны будем подписать на стороне дебета чудовищное потребление человеческих жизней в период существования этого капитализма. Мы сделались богатыми потому, что целые расы и племена вымерли для нас и целые части света для нас обезлюдели.



В торговой истории Византии, Италии, Ганзы, Пиренейских стран, Голландии и Англии в так называемое новое время имеется одна общая черта: развитие торгового капитала. Капитал возникает здесь на базисе чуждой ему организации производства: он берет переходные формы феодальной и ремесленной организации производства, которые застаёт в различных странах, и не изменяет существенных форм, но подчиняет их себе непосредственно. Совершает ли он прямое разграбление новых стран, или организует его с большей утонченностью, под видом обмена, его отношение к производству остается одинаково внешним. По своим экономическим функциям он посредник между производствами европейских стран и колоний. Как таковой, торговый капитал, став господином промышленности, создает новые отрасли производства для своих собственных потребностей и способствует расширению уже существующих. В результате колониальных отношений иногда возникают эфемерные виды промышленности, которые живут за счет колоний, и умирают, когда колонии оказываются потерянными. Иногда же промышленность, зародившаяся на базе торгового капитала, в свою очередь, становится основанием для развития новой, промышленной фазы капитализма. Первый случай мы наблюдаем в Пиренейских государствах, второй — главным образом, в Голландии и Англии. Но повсюду торговый капитализм, в значительной степени питавшийся соками колоний, разрушает безвозвратно старые отношения. Испания и Португалия, переставшие быть торговыми посредниками между Европой и колониальными территориями, пришли быстро в экономический упадок, но последний и тут означает хозяйственную отсталость, значительный регресс, а не полную реакцию. Роль колониального капитала, как одного из двигателей европейской промышленности, подчеркивается еще тем, что производства различных фабрик в самих заокеанских странах не было. Рабов выгоднее было использовать на плантациях табака и хлопка, кофе и какао, сахара и пряностей, чем в промышленных предприятиях. Один из поздних авторов (XVIII в.) пишет: «Жители американских колоний отличаются теми же потребностями, как и европейцы... У них нет ни вин, ни водок, ни муки, ни солений, ни фабрик разного рода. Их необходимо снабжать легкими тканями, всевозможными льняными материями, металлическими изделиями, украшениями, чулками, шляпами, мебелью, различной утварью, оружием и снарядами. Нет ни одной отрасли торговли, в которой экспорт был бы столь выгоден и в то же время импорт отличался

бы таким богатством». При отсутствии собственных производств, потребности нетрудовых классов, в особенности в Пиринейских колониях, были очень высоки. «Кто не ел на серебре,—читаем у автора XVII века по поводу Бразилии,—считался бедняком, женщины отказывались носить шелковые и атласные платья, если они не были богато расшиты золотом и серебром, а драгоценных камней они надевали на себя столько, как если бы эти камни падали с неба. Мужчины, в свою очередь, следовали всякой новой моде, носили дорогие кинжалы и шпаги. Все, что было вкусного в Португалии или на островах, появлялось на их столе. Словом, жизнь в Пернамбуко казалась раем, насколько богатство и расточительность могли создать его». По Савари, писавшему в 1674 году, из Франции вывозились в Испанию и оттуда дальше в Южную Америку шелк, бархат, плюш, тафта, расшитые золотом и серебром ткани, кружева, шляпы, касторовые и вигоневые полотна. Кроме влияния на развитие европейской промышленности, торговые сношения с колониями ввели в европейский оборот целый ряд новых товаров. Кроме пряностей и других экзотических продуктов, бывших уже объектом средиземноморской средневековой торговли, присоединились теперь новые: рис из Индии и с Больших Зондских островов; чай, который был вывезен из Китая впервые в Нидерланды в 1610 году; табак и какао из Мексики, а потом и из Бразилии; кошениль и различные лекарственные средства — хина, ипекакуана и пр. Сахар, который до 1600 года покупался лотами в аптеках, теперь стали потреблять в гораздо большем количестве благодаря тому, что сахарный тростник возделывался в новое время не только в Сирии и Аравии, как в Средние века, но и в индийских, в особенности же в американских колониях, на Канарских и Азорских островах, на Антильских.

Методы европейского хозяйничанья в колониях, и прежде всего способ извлечения из них благородных металлов, быстро отразились на состоянии цен в старом свете. Цены повсюду повысились, или, другими словами, покупательная сила денежного материала упала. Начиная с 1527 года, испанские чиновники в Голландии стали получать добавочное содержание «в виду существующей теперь дороговизны съестных припасов». В середине столетия жители Франшконтэ, подданные испанского короля, плакались по поводу дороговизны, «царствующей всюду, а главным образом в графстве Бургонском». Для Франции можно привести следующие цифры: в XVI веке зерновой хлеб стоил приблизительно в ны-

нешней монете 4 франка гектолитр в первую четверть столетия, 7 франков во вторую, 12 франков—в третью и 20—в четвертую. В конце столетия платят вдвое дороже, чем в начале, за перевозку бочки вина из Орлеана в Париж. В Англии цена железа повысилась к концу XVI века на 80%, шерсть за тот же промежуток времени вздорожала на 38% и т. д. Золото и серебро из рудников нового континента увеличили стоимость жизни в старом свете. Меньше, чем за одно столетие, в Испании она поднялась в 7 раз выше того, что было во времена Колумба.

Общее явление—всеобщее повышение цен—историки, а также некоторые экономисты объясняли так. Все предлагающиеся на рынке товары, говорят они, продаются за деньги, находящиеся на том же рынке. Чем меньше денег, тем ниже товарные цены. Чем больше поступает денег на рынок, тем быстрее повышаются товарные цены. Несостоятельность таких объяснений очевидна. Колебания рыночного спроса и предложения могли бы объяснить лишь временное, краткосрочное изменение цен. Если бы причины всеобщего повышения цен были таковы, как утверждает это объяснение, революция цен означала бы, что благородных металлов производится слишком много, что наступило их перепроизводство, что производство их стало убыточным по сравнению с другими отраслями промышленности. Тогда было бы необъяснимой загадкой, почему золото-и серебро-искатели не забрасывают своих отраслей производства и не обращаются к другим сферам, спрос на продукты которых так постоянно растет. Ответ на этот вопрос может быть только один. Пусть первоначальный толчок революции цен дало резкое повышение предложения благородных металлов. Закрепить повышение цен, превратить его в длительную тенденцию их движения могли только перемены в условиях добывания благородных металлов: такие перемены, которые уменьшали не только их меновую стоимость, как говорит о том теория спроса и предложения, но понижали и их трудовую стоимость, т. е. количество труда, которое требуется на добывание определенной весовой единицы золота или серебра. Так оно и было в действительности. В Америке европейцы открыли прииски, замечательные или по относительному содержанию благородных металлов, или по своей мощности. И в том, и в другом случае труд по добыванию благородных металлов до чрезвычайности сокращался. Таким образом, открытие доступа к богатым месторождениям, а затем и технические усовершенствования со-

вместно действовали в том направлении, чтобы понижать стоимость благородных металлов, уменьшать их покупательную силу, вызывать всеобщее понижение цен.

Результатом денежной революции была подлинная социальная революция, благоприятная для одних, прискорбная для других. Затронута ею было дворянство, а среди него, главным образом, дворяне-собственники, которые сами не обрабатывали или не сдавали в эксплуатацию своих земель, те, которые жили своими «цензивами» (чиншевыми землями), или которые сдавали свои земли в аренду «на срок одной жизни или трех». В то самое время, как их доходы все уменьшались, благодаря обесценению и порче звонкой монеты, расходы их все возрастали, не только вследствие повышения цен на товары, но еще и вследствие привычки к роскоши и беспечальному образу жизни, которая овладела богатыми классами. Доходы этого дворянства упали до $\frac{1}{5}$ их прежней относительной стоимости. Это было разорение. Тогда-то высшее дворянство во Франции, в Испании, в Англии, где было много долгосрочных аренд, сделало попытку вознаградить себя за потери, продавшись королевской власти за пенсии, должности, церковные бенефиции; так, благодаря удивительной игре экономических причин, Христофор Колумб послужил интересам абсолютной монархии, заставив старинных феодалов проводить жизнь в «позолоченном прислужничестве» под сенью королевской власти. Более того, перуанские рудники оказали помощь Реформации, ибо в Германии высшее дворянство, чтобы избежать разорения, перешло в лютеранский лагерь ради «секуляризации имущества церкви», то-есть для того, чтобы захватить их в свои руки. Но мелкое дворянство не могло избежать разгрома. Оно должно было покорно исчезнуть: в Испании—искать счастья в стране золота в Англии—смешаться с буржуазией, заняться торговлей, несмотря на свое самолюбие; в Германии—жить в услужении у князей и вельмож; во Франции—продавать земли, которые скупала разбогатевшая буржуазия.

Буржуазия воспользовалась всеми благами происходившей революции. Прежде всего на самых развалинах мелкого дворянства возвысилась новая сельская буржуазия—фермеров, арендаторов, перекупщиков; с другой стороны, обилие денег и крайняя дороговизна товаров способствовали процветанию дел и обогащали коммерсантов и фабрикантов. В торговом мире возникли крупные состояния. Торговля серебром была одной из наиболее выгодных; вот почему

Фуггер Аугсбургский, знаменитый банкир Карла V, оставил после себя самое крупное состояние в XVI веке: шесть миллионов экю золотом или 240 миллионов на довоенные франки, столько же, сколько век спустя Мазарини. Во Франции кавалер де Прат, стоимость земель которого увеличилась вследствие повышения цен на земельную собственность, оставил около 36 миллионов франков на довоенные деньги, что могло приносить—из 8,33%, обычная процентная ставка того времени—три миллиона франков ренты. Итак, увеличение состояний, заключающихся в движимости, происходило в общем в пользу буржуазии. Она шла вперед к могуществу и к своей революции.

«XVI век знаменует собой триумф земельных собственников и разорение тружеников», говорит д'Авенель и основывает это утверждение на цифрах.

Поденщик, который зарабатывал 3 франка 60 сантимов (на довоенные деньги) при Карле VIII, зарабатывал не свыше двух франков 90 сантимов при Франциске I, 2 франка 25 сантимов при Карле IX и 1 франк 95 сантимов при восшествии на престол Генриха IV.

Таким образом, в конце XVII века у труженика имелось для поддержания его существования лишь половина того, что было у его предка за сто лет перед тем. Он имел не больше двух третей того, чем пользовался наименее обеспеченный из его отцов со середины XVI столетия. При хозяйских харчах чернорабочему приходилось довольствоваться в среднем 90 сантимами (при Генрихе III), тогда как на столетие раньше он получал 1 франк 80 сант., а за 50 лет до того—1 франк 20 сант. Поденная плата в 1 франк 60 сантимов, еще довольно обычная в 1510 году, является в 1545 году полнейшим исключением для поденщика на хозяйских харчах; единственный человек, которому, как мы видим, выплачивается в эту эпоху такое жалованье, должен зато исполнять особо тяжелый труд: он ухаживает за чумными больными в «Монтелимаре». Рабочий на ферме, зарабатывавший 306 франков в 1500 году, зарабатывает не больше 150—в 1600; городской рабочий—120 вместо 282. Рабочие на виноградниках зарабатывали в 1600 году не свыше 2 франков 50 сантимов в день без хозяйских харчей, после того, как они зарабатывали 3 франка 85 сантимов в 1550 году, 3 франка 50 сантимов—в XIV веке и 4 франка 50 сантимов при Людовике VI. Поденная плата садовников понизилась с 3 франков 50 сантимов в XII веке до 2 франков 10 сантимов—в XVI.

В конце XV века годовая плата поденщика за 25 рабочих дней равнялась доходу с 32 гектаров пахотной земли; в 1600 году она представляла собой не больше, чем доход от девяти с половиной гектаров. С 1451 по 1475 год такой поденщик мог бы купить на стоимость своего дневного заработка 18,40 литров пшеницы или 25 литров ржи: он покупал их не больше 3,190 литров или 5 литров в 1576—1600 г. г., и точно также не мог купить больше 1 килограмма 800 граммов говядины, вместо 3,3 кило. Но рабочий не ел ни белого хлеба, ни говядины: он ел черный хлеб и свинину.

Все эти цифры, вычисленные д'Авенелем на основании покупательной силы денег, указывают на понижение реальной заработной платы. А номинальная заработная плата увеличилась, по стоимости золота, на добрую треть. Но тогда как она повысилась на 33%, стоимость жизни вздорожала вдвое. В этом историческое доказательство того, что реальная заработная плата является лишь частным: это отношение заработной платы, выраженное в деньгах, к стоимости жизни, смотря по месту и времени. В XVI веке номинальный заработок несомненно повышался, но гораздо медленнее, чем товарные цены; вот почему сокровища Перу, которые обогащали буржуазию, в то же время вовлекали в нищету тех, кто жил на заработную плату.

5. Расширение сферы деятельности торгового капитала и происхождение мануфактуры.

Производство новооткрытых стран вошло в сферу деятельности торгового капитала. Их рынки предъявили такой сильный и с такой скоростью возраставший спрос на произведения обрабатывающей промышленности, какого не могло удовлетворить домашне-капиталистическое и ремесленное производство, технически раздробленное на мелкие предприятия и, благодаря этому, неспособное быстро расширяться. Между тем обширные средства, концентрированные в сфере торговли, допускали сами по себе громадное, соответственное потребностям рынков расширение перевозочно-торговой промышленности.

Для торговой промышленности продукты других отраслей производства являются «материалом» совершенно так же, как для ткацкой—продукты прядильной, для сапожной—продукты кожевенной и т. д. Если бы прядильное производство в своем развитии

отстало от ткацкого, тогда ткачи, не получая достаточного количества пряжи, должны были бы бесплодно терять часть своей рабочей энергии или же позаботиться об увеличении размеров прядильного производства. Точно так же перед торговым капиталом стояла такая дилемма: либо остановиться в своем развитии, либо постараться о надлежащем расширении обрабатывающей промышленности. И торговый капитал обладал достаточными силами, чтобы осуществить второе.

В каком же направлении должен действовать торговый капитал, чтобы повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности?

Состояние промышленной техники было таково: развитие мелкого производства, можно сказать, закончилось; почти каждое сложное ремесло, производящее целый ряд продуктов, раздробилось на несколько мелких ремесел, производящих в отдельности продукты только одного рода; были созданы технически наиболее совершенные для такого производства орудия. Дальше этого производство почти не могло идти, оставаясь разделенным в мелких предприятиях. Необходимо было организовать крупные предприятия, в которых разделение труда должно было принять сравнительно широкие размеры, превратившись из общественного в техническое, так как для общественного разделения труда дальнейший прогресс, при данных условиях, представлял слишком большие трудности.

Естественным переходом от самостоятельного мелкого производства к промышленному капитализму явилось домашнее капиталистическое производство. Ремесленник или крестьянин, уже утративший значительную долю своей самостоятельности, фактически подчиненный организаторскому контролю торгового капитала и уже эксплуатируемый этим последним, тем легче утрачивает остатки своей самостоятельности и превращается в простого рабочего-исполнителя в промышленно-капиталистическом предприятии.

Торговый капиталист держит в своих руках судьбу многих мелких хозяйств, которым он доставляет сырые материалы, иногда даже орудия, и продукты которых он скупает. От него зависит окончательно уничтожить внешнюю самостоятельность этих хозяйств, когда того потребуют выгоды капиталиста. Когда спрос на продукты расширяется, торговый капиталист желал бы соответственно расширить производство, но этого не допускает мелкий характер подчиненных ему предприятий и особенно их внешняя независимость, благодаря

которой капиталист влияет на ход их производства, главным образом, косвенно, путем изменения цен на материалы и продукты. Тогда капиталист перестает удовлетворяться прежней системой.

Подчиненные капиталисту производители объединяются в одной принадлежащей ему мастерской; там они работают над средствами производства, составляющими его собственность, работают в качестве простых исполнителей, всецело подчиняясь его организаторской власти. Таковы основные черты промышленно - капиталистических предприятий, явившихся прежде всего в форме мануфактур. Приглядываясь к этим чертам, не трудно заметить, что они намечались еще в хозяйстве цехового ремесленника, где подмастерья и ученики находились в таком же отношении к мастеру, как позднейшие наемные рабочие к капиталисту; главная разница—в размерах предприятия и в том, что ремесленный мастер, не ограничиваясь организаторской работой, принужден заниматься также работой исполнительской, тогда как капиталист всегда исключительно организатор.

Переход к новой системе выгоден для капиталиста не только в том смысле, что делает его полновластным, непосредственным организатором производства: он выгоден еще в том смысле, что значительно уменьшает затраты производства—расходы на мастерскую, ее освещение, отопление, расходы на орудия. Одна большая мастерская на 20 работников стоит гораздо меньше, чем 20 маленьких, каждая на одного работника; и даже, если в ней не организовано еще техническое разделение труда, все-таки не требуется полного комплекта орудий на каждого, как при работе в отдельных мастерских,—время работы легко распределяется таким образом, что когда один работает одним инструментом, то другой—другим, а потом наоборот, и орудия не лежат без дела. Есть выигрыш и на материалах: меньше стоимость их массовой доставки в мастерскую, легче употребить с пользой накапливающиеся в большом количестве остатки и отбросы.

Важным препятствием к возникновению мануфактур являлись привилегии ремесленных цехов; цехам принадлежала в городах монополия производства, а цеховые уставы обыкновенно строго ограничивали число наемных рабочих—подмастерьев и их учеников—в отдельном предприятии, и крайним пределом устанавливали очень небольшое их количество. Но промышленный капитал сумел частью справиться с этим препятствием, частью обойти его.

Во-первых, мануфактуры устраивались чаще всего в местностях, где привилегии цехов не существовали, именно в селах, а также в незадолго основанных городах, в которых не было введено цеховое устройство, и в предместьях старых городов, на которые обыкновенно не распространялось действие цеховых статутов.

Далее привилегии цехов понемногу приходили в упадок и в цеховых городах. Вражда к цехам со стороны торгового и промышленного капитала отразилась на политике государства. Короли покровительствовали мануфактурам, видя в них богатый источник государственных доходов. Поэтому они нередко разрешали устраивать мануфактуры и в цеховых городах, отнимая, таким образом, у цехов их монополию производства. Правительства иногда даже ставили своей задачей форсировать этот процесс, выдавая предпринимателям субсидии, помогая им переходить от домашнего производства к мануфактурному предоставлением им средств, рабочих, наконец, учреждая мануфактурные предприятия за счет казны. В повсеместном развитии новых отраслей промышленности крупную роль сыграли религиозные гонения XVI — XVII веков и они же помогли правительствам в деле насаждения новых производств государственной властью.

Правительства тех стран, где появлялись эмигранты, оказывали беженцам всяческую поддержку, считая, что они несут с собой оживление промышленности и «усиление денежного обращения» в стране, как говорили в то время. Селясь в чужой стране, переселенцы прежде всего нуждались для развития своей деятельности в защите от цехов, которые считали допущение иностранцев к занятию промыслами нарушением своих привилегий. Так, первые мануфактуры во Франции при Генрихе IV — знаменитый Лувр, далее мануфактуры Гобеленов, Савоннери и другие, производившие всевозможные предметы роскоши, были ни чем иным, как убежищами для иностранных мастеров, преследуемых цехами. Генрих IV дает одну привилегию за другой, создавая королевские мануфактуры или покровительствуя различным отраслям промышленности; ради этого он раздает монополии и даже свидетельства о натурализации. Иностранцы поселяются в привилегированных местах или зданиях, носящих королевский или герцогский герб. «Неприятное отношение к иностранцам, — говорит д'Авенель, — было обычным в прежние века, и стремление к недопущению иностранных рабочих не возникло в наше время. Однако, суще-

ственным паллиативом в этом отношении явилась Луврская галерея, где могли заниматься промыслами лица любой национальности. Публика, гулявшая по этой галлерее, длиною в 700 футов, встречала много итальянцев и фламандцев на пороге их мастерских. На вывесках были изображены имена голландских гранильщиков и фабрикантов турецких ковров. Королевский указ 1607 года говорит о Лувре в следующих выражениях: «Мы велели устроить здание таким образом, чтобы в нем могли удобно поселиться лучшие ремесленники и мастера и могли бы заниматься как живописью, ваянием, выделкой золотых и серебряных изделий, производством часов, шлифованием драгоценных камней, так и различными другими искусствами, работая как для нашего двора, так и для наших подданных». Из указа следующего года мы узнаем, что в Лувре жили также мастера, производившие холодное оружие, столярные изделия, духи, трубы для фонтанов, физические инструменты, ковры, восточные изделия и т. п. Тем самым, что они жили в Лувре, они освобождались от надзора цехов, находились под покровительством короля. Никто не мог им препятствовать работать на публику и брать к себе учеников и, несмотря на все протесты цехов, они преспокойно производили и сбывали свои товары. Цеховые мастера вынуждены были ограничиться заявлением, что ни один порядочный мастер не станет работать в Лувре, на что никто, конечно, не обращал внимания. Другим примером этого вида мануфактур могут служить известные Гобелены. Чтобы прекратить ввоз ковров из Голландии, король выдал в 1607 году патенты двум фламандцам—Марку де-Коман и Франсуа Деляпланш—на монопольную фабрикацию во Франции в течение 15-ти лет фландрских ковров, отделанных золотом и серебром, освободил их рабочих-иностранцев от всех налогов, дал им, кроме того, субсидию в 100.000 ливров каждому (стоимость золотом 240.000 франков) и грамоты на дворянство. Кроме того, ввоз ковров был воспрещен. Со своей стороны оба компаньона, поселенные королем в доме Гобеленов, обязались иметь всегда в действии 80 станков и не продавать ковров дороже, чем их продавали голландские купцы. Гобелены были созданы. Последний пример показывает, что в некоторых случаях мастера прямо приглашались из-за границы, и дает указание на тот характер, который принимало правительственное покровительство новым и нужным отраслям промышленности. Значительную роль по насаждению крупной промышлен-

ности, в частности, в ее мануфактурной форме, сыграли военные нужды, необходимость вооружать и снабжать народившиеся за рассматриваемый период постоянные и наемные армии. «Надо только представить себе, — говорит Зомбарт в своем сочинении «Война и капитализм», — что это обозначало для средневекового человека, который в качестве производителя был ремесленником, когда, например, в марте и апреле 1652 года английское правительство немедленно потребовало 335 пушек, а в декабре того же года объявило, что ему нужны немедленно 1500 железных артиллерийских орудий весом в 2230 тонн за 26 ф. ст. тонна и, кроме того, столько же повозок, 117.000 снарядов, 5.000 ручных гранат, 12.000 баррелей пороху по 4 ф. 10 шилл. немедленно. И агенты объезжали страну и стучались в двери ко всем мастерам, выделявавшим пушки, и все же не в силах были удовлетворить внезапный и огромный спрос. Помимо обслуживания армий при помощи домашней формы крупной промышленности, правительства оказывались вынужденными создавать предприятия мануфактурного типа для надобностей сухопутного войска и флота.

Наконец, с развитием мануфактур среди самих цеховых мастеров замечается стремление преобразовать ремесленную мастерскую в мануфактуру. В тяжелой конкуренции с промышленным капиталом цеховые мастера были в наибольшей степени скованы теми статьями своих уставов, которые ограничивали число подмастерьев и учеников. Более зажиточные ремесленники прилагали чем дальше, тем больше усилий, чтобы обойти или даже отменить эти установления. Когда усилия увенчались успехом, и число наемных рабочих в отдельных мастерских сильно возрастало, то переход ремесла в мануфактуру оказывался как нельзя более легким и естественным.

По существу такое же, как в обрабатывающей промышленности, преобразование формы производства происходит в сельском хозяйстве, когда капиталист, вместо того, чтобы эксплуатировать крестьянство в качестве скупщика или ростовщика, начинает сам вести крупное земледельческое предприятие при помощи наемных работников на своей или наемной земле. Только преобразование это в земледелии происходит обыкновенно, в силу особых причин, позже и медленнее, а характерная для мануфактур форма разделения труда развивается лишь в очень слабой степени.

На первой ступени мануфактуры все работники капиталиста являются попрежнему настоящими ремесленниками: каждый выполняет целиком ту же работу, какую раньше выполнял самостоятельный мелкий производитель. Но в своем дальнейшем развитии мануфактура приводит к иной, высшей и наиболее совершенной форме техники ручного труда — к мануфактурному разделению труда. В различных случаях оно складывалось двумя различными способами.

У одного из работников капиталиста, выполняющих одинаковую работу, удаётся всего лучше одна его часть, у другого — другая и т. д. Рано или поздно предприниматель приходит к мысли, что выгоднее поручить каждому из работников ту часть работы, в которой он особенно искусен. Сначала отдельный работник выполняет все-таки довольно сложный ряд трудовых операций, но потом, с увеличением числа работников, является возможность отводить на долю каждого все более и более простую, мелкую работу. Так разделение труда доходит до той степени, какую можно было наблюдать, например, на иголочной мануфактуре, где каждая иголка проходила через руки 72 рабочих.

Здесь мануфактурное разделение труда выступает, как продолжение общественного разделения труда, как дальнейшее раздробление тех работ, которые раньше были разделены в обществе между отдельными ремесленниками.

В других случаях мануфактурное разделение труда шло иным путем. Есть производства, которые с самого начала требуют участия нескольких различных ремесленников. Таково, например, экипажное дело: в постройке одной и той же кареты принимают участие плотник, столяр, кузнец, слесарь, шорник, обойщик, стекольщик и т. д. Экипажному мастеру приходилось заказывать этим ремесленникам различные части работы, а самому заниматься прилаживанием частей и окончательной отделкой целого. Для ведения такого дела требовались, сравнительно, большие средства. Не удивительно поэтому, что подобные мастера — скупщики с течением времени подчиняют себе остальных мастеров, выступая в роли торговых капиталистов; а затем, превращаясь уже в промышленных капиталистов, собирают их в своей мануфактуре в качестве наемных рабочих.

Здесь, следовательно, капиталист переносит в свою мануфактуру готовое общественное разделение труда, объединяя в одной мастерской его разрозненные элементы; при этом сфера деятель-

ности каждого работника суживается: слесарь, кузнец, столяр принуждены ограничиваться теми операциями своего ремесла, которые имеют отношение к каретному делу, и отказаться от других ремесленных работ, какими занимались прежде.

Так создается разделение труда исполнительского. Что же касается до того разделения труда, которое существует между организатором и исполнителями—до разделения труда «умственного» и труда «физического»,—то оно в мануфактуре также представляет свои особенности и имеет свою историю развития.

Предприниматель нанимает рабочих, т. е. на определенное время и на определенных условиях покупает их рабочую силу. Он дает им средства производства, и они работают, подчиняясь его распоряжениям и указаниям. Таким образом, подчинение работников-исполнителей ограничено здесь пределами того договора, который был заключен при найме.

Предприниматель организует разделение труда и сотрудничество в таком виде и в таких размерах, как это ему представляется наиболее выгодным. При этом он вполне ограничивается ролью организатора, не работая в мастерской, как ремесленник. Мало того, с дальнейшим развитием капиталистических предприятий и организаторская деятельность переносится шаг за шагом на особых наемных работников. Вначале к этому принуждает капиталиста самый рост его предприятия, которое достигает таких размеров, что для одного лица становится слишком трудно, а потом даже невозможно выполнить все обязанности организатора. Капиталист нанимает, по мере надобности, надзирателей за работами, конторщиков, бухгалтеров, директоров и т. д. С течением времени у капиталиста остается только высший контроль за деятельностью наемных организаторов; и даже на этом, как будет показано дальше, дело не останавливается.

Итак, организаторский труд, подобно исполнительскому, оканчивается чем дальше, тем в большей степени технически разделенным в мануфактуре.

Техническое разделение труда, в связи с простым сотрудничеством между работниками, отливаётся в развитой мануфактуре в особую форму, которую можно назвать «мануфактурной группой».

В мануфактурном производстве ножей принимают участие разнородные работники: литейщики, кузнецы, шлифовальщики, точильщики и проч. Для капиталиста, очевидно, далеко не безраз-

лично, сколько нанять тех, других, третьих. Если он наймет слишком много рабочих одного рода, то они принуждены будут значительную часть времени оставаться без дела, иначе другие не успеют обработать доставленный им материал.

Путем опыта капиталист доходит до определенного нормального соотношения между числом рабочих различного рода. Оказывается, например, что на двух литейщиков надо иметь одного кузнеца, трех шлифовальщиков, одного точильщика, далее, может быть, одного надсмотрщика и т. п. Если предприниматель намерен несколько расширить свое предприятие, то ему нет смысла нанимать двух-трех отдельных рабочих—их было бы некуда приставить. Он должен нанять сразу целую группу, т. е. в нашем примере—трех литейщиков, одного кузнеца, трех шлифовальщиков и т. д. Между отдельными мануфактурными группами одного предприятия существует только простое сотрудничество.

В эпоху мануфактур, первой стадии промышленного капитализма, тенденция развития промышленного капитала проявляется в сравнительно слабой степени, отчасти даже вполне маскируется возникновением в связи с мануфактурами некоторых новых и развитием некоторых прежних подсобных промыслов: поставка материалов для мануфактур становится выгодным делом, и крестьяне часто самостоятельно, часто при помощи предпринимателей капиталистов берут на себя производство этих материалов, если только позволяет техника дела. В эпоху машин кустарничество быстро идет к вымиранию.

В земледелии капитализм развивается, вообще, не так быстро и успешно, как в обрабатывающей промышленности.

Техника сельского хозяйства не допускает того широкого разложения труда, какое наблюдается в мануфактурах. Возможно ли, например, разделить на составные части такую операцию, как пахание? К тому же различные земледельческие работы выполняются в различное время, что еще более уменьшает значение технического разделения труда в данной области.

Поэтому даже в эпоху мануфактур крупное и мелкое земледельческое производство мало различается по производительности труда, так что последнее довольно успешно выдерживает конкуренцию.

Впрочем, крупные земледельческие предприятия уже с самого начала обладают известными техническими преимуществами, осо-

бенно в сфере доставки средств производства с рынка и готовых продуктов на рынок. Естественно, что и техника крупных предприятий развивается быстрее. И все-таки мелкое хозяйство еще долго продолжает удерживаться в конкуренции с крупным. Недостатки техники вознаграждаются весьма высокой напряженностью труда мелкого земледельца. В этом—существенный недостаток такого хозяйства. Только громадная затрата трудовой энергии дает мелкому земледельцу возможность устоять в конкуренции, так что в общем труд вознаграждается плохо.

✓ 6. Развитие мануфактуры и условия, задерживавшие ее рост в XVII—XVIII веках.

Начало периода мануфактур относится к XV веку: тогда уже появились зачатки мануфактуры. Прежде всего эти зачатки мы встречаем в монастырях, где все отдельные необходимые манипуляции, например, для приготовления сукна, сосредоточились в одном месте. Но и в ремесле, уже с XV века, мы видим, что суконщики иногда дают у себя на дому работу не только шерстобитам, но и ткачам. Затем в самом ткачестве мы видим широкое разделение труда в том смысле, что каждый ткач изготовлял особенный сорт сукна. Ткачество разбилось на пять или шесть следующих один за другим приемов, которые производились различными рабочими. Иное разделение труда мы видим в шерстобитном ремесле. Благодаря этому шерстобитный промысел перестал быть цеховым ремеслом и производился не цеховыми, частью даже необученными рабочими, крестьянами, женщинами и детьми. Раннее развитие задельной платы также указывает на капиталистический характер суконной промышленности. Так как развитие хозяйственной жизни различных стран шло не с одинаковой быстротой, и так как в отдельных государствах периоды экономического подъема сменялись эпохами упадка и одни страны уходили вперед, другие отставали, то появление мануфактур для разных стран падает на хронологически разные моменты. Для Англии и Голландии оно наступает в XV—XVI столетиях, в других странах в более позднее время. Окончанием этого периода следует считать конец XVIII века—в Англии, в других же странах мануфактурный капитализм стал уступать место машинному позже, в первой и во второй четверти XIX века.

Способы возникновения мануфактуры были различны. В некоторых случаях централизация производственного процесса обусло-

вливалась в них самим характером данного производства. Так было в области металлургии, в производстве из бумажной массы, в типографском деле, в приготовлении стекла, и здесь централизация вытекала из необходимости пользоваться одними и теми же станками и инструментами, которые невозможно установить на дому. Поэтому встречались отдельные мануфактуры, изготовлявшие бумагу, и предприятия по переработке железа в якоря, заводы по выделке чугуна в домнах, по дальнейшей переработке последнего. Большинство из этих предприятий довольствовалось небольшим числом рабочих. Среди новых отраслей промышленности XVI века самой революционной является книгопечатание, родившееся в середине предыдущего столетия. Уже в конце XV столетия нюрнбергская типография Кобергера работала с 24 прессами при помощи более, чем 100 мастеров, а уже в XVI веке печатный станок разорил ремесло переписчиков, которые стали выполнять только роскошные работы. Зеркала, бывшие предметом роскоши, во Францию привозились из-за границы. Чтобы освободить Францию от опеки Венеции, было поручено посланнику при этой республике тайно нанять нескольких хороших мастеров-стекольщиков для поступления на королевскую службу. Задача была трудна, ибо Венеция, ревниво охранявшая промышленность, которая имела всемирную известность, не допускала, чтобы какой-либо иностранец проникал в ее мастерские, конфисковала имущество всякого эмигрировавшего ремесленника и даже отравляла венецианских рабочих, обосновавшихся за границей. Впрочем, большая часть рабочих не обладала всецело секретом производства, так как зеркала отливались в Мурано, а полировались в Венеции. Однако, в 1665 году была создана «Королевская мануфактура зеркальных стекол», с исключительной привилегией на двадцать лет на фабрикацию «зеркальных стекол тех же самых и иных размеров, чистоты и совершенства, как изготовляемые и фабрикуемые в Мурано, близ города Венеции, ромбических или квадратных стекол, служащих для оконных рам и для целых окон, ваз всевозможных фасонов, мелкого стеклянного товара для Индии, эмалей, вещей для камина, полных столовых приборов,—все это с помощью венецианских рабочих, привезенных во французское королевство». Фабрика была устроена в Сент-Антуанском предместье; позднее фабрика была создана в Сен-Гобэне. Перед тем, в 1666 году, была куплена вторая фабрика в Турлявиле, в Котантэн. «Наши зеркала лучше венецианских», писал

Кольбер несколько лет спустя. Королевские дворцы и кареты уже украшались чудесными хрустальными стеклами, и в скором времени стали отделывать знаменитую «Зеркальную галерею» в Версальском замке.

В некоторых случаях мануфактуры генетически развились из других форм производства, а именно, из домашней формы крупной промышленности, и централизованное предприятие носило на себе ясный отпечаток той производственной формы, из которой оно вышло. Так, своеобразную форму мануфактуры находим мы в Колермон во Франции. На огороженном пространстве стояли маленькие домики, из которых в каждом жили и работали ткач с семьей, — получалось, в сущности, кустарное производство, работа на дому, хотя и в специально устроенных для того зданиях, но под непосредственным контролем предпринимателя. Многие толкали предпринимателя создать мануфактуру путем объединения кустарей в своем здании-мастерской. На раздачу сырья кустарям для выработки приходилось нести расходы. Часто являлась необходимость передавать полуфабрикат от одного специалиста к другому для дальнейшей обработки, что также было связано с расходами. Все эти операции иногда были сопряжены с услугами факторов-посредников, действовавших за плату. При раздаче материала и обратном получении выработанного продукта имели место взаимные обманы, которые вели к ухудшению изделий и до известной степени представляли собой тормаз к успешному развитию данной отрасли промышленности. Кроме того, часто оказывалось необходимым обращать особо тщательное внимание на внешность продукта, что значительно затруднялось производством данного предмета на дому у мелкого производителя. Поэтому организатор-скупщик в конце концов находил более для себя выгодным, соединив мелких производителей в одной мастерской, превратить их в наемных рабочих и установить, таким образом, непосредственный контроль над производством.

Как на типичное предприятие чисто мануфактурного типа указывают, между прочим, на заведение Ван-Робе в Аббевиле, основанное в 1665 году голландским выходцем и вырабатывавшее в середине XVIII века сукно для армии. Выделка тканей всегда была одной из главных отраслей французской промышленности. Однако, в первую половину XVII века Англия и Голландия вытеснили Францию в торговле сукном с Левантом. Голландцы были так умелы, что владели искусством выделки сукна, равного каркассонскому,

затрачивая на треть меньше шерсти, и пряли и аппретировали эту шерсть со столь большим прилежанием, что один их рабочий делал за день больше, чем француз за целую неделю». Голландские сукна отличались поэтому двойным преимуществом: хорошим качеством и дешевизной. В то самое время, как привлечены были венецианские стекольных дел мастера, также водворены были во Франции голландские рабочие. В 1665 году Ван-Робэ уехал из Миддельбурга со всем своим семейством и 50 рабочими для устройства в Аббевиле большой мануфактуры тонких английских и голландских сукон. Ван-Робэ получил 12.000 ливров (45.000 франков на довоенные деньги) в возмещение своих расходов по переезду; в течение трех лет ему выплачивалась премия в 2.000 ливров за каждый пущенный в ход станок, пока их число не дошло до сорока; 40.000 ливров были даны ему в беспроцентную ссуду, из которой он вернул лишь 20.000. Он получил исключительную привилегию в районе 10 лье вокруг Амьена; он был изъят от всяких податей, и—необычайная вещь—ему и его семейству было разрешено свободно исповедывать протестантскую религию. Привилегия мануфактуры была возобновлена до конца XVIII века, но лишь в 1764 году она получила титул королевской мануфактуры. Она сделалась большим промышленным предприятием с персоналом, дошедшим почти до 1.700 рабочих, и с годовой продажей тонких сукон на сумму около 600.000 ливров. Характерно, что Савари, сообщая эти сведения в своем «Словаре», прибавляет, что «ни одного подобного предприятия во Франции не существует». Во второй половине XVIII столетия имелась еще одна крупная централизованная мануфактура шелковых материй Вокансона, на которую современники смотрели, как на явление исключительное: она сосредоточивает 120 станков под одной кровлей!—говорили они с удивлением. Более обыкновенны мануфактуры, насчитывавшие десятки рабочих. Что касается Англии, то там Артур Юнг нашел нужным отметить мануфактуры в Дарлингофе, Брайтоне и Шеффилде с 50, 150, 152 рабочими под одной кровлей. Если произвести подсчет таких централизованных предприятий, то приходится заключить, что хотя мануфактуры и возникали в отдельных случаях в XVI столетии и даже раньше, а чаще со второй половины XVII столетия, но они не вытеснили других видов промышленной деятельности, так как их было сравнительно немного, и они далеко не играли той роли, как домашняя форма крупной промышленности. Обыкновенно, когда в источниках говорится о мануфактурах, оказывается, что эти ману-

фактуры раздают работу на дом городским и в особенности деревенским жителям, т. е. это не мануфактура, а именно домашняя форма крупной промышленности. Чаще встречаются такие мануфактуры, где изготовлялись некоторые сорта продуктов, товары высшего качества, тогда как вся остальная работа раздавалась попрежнему на дом или же мануфактура отнимала у кустарной промышленности начальные и конечные процессы производства, очистку материала и сортировку его, с одной стороны, и окраску, аппретуру и т. п.—с другой; посредствующие же процессы проходили на дому у отдельных рабочих. Но были мануфактуры смешанного характера, соединявшие черты мануфактуры и раздаточной конторы. Примером такой мануфактуры может служить т. н. ситцевая «фабрика» в Зульце на Неккаре, где в 1760 году работало на дому 112 ткачей и 556 прядильщиц, из них всего 26 человек на мануфактуре, в 1764 году 225 ткачей и 1292 прядильщицы на дому и 130 на мануфактуре; в 1770 году число последних дошло до 162 человек. На богемской мануфактуре графа Вальдштейна работало только 30 ткачей в самой мануфактуре, а 400 ткачей в окрестностях. Пряжу для этой мануфактуры доставляли в виде барщины 3000 крепостных. В Бофоре во Франции работало на самой мануфактуре 40 человек, а на дому—2100. В Англии также были крупные мануфактуры этого смешанного типа. Еще в конце XVIII столетия в Англии и в начале XIX столетия на континенте мы находим много случаев такой смешанной формы производства: столько-то рабочих находилось на мануфактуре и столько-то работало на дому. Это сохранилось даже при первых прядильных машинах, которые были небольших размеров, почему могли помещаться в кустарной мастерской. Почему же мануфактура развивалась слабо? Причин этому было три. Во-первых—не было все-таки достаточно накоплено капиталов. Предприятия крупной промышленности были основаны на капиталах, значительные для того времени: шелковая мануфактура Дюпюи—на капитал в 200.000 ливров; фабрика шелковых чулок в Мадриде—на капитал в 300.000 ливров; фабрика белой жести в Бомоне—на капитал в 350.000 ливров; фабрика сукон в Вильневетт, в Лангедоке, на капитал в 1.800.000 ливров; предприниматель, который брал на откупа соляные пошрины, в конце концов разорился, так как произвел слишком большие затраты. В конце XVIII столетия фабрика зеркал в Сен-Гобэне поглотила 2 миллиона ливров, около 4 с половиной миллионов франков на довоенные деньги. И все же этих капиталов не хватало. Промышленники получали пособия от

государства. Во Франции с 1664 года по 1683 год было, повидимому, затрачено около 5 с половиной миллионов ливров на субсидии одной лишь текстильной промышленности, главным образом, фабрикам ковров. Гобеленовая фабрика и фабрика Ля-Савоннери поглотили, повидимому, 4 миллиона ливров с 1661 года по 1710 год. В 5 с половиной миллионов не включены 2 миллиона, затраченные на пенсии, и 3 миллиона на заказы ковров и сукна.

Когда Кольбер основал в 1664 году королевскую мануфактуру ковров в Бонэ, то он даровал директору Луи Гинару не только исключительную привилегию на фабрикацию в течение тридцати лет «ковров с пейзажами и персонажами», освободил его от налогов, таможенных и дорожных пошлин и предоставил ему другие преимущества, но, кроме того, дал ему еще участок земли, возместил три четверти стоимости построек, дал 30.000 ливров деньгами (стоимость на довоенные деньги 113.000 франков), затем ссудил еще без процентов 30.000 на шесть лет, назначил премию в 20 ливров за каждого рабочего иностранца, который будет им нанят, и другую ежегодную премию в 30 ливров за каждого ученика-француза. Для государства это был довольно приличный счет к уплате, и все-таки этого было мало.

Иногда у предпринимателей не хватало необходимых средств на оборудование мануфактурной мастерской или не оказывалось подходящих зданий для найма. «Во французской шелковой промышленности предприниматели объясняют предпочтение, отдаваемое ими кустарной форме производства, трудностью соединить в одном здании значительное число рабочих, ибо нужно найти помещение, где бы проживали не только они, но вместе с ними и жена, 3—4 детей и домашних животных. В некоторых отраслях производства соединение большого числа рабочих под одной кровлей вовсе не сулило резкого повышения предпринимательских доходов.

Вторая причина сравнительно слабого развития мануфактуры— это та, что, с другой стороны, многие мелкие производители, эксплуатировавшиеся торговым капиталом, в своем большинстве еще не дошли в рассматриваемую эпоху до того низкого уровня существования, который граничит с чисто зоологической жизнью. Поэтому они не шли на мануфактуры, предпочитая оставаться при привычной домашней форме производства.

Убедительное доказательство этого дает борьба компании «Французского вышитого кружева», основанной для замены национальным

кружевом тонких венецианских кружев, голландских «гипюр» и английского вышитого кружева, которых требовала мода. Так как кружева фабриковали во Франции уже с давних пор, главным образом, в Пюи, Орильяке, Алансоне, и так как, с другой стороны, Кольбер собирался сделать из работниц названных местностей кружевниц поневоле, то разыгралась настоящая война кружев, и мануфактура была побеждена.

Компания «Французского вышитого кружева», образованная в 1665 году, получила на девять лет монополию на фабрикацию «все-возможных изделий из пряжи, подобных тем вышитым кружевам, которые вырабатываются в Венеции, Генуе, Рагузе и других чужих странах, а также право устраивать фабрики по всему королевству. Король подарил ей особняк в Париже и выдал субсидию в 37.000 ливров. Продажа и даже ввоз иностранных кружев были запрещены. Интенданты и мэры должны были оказывать свою поддержку, набирать работниц, для которых города должны были доставлять помещения.

В Реймсе к концу первого года (1666) было 120 работниц в мастерской. Но мы видим, что другие городские кружевницы каждый вечер устраивали перед фабрикой скандалы.

В Орильяке те же беспорядки, направленные против «итальянок». Если не было скандалов в Ле-Велэ, то потому лишь, что Кольбер, повидимому, не распространил на него той же монополии. Кружевная промышленность существовала там с давних пор и преуспевала. «В Пюи делают кружева, приносящие огромные суммы», писал в 1698 году Лямуаньон де Бавиль, лангедокский интендант, и он добавлял, что эти кружева, продаваемые в Испании, в Германии и во всех чужих странах, давали возможность жить значительной части населения.

В Оксерре работницы не желали, чтобы их запирали на мануфактуре, предпочитая работать у себя на дому. Тогда Кольбер написал (1675 г.): «Так как город Оксерр хочет снова вернуться к лени и упадку, в которых он пребывал, то мои другие занятия и мое здоровье заставляют меня оставить его при его дурном поведении».

В 1678 году в Бурже не находится больше следов мануфактуры: свыше девятисот работниц, которые явились для обучения ремеслу, снова вернулись к «тунеядству», т. е. к домашней промышленности.

В Алансоне произошло большое смятение, когда узнали об

образовании привилегированной компании, ибо монополия угрожала погубить один из источников богатства страны. В самом деле, свыше 8000 человек, женщин, детей, даже стариков, вплоть до «деревенских пастушек», жили кружевами. Подражали венецианскому жанру. Встречались кружевные воротнички из алансонского вышитого кружева, которые стоили до 2000 ливров. «Это манна небесная», говорит интендант. Кружевницы зарабатывали 8 су в день на хозяйских харчах, 12 су без харчей; при помещении, столе и содержании они имели от 24 до 42 ливров в год (стоимость на довоенные деньги от 90 до 160 франков).

Вот почему произошел первый бунт тысячи кружевниц, когда в городе появился агент компании; во избежание смерти, он укрылся у интенданта. Кольбер сместил интенданта, виновного в том, что им не было проявлено достаточной твердости.

Двадцать венецианских кружевниц было отправлено для обучения жительниц Алансона новому вышитому кружеву. Новый бунт: венецианок избили. Пришлось прибегнуть к вмешательству губернатора города и провинции. Несмотря на такое обращение к силе, мануфактура не смогла одержать верх над свободным производством кружева дома.

Ясно, что рабочих, свободных от личной зависимости, имеющих возможность продавать свою рабочую силу и в то же время вынужденных продавать ее, было мало. Поэтому жалобы на недостаток рабочих рук на мануфактурах в те времена раздаются постоянно, причем не только отсутствуют обученные рабочие различных специальностей, но и там, где особой подготовки не требовалось, и всякий мог приняться за работу, сплошь и рядом не было нужных для открытия предприятия рабочих. Рабочих первого рода приходилось привозить из-за границы—шелкоткачей и красильщиков, рабочих для выделки зеркал, ковров, мыла, табаку, кружев и т. п., но и они уже могли обучить местных рабочих своему искусству, что обыкновенно и включалось в заключаемые с ними контракты. Таких рабочих, которые желали бы обучиться новой специальности, следовательно, надо было найти в стране. Но часто не было их, ни рабочих второй категории; напр., ощущалась сильная нужда в прядильщиках, хотя прядение в то время не составляло решительно никакого искусства, и всякая крестьянка способна была пряхать шерсть или лен.

В то же время во всех странах Европы наблюдается увеличение количества бродяг и нищих. «Страна кишит нищими», говорят в Голландии. Масса безработных нищих в Англии. В Пруссии в течение XVII и XVIII веков издано было свыше 100 указов против нищих и бродяг. «Ни один город,—писал Вольтер,—не является менее варварским, чем Париж, и все же нигде нет такого количества нищих, как там. Это червь, который присасывается к богатству; бездельники со всех сторон направляются в Париж, чтобы там получить мзду от людского богатства и доброты». Капиталистические отношения создавали этот обширный lumpенпролетариат и тот же капитализм поспешил наложить на этих «бездельников» руку, чтобы возможно полнее использовать их в своих интересах. С этой целью занялись «воспитанием к полезному труду» нищих и бродяг обою пола, взрослых и детей, даже умалишенных. Вот один из ранних образчиков этого воспитания. Ландграф Гессенский в 1616 году приказал: «всех способных к труду нищих и пьяниц, шатающихся по трактирам, всяких праздношатающихся, сделавших себе промысел из выпрашивания подавания у наших подданных, заставить работать в наших рудниках за надлежащую плату, а в случае нежелания с их стороны заковать их в кандалы и доставить в рудники». Кроме того, повсюду в Европе стали устраивать особые заведения мануфактурного типа под именем рабочих домов, домов призрения, тюрем. В Англии знаменитые рабочие дома (уэркинг хаузес) были учреждены актом 1624 года: Но еще раньше заключенные привлекались там к принудительным работам. Работоспособным нищим должна быть доставлена работа,—гласит английский закон 1601 года,—и, следовательно, необходимо приобрести для домов призрения запасы льна, пеньки, шерсти, ниток, железа и других материалов». Подобные учреждения существовали во Франции уже к началу XII века, а при Кольбере lumpенпролетариев и заключенных усиленно привлекали к принудительному труду. То же в Австрии, в Баварии, Пруссии, Дании, Нидерландах, России, Испании, Италии. Буржуазная мораль признавала, что бедные сами повинны в своей бедности «своим ленивым, беспорядочным и лукавым образом жизни». «Труд и еще раз труд»—стало лозунгом времени против «богопротивной лениности». «Поощрение безделья,—заявляет Франклин,—противоречит божественному порядку и природе». Если бы труд был даже столь бесплоден, как, напр., постройка пирамиды на Сольсбэри Плейн,—говорит Петти,—то все же следовало бы раз-

вивать его, чтобы снова приучить ленивых людей к труду». В данном случае моральные идеалы религиозной окраски вполне совпадали с экономическими требованиями момента, которые толкали в сторону увеличения богатств в стране и расширения экспорта. Эти нравственные идеалы совпадали также и с предпринимательскими прибылями, как мы сейчас увидим. «Попрошайничающие люди,—читаем у Безольда (1740 г.),—молодые и старые, являются большим бременем и позором для страны. Чтобы таких людей заставить работать и доставить им честное пропитание, для этого нет лучшего средства, чем работный дом; это относится и к сидящим в сиротских приютах и к бродяжничающей молодежи, они все могли бы работать в работном доме. Для устройства последнего необходимо лишь следующее: разрешение начальства, наличность скупщиков (предпринимателей), надлежащий надзор и управление со стороны предпринимателей, обработка и сбыт изготовляемых там товаров, хорошая оплата рабочих. Каким образом такой работный дом доставит предпринимателям надлежащую прибыль, это не трудно понять. Если подмастерье может прокормить мастера, который обычно не работает, а является господином, да кроме того еще жену его, детей и прислугу, то сотня уж в состоянии будет прокормить одного». Надлежащая и «хорошая» заработная плата за рассматриваемый период хорошо характеризуется хотя бы рассуждениями английских теоретиков XVII—XVIII столетий, которые высказывались в пользу низкой заработной платы и высоких цен на хлеб в виду того, что это удерживает рабочих от безделья и пьянства, заставляет их трудиться все шесть дней в неделю, в свою очередь, поднимает их моральное состояние и в то же время увеличивает количество прилагаемого в промышленности труда». В частности, заработная плата принудительно работавших была жалкой. Известны случаи, когда никакой оплаты труда в сущности и не было. «Так, в исправительном прядильном или работном доме в Нюрнберге, где находились нищие, бродяги, проститутки, дети, сироты все эти лица занимались пряденьем, а также шлифованьем стекол, причем всех, даже беременных женщин, стариков, больных и умалишенных, беспощадно заставляли шлифовать стекла, весь же доход поступал в пользу заведующего заведением, который усматривал в этом вознаграждение за ту жалкую пищу, которую он давал им».

Для характеристики однородных фактов из русской действительности можно привести указ Петра I от 1719 года: «Господа Сенат.

Били челом нам Московские полотняного дела компанейщики Андрей Турка с товарищи, чтоб для умножения полотняной фабрики тонких полотен отсылать к ним для пряжи льну баб и девок таких, которые будут в Москве из приказов, также из других губерний по делам за вины свои наказаны, а пропитание им давать они станут от себя, но токмо б для той работы отвести им в Москве из опальных двор с каменными палаты. И по получении сего пошлите указы как в Московскую, так и в другие губернии, дабы виновных баб и девок отсылали к ним в работу для пряжи льна, и писали б именно: сколько которой лет в той работе быть, или по смёрть, усматривая по их винам. И для той работы велите им дать на прядильный двор на Москве из отписных с каменными палатами, а именно, Авраамов двор Лопухина и другой из загородных опальных же дворов, где они сами приищут. И для караула к тем бабам, чтобы они не бегали, дайте им в компанию из отставных солдат сколько человек заблагорассудится, и чтоб они пропитание давали от себя ж».

Мануфактуры с несвободным трудом практиковали самые разнообразные производства. Особенно часто они были заняты прядением шерсти, пеньки и льна, почему тюрьмы стали даже называть прядильными домами. Кроме того, заключенные и призреваемые ткали сукно, вязали чулки, шили камзолы, изготовляли паклю для конопачения судов торгового и военного флота, предметы военного обмундирования и материал для них, вышивали, выделывали кружева, перчатки, ковры, белье, позументы, материи и пр. Некоторые мануфактуры с принудительным трудом сосредоточивали в себе красильщиков, сапожников, столяров, бондарей, слесарей, каменотесов, меднокотельников, кожевников и т. д. Образчиком мануфактур рассматриваемого типа может служить открытый в Париже в 1656 году «Л'Опиталь Женераль». «Все нищенствующие, — говорится в статье 7 регламента, — трудоспособные и нетрудоспособные всякого возраста и пола, которые будут найдены в пределах города и предместьев Парижа, будут заключены в Опиталь и в находящиеся в его ведении места и будут употреблены на публичные работы, на промышленный труд и на обслуживание самого учреждения по распоряжению директоров его». Опиталь распался на целый ряд заведений, представляя собой одновременно рабочий дом, исправительное заведение, богадельню для престарелых и сиротский приют.

По отношению к рассматриваемой эпохе XVII—XVIII сто-

летий необходимо признать исправительные заведения особой и притом важной категорией мануфактур рядом с мануфактурами, устроенными иностранцами и работавшими преимущественно при помощи иноземных рабочих, и немногочисленными мануфактурами, возникшими органически, из кустарных предприятий. Для некоторых местностей мануфактуры с принудительным трудом были вообще первыми мануфактурами, а в отношении цеховых привилегий они играли ту же расшатывающую роль, что и мануфактуры, созданные иностранцами, и деревенские кустари. Цехи были бессильны устранить конкуренцию работных домов, приютов и тюрем. Базельский городской совет дал цехам такую отповедь, когда последние заявили протест против мануфактуры, устроенной в сиротском приюте: «Когда государство предпринимает что-либо с богоугодной целью, то цехи могли бы держать язык за зубами».

Так, мы видели, что домашняя форма крупной промышленности и при появлении мануфактур оставалась господствующей. Это произошло оттого, что за рассматриваемую эпоху торговый капитал продолжал преобладать над промышленным, так как полное развитие капиталистических отношений еще не привело к высокой степени обособленности организаторского труда над исполнительным, меновые отношения не развились настолько, чтобы повсюду накопились достаточные капиталы для создания в неограниченном количестве чисто промышленных крупных предприятий, чтобы повсюду появились в достаточном числе свободные от средств производства рабочие. Наконец, к этим двум причинам нужно прибавить и третью: самая производственная техника еще не создала в эту эпоху категорических предпосылок к концентрации производственного процесса по всей линии. Только появление машин повысило производительность труда настолько, что мелкие производители, работавшие на дому, оказались вынужденными идти на фабрику, будучи не в состоянии конкурировать с фабричной техникой. Только применение машин сделало выгоды концентрированных предприятий в значительной части производственных отраслей безусловными для самих предпринимателей.

7. Борьба за океанические торговые пути и колониальные войны.

«Открытие золотых и серебряных рудников в Америке, истребление, порабощение и погребение заживо туземного населения в этих рудниках, первые шаги по пути завоевания и ограбления Индии,

превращение Африки в место выгодной охоты за чернокожими,— все эти явления характеризуют капиталистическую эру на заре развития. За ними идет торговая война европейских народов, театром которых является весь земной шар» (Маркс).

Колонии были могучим фактором первоначального накопления, и естественно, что борьба, связанная с внеевропейскими владениями в так называемый период новой истории, была почти непрерывной.

XVI век отмечен борьбой между Испанией и Англией. Торговый характер этих войн, закончившихся разгромом знаменитой испанской армады в июле 1588 года, достаточно характеризуется тем, что в Англии составлялись специальные общества для извлечения выгод из корсарских нападений Дрека и Рэли на испанские владения и серебряные флоты.

Тот же характер соперничества за торговое преобладание носит борьба эпохи английской революции с Францией и Голландией. Эта борьба с Францией началась таможенной войной, продолжалась систематическим взаимным захватом торговых судов и закончилась торговым трактатом конца 1655 года.

С Голландией английская республика вела прямую войну, которая завершилась признанием со стороны Нидерландов знаменитого Навигационного акта (1651 года), направленного к тому, чтобы сломить торговое преобладание Голландии на всех морях. Наконец, цепь войн между Англией и Францией от 1689 по 1815 г.г. началась запрещением ввоза в Англию французских товаров и закончилась разгромом «континентальной блокады», павшей с окончательным падением Наполеона I. Сорокалетняя распря между Испанией и Голландией (1568—1609), причем первая старалась сохранить за собой господство над главным торговым и денежным центром Европы—Нидерландами, а последняя поставила себе целью освободиться от грабительских притязаний метрополии, закончилась созданием богатой и сильной торговой республики Нидерландов, развившей широкую колониальную политику, и экономическим упадком самой Испании, лишившейся своей денежной мощны.

Войны Людовика XIV в значительной своей части возникли из стремления к насильственному захвату торговых преимуществ, и их истинная природа достаточно определяется тем, что они вытекали из меркантилизма.

8. Меркантилизм.

Из предыдущего видно, что рассматриваемый период является временем развития и укрепления капиталистических отношений в различных европейских странах. Буржуазия неудержимо растет и приобретает командующее значение в хозяйственной жизни. Необходимым последствием этого факта является то, что государство берет на себя защиту буржуазных интересов, направляет свою торговую и промышленную политику в интересах купцов и предпринимателей. Относящиеся сюда правительственные меры известны под именем «системы меркантилизма». Меркантилизм наблюдается одинаково как в странах парламентских (Англия), так и в странах, где господствующие классы были оттеснены абсолютистской организацией от непосредственного участия в политической жизни (Франция, Россия, Германия). Правительства Генриха VIII, Елизаветы Английской, Кромвеля, Уильяма III, Людовика XIV, Петра I, Фридриха II равным образом принимают покровительственную систему, говорят о ней одним языком и одинаково подходят к ее практическому осуществлению. «Руководители государства должны непрерывно размышлять о том, как доставить работу народу, как занять его беспокойный дух и каким образом приготовить внутри королевства все, что делается вне его», читаем мы в одном из актов Генриха VIII. «Все товары заграничные, не являющиеся безусловно необходимыми для страны, равно как все те товары, которые можно готовить внутри страны, должны быть запрещены к привозу даже в том случае, если бы за туземный продукт пришлось платить дороже. Английские сырые продукты надлежит удерживать в стране и в ней же перерабатывать, дабы иностранцы не обогащались на счет англичан». «Нужно восстановить или создать всевозможные отрасли промышленности, даже предметов роскоши, писал Кольбер в 1653 году, установить в таможах покровительственную систему, организовать производителей и коммерсантов в корпорации, восстановить во Франции морской транспорт ее продуктов, развить военный флот для защиты морского». Русский Новоторговый устав 1667 года утверждает необходимость покровительственной политики, так как повсюду в Европе «остерегают торги с великим бережением», а вице-президент мануфактур и берг-коллегии Люберас указывает Петру I в одной из своих докладных записок на необходимость эмансипироваться от

чужеземного ввоза, «так как ваше величество имеете возможность завести собственные подобные мануфактуры».

Меркантилизм в соответствии с общим направлением прослеженного выше экономического развития прошел через две фазы: торговую и торгово-промышленную. Ранняя фаза характеризуется тем, что покровительственные меры направляются преимущественно на торговлю, а теоретическая мысль оправдывает эти меры выгодами, которые получает страна от притока в нее драгоценных металлов, растущего параллельно росту вывоза. Надзор же за промышленностью остается в руках самих ремесленников и ремесленных организаций (теория денежного баланса). Но по мере того, как капитал все больше овладевает производством, «система меркантилизма» вступает во вторую свою фазу, дополняя покровительство отечественной торговле покровительством отечественной промышленности. Последняя, будучи еще технически несовершенной, недостаточно производительной, обладала слабой самосопротивляемостью иностранной конкуренции и цеплялась за искусственную защиту от ввоза иностранных товаров. Развитию меркантильной системы в сторону контроля над промышленностью и созданию промышленных предприятий путем правительственных мероприятий способствуют почти непрерывные войны на пространстве XVI, XVII и XVIII веков. Эти войны вели к блокадам, превращали по временам отдельные страны в самодеvelopующие хозяйственные организмы. Блокада страшна постольку, поскольку она препятствует снабжению армии боевыми припасами и снабжению феодального слоя предметами квалифицированного потребления. Но при блокаде, развивая соответствующие отрасли промышленности, страна не только упрочивала свою политическую независимость, но и подчиняла себе экономически страны, которые в этих отраслях отстали от нее. Их подчинение выражалось и выражается в том, что в мирное время деньги из них притекают в промышленно-передовую страну в оплату необходимых продуктов, а во время войны прекращение вывоза этих продуктов оказывается хорошим средством для того, чтобы парализовать боевую способность противника. Таким образом, торговый капитал толкал к войнам, к развитию промышленности, к увеличению объектов торговли. Теоретики, выражавшие намеченный круг интересов, стали утверждать, что богатство страны обуславливается преобладанием вывоза над привозом, а правительства стремились рядом мер увеличивать не-

ограниченно вывоз, сводя к возможному минимуму иностранный ввоз (система торгового баланса).

Приактика, соответствовавшая экономической ситуации, давшей обоснование меркантилизму, повсюду однородна и сводилась к следующему. Во-первых—центральными правительствами проводилась ликвидация внутренних таможен, провинциальных привилегий, городских ввозных пошлин, одним словом, всего, что мешает превращению централизованного общества в единый внутренний рынок вокруг определенного экономического центра. Во-вторых, проводился ряд мер, отрицательных и положительных, для создания условий, наиболее благоприятствующих торговле и промышленности данного государственного объединения: на периферии учреждались таможи, пошлины удорожали ввозимые товары, вывозимое сырье, вывозимые продукты питания рабочих. Правительства приглашали в свои страны иностранцев для насаждения новых отраслей производства, неизвестных данной стране. Эти иностранцы не подчинялись цеховым ограничениям, получали привилегии монопольного свойства, в некоторых случаях им давалось право на принудительный труд крепостных и заключенных. Часто все эти меры в случае надобности распространялись также на туземных предпринимателей. И туземные предприниматели, и иностранцы в конфликтах с рабочими встречали энергичную поддержку со стороны правительственной власти.

Все эти мероприятия, как легко заметить, крайне выгодны для торговой буржуазии и еще неокрепшего промышленного предпринимательства. Они сыграли важную роль для создания необходимых капиталов, нашедших приложение в последовавший за эпохой первоначального накопления промышленный период. Когда развитие промышленности сделало излишней искусственную защиту от иностранной конкуренции, меркантилизм утратил свое значение и разложился. Это случилось прежде всего в Англии *). Но в экономически отсталых странах предпосылки покровительственной системы продолжают жить до сих пор. Общее значение меркантилизма в период первоначального накопления формулировано в следующих словах Маркса: «Система протекционизма была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых

*) Там раньше всего и чаще всего стали раздаваться голоса в пользу свободной торговли, не стесненной никакими запретами и пошлинами. Английские писатели-экономисты—Норт еще в конце XVII века, Адам Смит в XVIII столетии—во Франции школа физиократов требуют провозглашения свободной торговли.

рабочих, капитализировать национальные средства производства и существования, насильственно сокращать переход от старого способа производства к современному. Европейские государства дрались из-за патента на это изобретение и, раз попав на службу к рыцарям наживы, не довольствовались уже тем, что с этой целью облагали данью свои собственные народы, косвенно путем покровительственных пошлин, прямо путем экспортных премий и т. п. Они насильственно искореняли всякую промышленность в зависимых от них второстепенных странах, как, напр., была искоренена англичанами шерстяная мануфактура в Ирландии. На европейском континенте процесс этот по примеру Кольбера был еще более упрощен. Первоначальный капитал притекает здесь к промышленникам в значительной мере прямо из государственного казначейства. Зачем—восклицает Мирабо,—так далеко искать причин мануфактурного расцвета Саксонии перед Семилетней войной? Достаточно обратить внимание на 18.000.000 государственного долга».

II. ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ ТОРГОВОГО КАПИТАЛИЗМА.

I: Условия экономического развития Англии, Франции и Германии в XVI—XVIII веках.

I. Интенсификация сельского хозяйства в связи с ростом английской торговли и промышленности.

Уже к концу Средних веков внутри Англии существовала полная свобода обмена. Начиная с XIII века, стали появляться торговые договоры между отдельными городами. Особенно часто они заключались в течение XV столетия, так что к началу XVI века вся Англия оказалась покрытой сетью интермуниципальных соглашений, на основании которых граждане одного города, приезжая в другой город с торговыми целями, освобождались от уплаты пошлин. С другой стороны, за рассматриваемый период Англия втянулась и в международные торговые отношения. Особенно важную роль сыграло вовлечение в широкий торговый оборот английской шерсти. В прямой связи с развитием внутреннего и внешнего обмена находилась рост английской текстильной промышленности (производство шерсти и сукон). Все эти силы, успехи менового хозяйства и промышленности, действовали настолько энергично, что к началу XVI столетия в стране наметился рост городов и уменьшение сельского населения. **В**новь народившиеся экономические факторы не могли не оказать влияния и на сельско-хозяйственные отношения. Расширился внутренний рынок для сбыта сельско-хозяйственных товаров: с одной стороны, появились требования на сырье, с другой—на продукты питания. Народился, таким образом, стимул к поднятию доходности отдельных хозяйств, внесший дух предпринимательства в английскую деревню. Привычные отношения стали расстраиваться, сельско-хозяйственная масса пришла в движение.

Оживление сельско-хозяйственного рынка естественно повело за собой стремление к поднятию производительности земли. Об улучшенных способах хозяйствования говорится уже в агрономических сочинениях XVI века. Последние рекомендуют переход от

трехполья к усовершенствованной переложной системе. «Крестьянин», поучает одно из них, «не может вполне преуспевать с одним хлебом, не держа скота, и одним скотом, не производя хлеба, иначе он станет покупщиком, должником, значит, нищим... Если один из его трех клиньев, предназначенных для посева, станет истощаться или всегда был малопродуктивен, он может поднять участок, служащий для загона, или участок, выделенный из общинного пастбища, или оба эти участка и засеять их хлебом, а тот клин на время оставить без посева, и так он постоянно будет иметь землю, которая будет давать большой сбор при малом удобрении». В течение XVI века в восточных графствах стали сеять хмель, попавший в Англию из Нидерландов, как промысловое растение. В XVII веке по Англии распространяется культура корнеплодов, в частности кормовой репы (турнепса), а также садоводство и огородничество, работающие на продажу. В XVIII веке из Голландии и Фландрии англичане заимствовали кормовые травы: рейграсс, клевер и люцерну. Вместе с тем, начиная с XVII столетия, отдельные хозяева стали предпринимать различные мелиорации, среди которых видное место занимали работы по улучшению песчаных почв, по осушке заболоченных пространств, опыты по усовершенствованию обработки земли, по применению искусственных удобрений и т. п. Все это медленно и постепенно двигало вперед английское земледелие, а корнеплоды и кормовые травы вели от трехполья к плодопеременной системе, уничтожая непроизводительные паровые поля, повышая урожайность, а следовательно, и доходность хозяйств.

Последней цели служило и развивающееся овцеводство. Уже в позднейшее средневековье шерсть была единственным важным предметом вывоза из Англии—предметом, относительно которого последняя пользовалась фактически монополией в северо-западной Европе, так что возможность контролировать эти статьи вывоза являлась могущественным орудием дипломатии, и обложение шерсти вывозными пошлинами было легким средством для увеличения королевских доходов. Издержки, связанные с войнами Эдуардов и Генрихов, покрывались преимущественно поступлениями с вывозных пошлин на шерсть. Огромные суммы, выплачиваемые Англией римской курии и различным духовным лицам в XIII—XV столетиях, прежде всего посылались ломбардским банкиром во Фландрию в виде шерсти, а затем уже оттуда переводились деньгами в Италию. Но Англия

не удовлетворялась снабжением Европы сырым материалом; правительство делало попытки развить также и мануфактурное производство, и его мероприятия в этом отношении имели успех. Сукно сделалось основой английского богатства: в конце XVII века шерстяные товары составляли две трети всего английского вывоза. Рост оборотов с шерстью характеризуется следующими цифрами. В 1422 году пошлина на шерсть и уплачиваемая с шерсти субсидия составляли 74% всех таможенных доходов. При Генрихе VIII эта цифра упала на 33%, в то время как таможенные пошлины вообще поднялись на 36%, причем повышение на одно сукно составляло 24%. В 1354 году было вывезено только 477½ кусков сукна, а с 1509 по 1523 год вывезли в среднем по 84.789 кусков в год, с 1524 по 1533 г. по 91.394 куска в год, с 1534 по 1539 г. по 102.647 кусков и, наконец, с 1540 по 1547 г.—по 122.354 куска в год. Параллельно с вывозом шерстяных изделий росли цены на самую шерсть. В виду изложенного производство шерсти представляло собой очень выгодную затрату капитала в сельском хозяйстве. Естественно, что при таких условиях росло овцеводство. В Англии XVI века пастбищные хозяйства в несколько сотен голов не были редкостью. Некоторые лица держали по 24.000, а некоторые от 20.000 до 50.000 овец. У многих являлось желание перейти от зернового хозяйства к пастбищному при взгляде на тех, кому «копыто овцы превращало песок в золото». «Цены на шерсть с каждым днем росли все более и более», читаем мы в одном документе XVI века, «и хозяева, встречаясь, как обыкновенно, на базарах и узнавая, как сильно идут в гору цены на шерсть, начали изыскивать всевозможные способы, чтобы упразднить трудом созданное земледелие и увеличить производство шерсти, чтобы иметь ее возможно больше. И так все возрастали цены, что в конце концов фермеры, увы, и джентльмены стали запускать землю без обработки, обращая ее под пастбища..., научившись учитывать громадную прибыль, какую они могут этим путем получить». Однако, и интенсификация сельского хозяйства, и пастбищная система наталкивались на земельную сельскую общину, которая была господствующей формой землепользования в Англии той эпохи. Общинные принудительные порядки стесняли индивидуалистический размах, поэтому сельскохозяйственные предприниматели усиленно стремились поставить себя вне общины.

2 Огораживания в Англии.

Для того, чтобы представить себе конкретно, чем была английская земельная община с сельско-хозяйственной точки зрения, остановимся на описании прихода Хэнлоу в графстве Бэдфорд, относящемся к 1795 году. Общинные порядки там, где они сохранялись в Англии XVIII века, были такими же, как в Англии XVI и XVII веков; поэтому наш случай можно рассматривать как типический, а, следовательно, приложимый и к более раннему времени. В приходе Хэнлоу вся масса пахотной, луговой, пастбищной и пустошной земли была открыта, т. е. не находилась в чем-либо обособленном пользовании, а состояла в распоряжении всей общины. Нет сомнения, что самыми отдаленными и наименее поддающимися культуре частями прихода были пастбища. Обыватели пасли на них мелкий и крупный скот, руководствуясь при этом определенными правилами, всеми признаваемыми и основанными на величине участков отдельных домохозяев в пахотных полях. Эти правила определяли число голов скота, которое мог гонять каждый общинник на общинном пастбище. От общинного пастбища вел через пахоту к деревне прогон, обсаженный живой изгородью или обнесенный плетнем. Сзади коттэджей, которые, примыкая друг к другу, образовывали деревню, тянулись небольшие сады и огороды. Вокруг деревни лежали открытые общинные пахотные поля, которые занимали, по всей вероятности, значительно большее пространство, чем половина всего прихода. Пахотные поля были поделены, вероятно, на 3 или 4 куска, смотря по тому, какая в данном случае применялась система—трехпольная или четырехпольная. Все сельчане должны были строго подчиняться раз принятому севообороту. Наделы отдельных домохозяев были невелики и различны по размеру, начиная от 3—4 акров и выше. Какой-нибудь надел в 20, например, акров состоял приблизительно из 30 отдельных полос, величиной от пол до одного акра каждая, разбросанных во всех полях и поделенных приблизительно поровну между полями. Поэтому в нашем примере, если принять, что в Хэнлоу был четырехпольный севооборот, из 20 акров пахотной земли 5 акров лежало под пшеницей, 5—под ячменем, 5—под паром. Паровой землей вся община пользовалась ежегодно, как общинным выгоном, а засеянная земля также служила местом выпаса после уборки хлебов. По притокам реки Айволь были расположены общинные луга. Их делили на

определенное количество долей в пол, четверть акра, даже меньше, и обозначали отдельные доли кольями, а то и просто камнями. Каждому двору было предоставлено определенное число луговых участков сообразно с площадью его пахотной земли. Пока скот ходил по общинному выгону и еще стояли хлеба, луга заказывались. Когда же наступал сенокос, каждый домохозяин выкашивал свои доли. По уборке сена луга поступали в общинное пользование для распаса. Все члены общины время от времени собирались вместе для решения общих вопросов. К этому описанию надо добавить, что при общинных порядках очень часто домениальные земли были тоже поделены на полосы, лежавшие вперемежку с полосами держателей, а иногда владелец мэнора участвовал и в общинном пастбище.

После сказанного легко представить себе затруднения, на которые наталкивались предприниматели, как лэндлорды, так и крестьяне, из-за общинных порядков. По мере капитализации сельского хозяйства учащались случаи выхода из общины; самый переход из общинного землепользования к индивидуальному, поскольку дело идет об Англии, называется огораживанием. Этот термин произошел от той изгороди, которой часто обносился участок, изъятый из общего пользования с целью преградить на него доступ посторонним лицам, а, главное, домашним животным других хозяев. В связи с сельскохозяйственной практикой различалось несколько видов огораживаний. Во-первых, происходили огораживания участков пахотной земли среди общинных полей. В этом случае огораживание иногда представляло собой предварительные действия по превращению обнесенного изгородью участка в пастбище, а самая изгородь предназначалась для того, чтобы держать внутри ее пасущихся животных. Иногда же такой участок превращался в хутор. Во-вторых, имели место огораживания той или иной площади земли среди открытого общинного выгона. Здесь огораживание часто служило первым шагом к распашке обнесенного изгородью участка, а самая изгородь возводилась для того, чтобы не допускать домашних животных на огороженный участок. Иногда участок оставался пастбищным, но служил уже для распаса какому-нибудь одному определенному хозяину, а не всей общине. В-третьих, наблюдались огораживания пахотной домениальной земли с отмежеванием домениальных полос к одному месту, а также огораживания в пользу лэндлорда общинных пастбищ или пустошей целиком и частями. Иногда лэндлорды не только

размежевывались с общиной, но и совсем отделялись от держателей, сгоняя их с держаний или в полном составе или некоторых из них. Наконец, огораживания принимали форму размежевания всей общинной земли на отдельные хутора с общего согласия всех членов данной общины. Вообще говоря, огораживания происходили, кроме случаев общего договора между общинниками о размежевании на самостоятельные участки: 1) в силу актов различных государственных учреждений, начиная с парламента, 2) путем скупки одним лицом прав других заинтересованных лиц, 3) по специальным разрешениям королей (во времена Тюдоров) и 4) в результате насилия и самоуправства. Разумеется, что выход из общины на участок индивидуального пользования не всегда сопровождался огораживанием в буквальном смысле этого слова, т. е. постановкой изгороди вокруг выделенной из общинной земли площади; однако, изъятый из общинного пользования в интересах отдельного лица кусок земли всегда менял свой юридический характер. Хронологически огораживания появились раньше в юго-восточных графствах, чем на севере и востоке. Это происходило оттого, что эти графства были близки к Лондону, а главное к торговым морским путям на континент и с континента. В XVI и XVII веках местом усиленных огораживаний были еще так называемые срединные графства. Здесь огораживания происходили, главным образом, ради перехода к пастбищному хозяйству. Именно в срединных графствах цена на шерсть стояла наиболее высоко, тогда как цены на хлеб были низки.

«Принцы и лорды», писал один современник Генриха VIII, «редко заботятся о благосостоянии своих подданных. Они смотрят только на то, чтобы получать со своих земель ренты и доходы, причем с большим рвением стараются те и другие повышать, лишь бы только поддерживать свой роскошный образ жизни. Так что если их подданные честно выполняют свой долг, т. е. в установленные сроки вносят ренту, об остальном владельцы земель уже не считают нужным заботиться. Им все равно, выражаясь вульгарно, тонут ли уже их держатели или еще плавают». Этот отрывок достаточно ясно выражает положение вещей, создавшееся в связи с развитием в стране денежного хозяйства. Имение сделалось источником для добывания денег. В тех местностях, куда проникли новые экономические отношения, феодал былых времен—правитель небольшого государства, интересы которого как ни как были тесно связаны с его собственными, уступил место землевладельцу, для которого на первом плане

стояла эксплуатация его земель и держателей, интересы которого стали противоположны интересам лиц, населявших его земли. Рыцарь превратился в товаропроизводителя и стал безжалостно рвать с феодальным обычаем, когда последний, защищая интересы других, вредил его собственным. Жажда золота и серебра, на которые все можно купить, стала диктовать землевладельцу правила хозяйствования и указывать на способы земельной эксплуатации. Новые экономические условия создали в Англии два основных типа среди землевладельцев. С одной стороны, появились лэндлорды-дельцы, лично входившие во все подробности хозяйства. С другой стороны, наметилось придворное дворянство, которое редко бывало в имениях и проводило время в Лондоне. Но те и другие одинаково были враждебны старым сельско-хозяйственным отношениям. Разница была только в том, что первые непосредственно выступали в роли эксплуататоров, а вторые перекладывали заботы по извлечению доходов из своих земель на приказчиков и на крупных фермеров, арендаторов помещичьих доменов. В последнем случае главным регулятором в бюджете лэндлорда является «сэрвэйор» — приказчик, сборщик оброков, специалист по выжиманию ренты, и на ряду с ним капиталистический фермер, специалист по поднятию доходности доменов; в первом — лэндлорд сам был своим главным сэрвэйором и фермером. Общая тенденция помещиков во что бы то ни стало увеличить свои доходы естественно толкала их всюду, где были налицо благоприятные объективные условия, к переходу на новые способы хозяйствования, наиболее выгодные. Там, где лэндлорды оказывались связанными общиной в своих стремлениях, они искали выхода в огораживаниях. Лорд или фермер, кроме повышения платежей держателей, стал расширять и округлять домены. Пахотные полосы, лежавшие вперемежку с держательскими, собирались к одному месту, выгоны и пустоши целиком или частями изымались из общинного пользования в пользу домена, в некоторых случаях держатели сгонялись с держаний, а их земли тоже включались в домен. Эти огораживания, производившиеся по инициативе лэндлордов, имели в виду, по единодушному свидетельству современников, главным образом, переход к пастбищному хозяйству, основе прибыльного производства шерсти.

Развитие денежного хозяйства оказало свое влияние и на междукрестьянские отношения. Как и следовало ожидать, перемены в положении отдельных крестьян были особенно заметны в

срединных, южных и восточных графствах, которые были непосредственно затронуты торговым и промышленным развитием. Здесь раньше, чем в других местах страны, наметилась пестрота в благосостоянии разных крестьянских дворов, увеличилась трещина между бедняками и сильными домохозяевами. Последнее может быть иллюстрировано следующими примерами: в 13 мэнорах Норфолка и Сэффока 391 держатель располагал участками земли всяких размеров от $2\frac{1}{2}$ акров до 120 акров, причем крупные держатели свыше 30 акров составляли группу около 40 человек, из которых большинство имели участки в 30—70 акров, и только 13 человек—участки от 70 до 120 акров. При этом больше половины всех держателей располагали участками меньше, чем в 10 акров, а 22% участками меньше, чем $2\frac{1}{2}$ акра. Наоборот в некоммерческом и непромышленном Норзэмберленде замечается значительно большее однообразие: там в 10 мэнорах, к которым относятся нижеприводимые данные, $\frac{2}{3}$ всех держателей располагали участками от 30 до 50 акров. Из общего числа этих держателей в 96 человек только 6 человек держали участки от 60 до 90 акров. Таким образом, в Норзэмберленде легко установить господствующий слой крестьян, составляющий большинство всего земледельческого населения и располагающий приблизительно равными участками. В Норфолке и Сэффоке, благодаря разнообразию в величине держаний, это делается уже невозможным. Расслоение крестьянства зашло здесь слишком далеко, чтобы могло сохраниться прежнее деление на три господствующие группы: мелких, средних и крупных держателей с явным преобладанием над всеми именно средней группы. В торговых и промышленных графствах наблюдается, таким образом, консолидация отдельных держаний в одних руках и, наоборот, раздробление прежде цельных держаний между несколькими держателями, другими словами, увеличение числа бедняков и появление более зажиточных крестьян, доминирующих над остальными. Иногда случалось, что разбогатевшие крестьяне являлись посредниками между лэндлордами и крестьянской беднотой, так как они сдавали от себя части своих держаний третьим лицам, а, следовательно, сами делались лэндлордами по отношению к своим держателям. Многие из богатых домохозяев располагали держаниями в нескольких мэнорах и путем такого собирания делались крупными хозяевами. Как пример такого преуспевания, можно привести некоего Стивена Борда из Сэссекса. Этот Бورد в

царствование Елизаветы составил завещание, из которого видно, что он располагал 69 держаниями, разбросанными по 29 приходам и 19 мэнорам своего графства. Земельная площадь всех трех держаний равнялась 740 акрам. К сказанному надо добавить, что не все участки, находившиеся в руках Борда, попали в опись, так как рукопись испорчена, и до нас дошел неполный перечень держаний завещателя. Технически появление многоземельных крестьян совершилось путем скупки зажиточными домохозяевами участков и прав на держания своих менее преуспевающих соседей, путем покупки и арендования земли у лэндлордов и путем заимок на свободных землях мэноров, там, где такие земли оказывались. Все эти способы предполагали наличие капиталов у отдельных представителей крестьянства. Последнее же соображение приводит нас к вопросу о том, как эти капиталы могли образоваться. Помимо таких случаев, как особо плодородные участки, которые делали своих держателей в некоторых случаях более богатыми, чем их соседи, как меньшая требовательность лэндлордов в отдельных имениях и т. п., деревенские капиталисты образовались из должностных лиц мэноров, из приказчиков, старост, бэйлифов. Последние часто платили минимальную ренту за свои земли и потому могли копить. Кроме того, в особо благоприятных условиях находились многосемейные, так как они меньше отдавали рабочей силы лорду еще во времена барщины, ибо земельные повинности лежали не на держателях, а на держаниях, и, таким образом, большая семья, посылая одного-двух своих членов на господский двор, справлялась легко с работой на своем участке, выигрывая в этом перед малосемейными. Существуют еще указания, что иногда небольшими капиталистами оказывались деревенские ремесленники, которые обращали в землю приработанные ремеслом деньги. Иногда деревенских капиталистов создавала близость промышленных городов и портов. Крестьяне, уходя в города на разные заработки, возвращались в деревню с заработанными деньгами и снова брались за хозяйства. Наконец, появление в деревне денег создавало задоженность одних крестьян другим со всеми вытекающими последствиями. Естественно, что деревенские капиталисты, подобно лэндлордам, стремились приспособиться к новым экономическим условиям, и жажда наживы также толкала и их к наивыгоднейшим способам хозяйствования, несовместимым с порядками старой общины. О том, как думали крестьяне-предприниматели об общине,

можно судить по произведению Тэссера, фермера XVI столетия. Этот Тэссер писал свои наставления для хороших, т. е. освободившихся от общины хозяйств. По мнению нашего автора, в общине все дурно: истощающий почву севооборот, плохое пастбище, отвод ценной земли под массу ненужных дорог и тропинок, плохой присмотр за скотом. Но всего более раздражают Тэссера потравы. Травят люди, лошади, коровы, свиньи и овцы. А когда фермер, имеющий несчастье хозяйничать с общинниками, заикнется о вознаграждении за потраву, он слышит в ответ одни только ругательства. Община есть торжество беспорядка. Тэссер пытается также нарисовать психологию общинника. Община есть господство застоя, традиции, обычая. Общинное хозяйство не дает развиваться чувству собственности: общинник очень легко смотрит на воровство, особенно из чужого сада. Общинник ничего не может решать один: он привык действовать толпою, скопищем. Но и когда эти люди вместе, они ни о чем не могут сговориться: они спорят, галдят, дерутся. Но стоит только затронуть одного из них, как весь рой двинется ему на подмогу. Они уверены в совершенстве своего строя. Бедняки не хотят и слышать об огораживаниях: они уверены, что при размежевании их непременно обидят. «Как будто нельзя произвести справедливо раздела», замечает Тэссер. Противники общин из среды богатого крестьянства не хотели понять, что «бедняки» были правы. «Раздела всех общин нельзя совершать сразу», читаем мы в другом сочинении XVI века, «в Англии есть много тысяч коттэров (безземельных и малоземельных крестьян), которые не могут прокормиться своей землей и живут трудом своих рук да некоторым освежением на общинных угодьях. Если сразу отнять у них это удобство, они могут поднять большую смуту в государстве». Тэссеру, впрочем, был как раз нужен бедный коттэр; именно коттэры давали наемных рабочих в царские усадьбы и двory зажиточных крестьян. Без наемного же труда в рассматриваемую эпоху уже не могли существовать ни лэндлорды, ни «хозяйственные мужички».

Из рассуждений Тэссера видно, что крепкие хозяева при всяких условиях предпочитали индивидуальное хозяйство общинному. Особенно же тяготили отдельных хозяев общинные порядки там, где развивалось овцеводство. Помимо тех случаев, когда некоторые двory старались получить отдельные участки на общинных пастбищах, держатели больших земельных площадей стара-

лись округлить свои участки в пахотных полях, чтобы обратить их в пастбища или в хутора, обнеся предварительно изгородью. Это округление участков, соби́рание отдельных полос к одному месту, происходило обыкновенно путем обмена полосок между заинтересованными лицами. Но в иных случаях отдельные держатели продавали или отдавали в наем неудобные разрозненные полосы, а вместо них покупали или брали в аренду лежащие рядом нивки своих соседей. Таким образом получались компактные участки, которые затем огораживались с разрешения мэнориальных властей и выходили из общинного пользования. Но, кроме таких частичных огороживаний со стороны отдельных крестьян, в рассматриваемую эпоху происходили уже разделы на индивидуальные хозяйства целых общин, причем часто побудителем к этому акту являлось развитие в данной деревне именно овцеводства. Общинный обычай определял количество скота, которое может держать отдельный домохозяин, исходя из величины его пахотных земель. Но обычай оказывался недостаточно сильным для того, чтобы удержать отдельных домохозяев от превышения этой нормы. Один автор XVI века, ратуя против общины, замечает, что после разверстания «богатый не будет объедать бедного своим скотом, каждый сможет использовать свой огороженный участок по своему желанию». Ту же мысль высказывает другой сторонник разверстания в XVII веке. «Там, где поля не огорожены и состоят в общем пользовании, тот, кто богат и имеет много скота, съедает своим скотом не только свою долю, но и долю своего соседа, который беден и не имеет скота. Кроме того, это обычный прием бессовестных людей держать больше животных, чем они имеют право, пока этого не заметят, и тогда они убирают свой скот так, чтобы про него не знали». Некоторые документы показывают даже, что богатые крестьяне - овцеводы иногда оказывались противниками разверстания. «Бедные, — говорит один из таких документов, — не в состоянии занять скотом свою долю в общинном пастбище или использовать ее, как могли бы, если бы обладали средствами, а богатые пользуются и своей долей и долей своего соседа, и в этом причина, почему они не соглашаются на огораживания и разверстание общинного пастбища». Но как бы то ни было, в рассматриваемый период в экономически передовых графствах огораживания производились не только лэндлордами и капиталистическими фермерами домэнов, но и самими крестьянами.

Разложение общины шло, таким образом, и сверху и снизу. Расслоение крестьян закреплялось дальнейшим развитием крепких хозяйств, которые черпали свою силу из благоприятно складывавшихся условий сельско-хозяйственного рынка.

3. Образование безработного и безземельного населения и борьба с ним в Англии.

Процесс огораживания был длительным и, как мы видели, не захватил в рассматриваемую эпоху всей Англии, заняв только экономически передовые графства. Но и с этими ограничениями огораживания XVI и XVII веков, а также второй половины XV века нельзя не признать значительными, в особенности, если сложить вместе площади земли, изъятые и лэндлордами, и крестьянами. Из огораживаний, производившихся в этот период, особое внимание современников обращали на себя те из них, которые производились лэндлордами, в особенности, когда они сопровождались не только конверсией (т. е. обращением огороженных пространств в пастбища), но и изгнанием держателей. «Около этого времени (1489 г.)», пишет Бэкон в своей Истории Генриха VII, «умножались жалобы на превращение пахотных земель в пастбища (для овец и т. д.), требующие лишь присмотра немногих пастухов; земли, сдаваемые в аренду, пожизненную или погодную (погодной арендой жила большая часть йоменов—верхний слой крестьянства), были превращены в господские имения. Это привело к упадку народа, а следовательно, к упадку городов, церквей, десятин... Король и парламент с мудростью, достойной изумления, стремились к уврачеванию этого зла... Они приняли меры против опустошающей население узурпации общинных земель, против опустошающего население пастбищного хозяйства, связанного с этой узурпацией». Несколько позднее, в 1517 и 1518 годах, была образована особая правительственная комиссия, которая должна была разобраться в делах по огораживаниям, производившимся лэндлордами. Комиссары, между прочим, доносили: «В Стрэтон супер Стрэт графства Уоркшир было 640 акров пашни, 12 дворов и 4 коттеджа. 6 декабря 9 год Генриха VII Генри Смес огородил всю землю, разрушил усадьбу, обратил всю землю в пастбище. Восемьдесят человек ушли и, вероятно, жалким образом погибли... В Додерсхилле (Бэкс) было 24 двора с 24 виргатами, будто бы по 40 акров пашни в каждой. 10 августа в 10 год Генриха VIII Томас Пиггот огородил всю землю, снес все постройки и обратил

пашню в пастбище для овец. Исчело 16 плугов. 11 августа 120 человек ушли в слезах из своих домов и были повергнуты в праздность и в конце концов дошли, вероятно, до крайней бедности и так скончали свою жизнь». Этими изгнанныками были держатели всяких видов, которые лишались, таким образом, земли, которой пользовались в течение многих поколений. Но когда лорд сопровождал огораживание переходом к пастбищному хозяйству, страдали и безземельные коттэры. Они часто лишались заработка на помещицьем дворе. Один писатель XVII века говорит о батраках следующее: «В этих огороженных селениях тем, что они прекращают обработку и жатвы, скольких жатв лишают они бедного коттэра. Этот бедный человек имел свою жатву и свой доход в каждом повороте плуга, и при двоении, и при рыхлении, и при посеве, он имел свою долю и при унаваживании, и при полке, жатве, уборке, собирании колосьев, молотье. А теперь, плачет коттэр, не стало здесь работы для меня. Меня не надо выдворять из села, я сам должен уйти, я должен искать себе средств к жизни, я и моя семья пропадем с голоду». Раньше дети этих батраков поступали в работники к хозяевам, приучались к плугу, «а теперь в этих огороженных селениях, где держали до 30, 40, 50 рабочих, осталось их не более 3 или 4». Этот отрывок в значительной степени разъясняет, какой именно слой деревни в массе пострадал от огораживаний, сопряженных с переходом на пастбищное хозяйство. Это был тот слой крестьянства, который не мог жить без заработка или который не мог существовать со своей земли без приработка. По этой группе беднейшего крестьянства одинаково больно били и помещицы и крестьянские огораживания. Дело в том, что нормальное пашенное крестьянское хозяйство в Англии не обходилось без наемного труда в рассматриваемый период. Уже агроном XVI века Фицгерберт устанавливает этот факт. В его «Трактате о земледелии» хозяйственный крестьянин и работающий на него батрак — неразрывные понятия. Поэтому, когда огораживались и специализировались на овцеводстве крестьяне, едва ли не больше людей оставалось без заработка, чем при помещицких огораживаниях. Соединенные усилия лэндлордов и «хозяйственных мужичков» дали те толпы безработных и оторванных от привычных занятий людей, которые так поражали современников.

Другой силой, действовавшей в том же направлении, была реформация. «Насильственная экспроприация народных масс», го-

ворит Маркс, «получила новый ужасный толчок в XVI столетии, благодаря реформации и ее последствию, колоссальному расхищению церковных имений. Ко времени реформации католическая церковь была собственницей значительной части английской земли. Уничтожение монастырей и т. д. превратило в пролетариат их обитателей. Самые церковные имения были в значительной своей части отданы в подарок хищным королевским фаворитам или проданы за бесценок спекулянтам—фермерам и горожанам, которые массами сгоняли с них их старых наследственных арендаторов и соединяли вместе хозяйства последних. Гарантированное законом право бедных земледельцев на известную часть церковной десятины было молчаливо отнято. «Бедняки везде!»—воскликнула Елизавета после одного путешествия по Англии».

Наконец, третьим фактором, создававшим людей, остававшихся не у дел в начале рассматриваемого периода, было распушение феодальных дружин и дворовых. Развитие центральной власти делало ненужной дружину, а рост денежного хозяйства—невыгодным содержание большого штата прислуги. Если раньше какой-нибудь крупный сеньер вроде графа Уорика считал нужным кормить в своих замках ежедневно несколько тысяч человек, теперь его наследники старались сбить с рук этих людей, ставших ненужными.

С появлением пролетариата появились и покупатели на него: военачальники и купцы. Этот товар был нужен для наемных войск и мануфактур. Но предложение превышало спрос. Да и не все выбитые из привычной колеи оказывались пригодны для военного дела и промышленности. Не все были годны в солдаты и не все оказывались искусными рабочими среди пролетаризированных слуг, монахов и крестьян.

Итак, все «эти свободные, как птицы, пролетарии» поглощались развивающейся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой они появлялись на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи и поставленные в совершенно новые условия труда, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной этой новой своей обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг,—частью добровольно, в большинстве случаев под давлением необходимости. Поэтому в конце пятнадцатого и в течение всего шестнадцатого века во всех странах Западной Европы издаются кровавые законы против бродяжничества. Отцы теперешнего рабочего класса были прежде всего под-

вергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и пауперов. Законодательство рассматривало их, как «добровольных» преступников, исходило из того предположения, что при желании они могли бы продолжать трудиться при старых, уже не существующих условиях.

В Англии это законодательство началось при Генрихе VIII.

Согласно акту Генриха VIII от 1530 года, старые и неспособные к труду нищие получают разрешение собирать милостыню. Но наказание плетью и тюремное заключение грозит работоспособным бродягам. Закон предписывает привязывать их к тачке и бичевать, пока кровь не заструится по телу, и затем брать с них клятвенное обещание возвратиться на родину или туда, где они провели последние три года, и «приняться за труд».

Какая жестокая ирония! Акт 27 Генриха VIII подтверждает этот закон и усиливает его кары новыми добавлениями. При рецидиве бродяжничества наказание плетью повторяется и, кроме того, отрезывается половина уха; если же бродяга попадается в третий раз, то он подвергается смертной казни как тяжкий преступник и враг общества.

Эдуард VI в 1547 году—в первый же год своего царствования—издает статут, по которому всякий уклоняющийся от работы отдается в рабство тому лицу, которое донесет на него как на праздншатающегося. Хозяин должен кормит своего раба хлебом и водой, давать ему слабые напитки и такие мясные отбросы, какие ему заблагорассудится. Он имеет право плетью и наложением цепей принуждать его ко всякой работе, как бы отвратительна она ни была. Если раб самовольно отлучается на две недели, то он осуждается в пожизненное рабство и на его лоб или на щеку кладется клеймо «S». Если он убегает в третий раз, его казнят как государственного преступника. Хозяин может его продать, завещать по наследству, отдать взаймы, как всякое движимое имущество или скотину. Если рабы замыслият что-либо против своих господ, то они также подлежат смертной казни. Мировые судьи обязаны разыскивать беглых рабов по заявлению господ. Если окажется, что беглый бродяга три дня шатался без дела, то его отправляют на родину, выжигают раскаленным железом на его груди клеймо «V» и, заковав в цепи, употребляют для чинки дорог и на другие работы. Бродяга, неправильно указавший место своего рождения, обращается в пожизненного раба соответствующего

селения, его жителей или корпораций и получает клеймо «S». Всякий имеет право отнять у раба его детей и держать их при себе в качестве учеников,—юношей до 24 лет, девушек до 20 лет. Если они убегают, то до наступления указанного возраста обращаются в рабов своих хозяев-воспитателей, которые получают право по произволу заковывать их в цепи, бить плетью и т. п. Хозяин может надеть железное кольцо на шею, ноги или руки своего раба, чтобы легче отличить его от других и затруднить ему возможность скрыться. В последней части этого статута предусматриваются случаи, когда бедные должны работать на тот округ или тех лиц, которые берутся их кормить, поить и снабжать работой. Такого рода рабы—рабы приходов—сохранились в Англии вплоть до XIX века под именем раундсмэн.

Закон Елизаветы от 1572 года гласит: нищие старше 14 лет, не имеющие разрешения собирать милостыню, подвергаются жестокому наказанию кнутом и наложению клейма на левое ухо, если никто не соглашается взять их в услужение на два года; в случае рецидива нищие старше 18 лет подвергаются смертной казни, раз никто не соглашается взять их на два года в услужение; при третьем рецидиве их казнят без всякой пощады, как государственных преступников. Аналогичные предписания содержат статуты: 18 Елизаветы с. 13 и статут 1597 года.

Согласно закону Иакова I, лицо, шатающееся без дела и просящее милостыню, считается бродягой. Мировые судьи в своих обыкновенных заседаниях уполномочены подвергать таких бродяг публичному наказанию плетью и заключать в тюрьму: попавшихся первый раз на 6 месяцев, попавшихся второй раз на 2 года. Во время тюремного заключения они подвергаются наказанию плетью так часто и в таких размерах, как это заблагорассудится мировым судьям... Неисправимых и опасных бродяг предписывается клеймить, выжигая на левом плече букву R, и употреблять на принудительные работы; если же они еще раз попадают в нищенстве, их казнят без милосердия. Эти предписания закона действовали вплоть до начала XVIII века и были отменены лишь актом 12 Анны с. 23.

Из числа этих бедных изгнанников в царствование Генриха VIII было казнено 72.000 больших и малых воров. Во времена Елизаветы бродяг вешали целыми рядами, и не проходило года, чтобы в том или другом месте не было повешено их 300 или 400

человек. В Соммерсетшире в течение одного только года было казнено 40 человек; на 35 наложены клейма, 37 подвергнуто наказанию плетьюми и 183 «отчаянных негодяя» выпущено на волю. Тем не менее «это значительное число обвиняемых не составляет и $\frac{1}{5}$ всех подлежащих наказанию преступников, благодаря попустительству мировых судей и нелепому состраданию народа». Другие графства Англии были не в лучшем положении, чем Соммерсетшир, а многие даже в гораздо худшем.

Деревенское население, насильственно лишенное земли, изгнанное, превращенное в бродяг, старались, опираясь на эти чудовищные террористические законы, приучить к дисциплине наемного труда плетьюми, клеймами, пытками...

4. Утопия Мора как отражение новых экономических отношений.

Сельско-хозяйственное предпринимательство, рост овцеводства, появление обезземеленных и безработных, кровавое законодательство ради подчинения пролетариев «дисциплине наемного труда», — все эти тяжелые последствия капиталистического способа производства нигде в Европе не бросались так ярко в глаза, как именно в Англии; вот почему в этой-то стране и раздался первый крик о помощи.

Таким «криком» было литературное произведение, изданное в 1516 году под заглавием: «Две книги знатного мужа Томаса Мора, канцлера Британского королевства, о наилучшем государственном устройстве и о новом острове Утопия».

Первая книга этого труда, известного под именем «Утопии» Мора, посвящена изображению английских экономических отношений, сложившихся к началу XVI века. Главное зло того времени, повлекшее за собой ряд других социальных зол, Т. Мор видит в капитализации сельского хозяйства, «в бесчисленном количестве овечьих стад, которые теперь покрывают Англию». «Эти повсюду смиренные и нетребовательные животные», говорит Мор, «у нас оказываются до того жестокими и прожорливыми, что бросаются на людей и прогоняют их с земли, с насиженных мест, домов и деревень... Действительно, ко всем местам, где собирается нежная и драгоценная шерсть, спешат благородные богачи и даже достопочтенные аббаты, чтобы оттягать себе участки земли. Ни привилегии, ни доходы с поместий, ничто не удовлетворяет этих жад-

ных людей, им мало того, что они проводят жизнь свою в праздности и удовольствиях, в тягость обществу и без пользы государству. На протяжении многих миль в округности они лишают почву всякой обработки и превращают ее в пастбища, они сравнивают с землею дома и целые деревни, оставляя только церкви—да и то с тем, чтобы устраивать в них хлева для баранов: самые населенные и прекрасно обработанные земли превращаются благодаря им в пустыни. Без сомнения, они опасаются, что будет слишком много садов и лесу, и таким образом звери останутся без пастбищ. И вот такой жадный владелец окружает стеной пространство в несколько тысяч десятин земли; честных крестьян выгоняют из домов: одних обманом, других силою, в лучшем случае длинным рядом притеснений и судебных волокит, так что в конце концов они принуждены бывают продать свою собственность... И вот эти семейства, более богатые численностью, чем средствами (так как земледелие требует многих рук), кочуют по полям и дорогам: мужчины, женщины, вдовы и сестры, отцы и матери с малыми ребятами. С плачем покидают эти несчастные ту кровлю, под которой они родились, землю, которая их кормила, и не знают, где искать себе пристанища. За бесценок сбывают они затем скарб, какой только могли захватить с собой, все вещи, имеющие сами по себе малую ценность. Да и то еще ладно. Ведь покупатель и это мог отнять у них. Когда и такой слабый источник исчерпывается, что, конечно, не заставляет себя долго ждать, что же им остается дальше? Воровство, а вслед затем виселица. Может быть, им было бы лучше влачить свою горькую судьбу в качестве нищих. Но тогда ведь никто не задумался бы бросить их в тюрьму, как бродяг и бездомных людей. А в чем же состоит их преступление? Да только в том, что они не могут найти себе никакой работы, которой они только и добиваются изо всех своих сил. Да и кто бы мог дать им эту работу? Они ведь только и умеют, что обрабатывать поля: значит, там, где больше не думают о посевах и урожаях, дела для них нет. Одного пастуха теперь достаточно чтобы пасти стадо на таком пространстве, которое прежде требовало обработки сотни рук. Какой же получается результат? Повсеместно сильное вздорожание съестных припасов... Общий кризис заставляет каждого сокращать свои расходы и число своих слуг... А что же станут делать лишившиеся места? Они должны или просить милостыню или красть, если у них хватит на это смелости».

Эта картина не является единственной в литературе того времени. Не один Мор отметил первые шаги английского капитализма. Но Мор во второй книге своего труда, дав изображение идеальной республики на несуществующем острове, указал тем самым на способы общественного устройства, которые призваны изменить создавшееся положение дел. Эта вторая книга «Утопии» и сделала бессмертным имя Мора, как родоначальника утопического социализма в той его фазе, которая совпадает с эпохой капитализма. Утопический социализм по справедливости получил свое имя от «Утопии», потому что он не пошел дальше в своем развитии вплоть до первой половины XIX столетия, до основания Марксом и Энгельсом научного социализма.

Утопизм Мора проявился, прежде всего, в том, что, желая перестроить общество, он боялся движений снизу, не видел в пролетариате той силы, которая сама должна освободить себя от бремени капитализма, считая, что коммунизм может быть введен просвещенным государем. Мор не мыслил перехода к новому строю, как неизбежного результата определенного периода общественного развития. Но ясно, что Мор по необходимости был утопистом. В его время промышленный пролетариат численно еще был ничтожен, еще не сложился в тот класс, который впоследствии решительно стал на сторону социализма. С другой стороны, главной силой, от которой зависело государство, порывавшее с феодализмом, были государи, тогда еще молодой и, до некоторой степени, революционный элемент. Наконец, самая эра капиталистического развития была еще в зародыше. При таких условиях не могла и появиться научная социалистическая мысль. Но тем более значительно глубокое понимание Мором как экономических соотношений, характерных для всех ступеней капитализма, так и верное определение того основного условия, которое может превратить капиталистический строй в его противоположность, а именно, установления общности всех средств производства. Эта общность играет в Утопии совершенно другую роль, чем во всех до него существовавших формах сознательного коммунизма. Она образует в Утопии основу общественного строя, между тем как в прежних формах сознательного коммунизма эта общность, поскольку она в них вообще проявлялась, была чем-то побочным, следствием коммунизма предметов потребления. Причина этого явления также, как корни моровского утопизма, лежит в условиях того времени, когда создалась «Утопия».

Мор наблюдал зарождение рабочего пролетариата, а не пролетариата нищенской сумы, которым занимался христианский коммунизм. Утопия не заботится о помощи бедным, так как по Морю нормальное общество не знает ни богатых, ни бедных: утопийцы утверждают право на труд, а не на благотворительную помощь. С другой стороны, в эпоху Мора нарождалась новая форма производства, которая была основана не на труде рабов, а на труде рабочих, свободных людей, не принадлежавших к имуществу богатых, в качестве одушевленных вещей. Поэтому население Утопии не является привилегированной общиной, живущей трудами подневольных, а обслуживает себя сама всем государственным коллективом. Таким образом, моровский коммунизм не имеет ничего общего ни с христианским, ни с платоновским коммунизмом. Он возник под влиянием социальных неурядиц и зародышей экономического развития нового времени, он основан на живых фактах действительности того времени, он вполне современен и вырос из капитализма. Последние соображения подчеркиваются с большой убедительностью заключительной частью «Утопии»... «Кто в других странах не знает, что, пренебрегая своими частными интересами, он умрет с голоду, даже если государство будет процветать?... Напротив того, в Утопии, где все принадлежит всем, никто ни в чем не может нуждаться, раз общественные магазины полны. Там нет ни бедных, ни нищих, и хотя никто ничего не называет своим, однако все богаты. Разве можно представить себе лучшую участь, чем ту, когда не приходится дрожать за свое существование, слушать бесконечные просьбы и причитания жены, бояться за то, что сын обеднел или дочери не хватит на приданое, а напротив быть всегда спокойным за свое будущее благосостояние и не только за себя, а за всех близких,—за жену, детей, внуков, правнуков, до самых отдаленных потомков, каким только может похвастать род... Я готов поручиться головой, что у прочих народов нет и тени справедливости и правосудия... Разве справедливо и благородно то общество, которое расточает столько богатств тому, кого именует благородным, праздным или производителем никому ненужных вещей, называемых предметами роскоши—между тем как с другой стороны, не принимается никаких мер для обеспечения земледельца, угольщика, каменщика, поденщика, извозчика, ремесленника и др., без которых общество не могло бы существовать?.. В своем жестоком эгоизме оно злоупотребляет силами своей молодежи, чтобы

выжать из нее насколько возможно пользы и работы, но лишь только силы начинают ослабевать от старости или болезней, тогда забывают о бессонных ночах, о многочисленных услугах и награждают людей голодной смертью. Поэтому я не вижу в благоустроенных государствах, бог тому свидетель, ничего, кроме заговора знатных, которые под фирмою своего знатного имени и под вывеской государства делают все, что им только вздумается. Эти заговорщики пользуются всякого рода обманом, всеми возможными средствами, чтобы достигать своей двойной цели. Прежде всего они хотят обеспечить за собой неограниченное право на собственность, доставшуюся им более или менее сомнительным путем; во-вторых, они хотят пользоваться нищетой бедных для своих выгод и заставлять их работать за возможно низкую плату. И вот эти-то хитро-сплетения, придуманные богатыми от имени государства, а следовательно, как бы и от имени бедных, стали законами»...

Нынешнему социализму трудно указать на другую более сильную критику современного общества.

5. Экстенсивная система земледелия во Франции.

До конца XVIII века в значительной части Франции не исчезла еще двухпольная система полеводства, хотя все же господствующей системой являлось трехполье. Однако, настоящий трехпольный севооборот применялся только на особо плодородных землях. Посредственные и плохие почвы оставляли под паром больше, чем в течение одного года. Так, в некоторых местах земли отдыхали до 6—7 лет. В последнем случае полям давали заростать дроком, папоротником и пользовались ими, как пастбищами. Перед новой вспашкой растения, появившиеся на парующих полях, сжигали. В XVIII столетии в таком состоянии находились тысячи квадратных километров. Даже в середине этого века можно было видеть в Лимузене участки земли, которые могли производить злаки 7—8 раз в столетие. Подобные поля оставались под паром в течение 10 или даже 15 лет. Встречались земли еще менее плодородные, которые совсем не пахались. Лишь во вторую половину царствования Людовика XV появилась во Франции четырехпольная система, и пар стали занимать кормовыми травами, приносящими столько же или даже больше дохода, чем поля, лежавшие под хлебами. Но травосеяние применялось далеко не всюду, и успех его в разных

местах был неодинаков. Население было склонно признавать право общинного выпаса на все земли, кроме тех, на которых росли зерновые злаки; поэтому к тем, кто засеивал поля травой, относились враждебно. В 1776 году понадобился специальный эдикт, который разрешал огораживание участков, занятых кормовыми травами. Но расход на изгороди часто оказывался бесполезным, так как из полицейских регламентов видно, что прохожие и проезжие «ежедневно прокладывают пешеходные тропинки и дороги для повозок на полях, где посеяны петушии головки». Скота было мало, он был лишен правильного ухода, кормили его плохо. Эпизоотии периодически истребляли стада. Овцеводство, разведение «животных, дающих шерсть», как выражаются официальные документы, затронуло в рассматриваемый период и Францию, но оно не достигло здесь широкого распространения. Недостаток в скоте ставил остро вопрос об удобрении, которого не хватало. Это обстоятельство тем более важно, что навоз до самой революции был главным видом удобрения. Чтобы увеличить количество удобрения, к навозу добавляли, смотря по местности, разные суррогаты, главным образом, перегной соломы и других растений. Правда, время от времени правительство выдавало патенты, в которых говорилось, что такой-то получает исключительное право в течение 30 лет удобрять землю составом, который он сам изобрел. В переписке интендантов времен Людовика XV упоминается о «секретах, найденных некоторыми лицами, для увеличения плодородия полей». Однако, не видно, чтобы эти открытия имели бы хоть какое-нибудь практическое значение. Также оставляли желать многого и земледельческие орудия. Пахоту во многих местах производили сохой, напоминающей ту, которая описана Виргилием. Это орудие было в употреблении еще в XVIII веке. В 1800 году усовершенствованная соха была в употреблении лишь в некоторых местностях. Старинная соха только царапала землю, а не вспахивала ее, почти $\frac{2}{3}$ всей пахотной поверхности ускользали от действия этого инструмента. И остальной сельскохозяйственный инвентарь был таков же: заступы, ломы, лопаты, топоры. В XVII веке почти все лопаты были деревянными, только иногда обивались железом. Повозки грубо и плохо слаживались. На них старались потратить как можно меньше железа, и их оси, почти всегда деревянные, оказывались тяжелы и ломки. Усовершенствованный инвентарь прививался крайне медленно. В конце XVIII века лишь немногие хозяйства обладали, например, веялками; обычно же веяние

производилось при помощи лопаты, которой зерно подбрасывалось против ветра. Жали крайне нечисто, но именно этого хотел обычай; и не только обычай, но и закон, который гласил, что оставшиеся после жатвы колосья могут собирать «старики и калеки, дети и все другие, кто не в силах работать». После уборки хлеба поле принадлежало им; собственник на законном основании не мог воспротивиться этому вторжению; более того, он не должен был жать низко, если не хотел вызвать протесты бедняков, которые сочли бы, что этим нарушены их права. Парламентские решения, из которых последнее относится к 1756 году, запрещают под страхом большого штрафа снимать хлеба косой, «употребление которой лишает бедняка соломы, служащей ему покрывкой в его хижине и греющей его окоченевшее тело». В некоторых местностях не разрешалось срезать ржаные колосья ниже половины всей высоты растения. При борьбе с вредителями крестьяне прибегали неизменно к помощи духовенства. Есть известие, относящееся к Провансу, свидетельствующее, что там в 1662 году жители одного селения израсходовали 24 су на путешествие в Арль с целью просить архиепископа «о разрешении произвести заклинание против гусениц и насекомых, которые портили деревья». В 1707 году одна коммуна потратила 12 су на то, чтобы отлучить от церкви вредителей, которые портили овощи. В последнем случае отлучения возобновлялись ежегодно, и расход, с ними связанный, составлял обычную расходную статью бюджета. В 1737 году другая коммуна производила заклинания против насекомых, пожиривших просо. Наоборот, на полезных животных призывали благословения и служили за них торжественные обедни. Те же самые побуждения заставили в XV веке беарнских крестьян давать клятвенные обеты на алтаре св. Антония Наваррского, когда всходы не взошли на полях.

С 1740 по 1790 г. во Франции замечается оживление в агрономической области. Начинают вводить улучшенные породы скота, стараются предотвращать и останавливать эпизоотии. С бедствиями, постигающими посевы, пробуют бороться научными средствами. Во многих областях появляются корнеплоды и кормовые травы, все большее распространение получает картофель. Начинают издавать агрономические брошюры и книги, возникают сельско-хозяйственные общества. Но все эти успехи были частичными и не вызвали коренной ломки в прежней системе хозяйства. В общем аграрный строй старого режима сохранился во Франции вплоть до революции

6. Укрепление крестьянского землевладения во Франции.

Эта отсталость сельско-хозяйственной культуры объясняется тем, что за рассматриваемый период Франция в своей чисто-земледельческой деятельности не была затронута международным обменом, участие в котором создало иные экономические порядки в Англии и в северо-восточной Европе. Неблагоприятные условия рынка для сбыта сельско-хозяйственных продуктов вызвали отсутствие прилива капитала к земледелию. Этим же объясняется также и то, что французское крестьянство удержало значительную часть земель в своих руках и даже, особенно в последней четверти XVIII века, до некоторой степени увеличило количество собственной земли.

Это не означало еще, что и во Франции, как то было в Италии и в Англии, не было попыток к тому, чтобы обезземелить крестьянство и при помощи личного освобождения превратить его из собственника в простого съемщика, арендатора. Но такие попытки оказались бессильными создать во Франции порядок вещей, господствовавший в Англии или в северо-восточной Европе. Они могли осуществиться, да и то в незначительных размерах, в отдельных частных случаях, затронуть некоторые области, но основное явление—прочность крестьянского землевладения и его расширение—осталось в XVIII веке незыблемым. Нельзя не видеть отражение этих попыток на той крайней неравномерности в распределении крестьянского землевладения по отдельным приходам, которые одинаково характеризуют и северные, и центральные, и южные приходы, где колебания от самого ничтожного процента земли, принадлежавшей крестьянам, доходили до 80%, даже до 100% всей территории прихода (в некоторых приходах южной Франции); нельзя не усмотреть его и в сравнительно небольшом проценте (около $\frac{1}{3}$ всей территории) крестьянской собственности в некоторых западных областях Франции (особенно западной части ее), где часть крестьянского населения была превращена в арендаторов и простых съемщиков земли. Но и здесь крестьянская собственность все же не была ни уничтожена, ни искоренена. Во всей остальной Франции, насколько можно судить по имеющимся данным, дело обстояло в XVIII веке иначе. Только в северной ее части крестьяне удержали в своих руках всего около $\frac{1}{3}$ с небольшим всей земли. Зато в центральной части крестьянская

собственность охватывала уже почти половину всей территории, в некоторых восточных провинциях около $\frac{2}{5}$, на юге тоже почти половину всей территории, а кое-где перевалила за 50%.

Удержанные французскими крестьянами их земельные владения не только не подвергались сокращениям, но, по крайней мере, в течение второй половины XVIII века прогрессивно увеличивались. Как шло дело движения поземельной собственности в течение XVI и XVII веков, мы не знаем, так как данные об этом еще не исследованы. Только пока для одной области, именно Артуа, на основании сличения описей 1569 года с такими же описями 1769 г., можно утверждать, что процесс передвижения поземельной собственности в течение двух столетий совершался в пользу крестьянского класса: площадь крестьянского землевладения увеличилась и достигла 30% в приходах, расположенных около Арраса, и до 34% в приходах округа С.-Омер. Но для XVIII века наличие имеющихся данных дает прямые указания, подтверждающие факт расширения площади крестьянского землевладения. Интенданты Пикардии прямо утверждали, что «большая часть земли скупается крестьянами». Данные относительно Артуа являются прямым подтверждением правильности сообщения интенданта Пикардии, а факты, извлекаемые из описей приходов в области Суассона (округ Вермандуа и Лаонна), показывают размер передвижения собственности и перемещения ее в пользу крестьян. За период времени в 35 лет (1750—1785) крестьяне потеряли всего 23% того количества земли, которое они приобрели за это время, т. е. приобрели в 4 раза больше, чем потеряли; причем это увеличение в размерах 30,3% совершалось за счет буржуазии. Продажа крестьянами их земли дворянам была совершенно ничтожна (только 10%). Так стояло дело в северных областях, где крестьянское землевладение было сравнительно слабо, составляя всего около $\frac{1}{2}$ всей площади землевладения. В других областях как центральной, так и южной Франции можно установить совершенно такой же характер для перемещения собственности. В тех из них, где крестьянская собственность составляла около 50% всей площади землевладения, передвижение земли, как на севере Франции, происходило в направлении, выгодном для крестьянства и убыточном прежде всего для буржуазии, игравшей роль перекупщика земель, и затем для дворянства, что в конечном результате уменьшало площадь землевладения этих двух привилегированных классов.

В Лимузене, например, было продано и куплено за время с 1779 по 1791 год около 13.612 сэтэрэ (7.806 арпанов), и из них дворянство приобрело 9,5%, а продало 49,5, т. е. потеряло около пяти с небольшим тысяч, буржуазия скупила 30,6% и продала 36,7%, т. е. перепродала не только скупленную землю, но и землю, находившуюся у нее в руках до 1779 года. Наоборот, крестьянство, продавшее в руки привилегированных классов свои земли и потерявшее, таким образом, 8,5% или около 700 арпанов, приобрело около 55% всей крестьянской земли или около 4.700 арпанов; это увеличивало ежегодно площадь крестьянского земледелия приблизительно на 1,5% (за 12 лет).

Если на юге Франции в западном Лангедоке (в Тулузской области) перемещение собственности за тот же период времени было гораздо менее интенсивным и ограничилось пределами небольшого числа гектаров земли, то тем не менее характерные черты перемещения остались теми же, какими они были и на севере и в центре Франции. В выигрыше остались крестьяне и сельские юре, в проигрыше — дворянство и буржуазия. В 60 приходах выигрыш дворянства составил всего 32 гектара, а проигрыш (путем продажи) — около 100 гектаров; буржуазия приобрела несколько больше 160 гектаров, а продала около 180 гектаров.

С основания абсолютной монархии Франциском I, но в особенности с правления Людовика XIV значительная часть старого дворянского сословия в придворной службе нашла вознаграждение за утрату своей прежней феодальной самостоятельности; как оба предшественника Людовика XVI Капета, так и он сам при своей любви к роскоши по возможности способствовал этому явлению... Другая часть дворянства нашла для себя место в высшем государственном управлении и на военной службе... Большинство членов этого придворного служилого дворянства имело поместья, но решительный перевес над доходами от земледелия принадлежал доходам от государственной службы.

Общий экономический строй земледелия во многих отношениях был таков, что у придворного и служилого дворянства, если оно держалось старых традиций и хотело бы само управлять своей земельной собственностью, исчезла охота к организации собственного производства, а, напротив, возрастало предпочтение к доходам от должностей при дворе и в государственном управлении, как более обеспеченным и удобным. Так, напр., в центральных провин-

циях даже в хорошие годы урожай составлял всего сам-шесть, а в неурожайные годы часто спускался до сам-четыре, сам-три. Поэтому дворяне часто оставляли за собой только собственно усадьбу и поля, чтобы летом отдохнуть от кипучей общественной жизни Парижа, а осенью использовать свое исключительное право охоты. Остальную землю они сдавали в аренду. В центральной и южной Франции эти земли обычно разбивались на мелкие парцеллы в 10—15 гектаров (гектар—немного менее десятины) и передавались в аренду мелким съемщикам-крестьянам по обычной системе половничества: арендатор получал от поместья семена, орудия, иногда несколько голов рогатого скота и должен был отдать зато помещику половину урожая натурой. Напротив, на севере преобладала система денежной аренды по английскому образцу. Земля сдавалась там в аренду более крупными участками, на более продолжительный срок, чем в центральных провинциях, где срок аренды не превышал немногих годов, и арендная плата была ниже, чем на юге. Но зато на арендатора ложился риск неурожая. При всяких обстоятельствах он должен был уплатить условленную сумму, независимо от того, скудный или богатый был урожай, между тем как на юге доля помещика в виде продуктов изменялась в зависимости от урожая.

Арендаторами являлись одни крестьяне. К собственной владеемой ими земле присоединялась громадная часть собственности привилегированных классов, и таким образом крестьяне являлись держателями почти исключительными более чем $\frac{3}{4}$ всей годной под культуру земли.

Приращение крестьянской собственности, повидимому, совершалось медленно и в сравнительно ограниченных размерах, но уже самый факт передвижения земли в пользу, а не в ущерб крестьянству, указывает на устойчивость крестьянского землевладения и подтверждает тот контраст, который существовал между Францией и другими европейскими странами во всем том, что касается поземельных отношений... Крестьянская зависимость в том виде, как она существовала в Средние века и создалась позже в северо-восточной Германии, Дании и др. местностях, исчезла во Франции к XVIII веку,—факт, не подлежащий сомнению. Даже по отношению к той местности, которая наделала в XVIII веке не мало шума, была провозглашена областью рабов и рабства, вызвала знаменитый процесс,—о рабстве и крепостном праве не может быть и речи.

Аббат монастыря С.-Клод, который сделался предметом общественного внимания Франции, не обладал и ничтожной долей тех прав над личностью крестьян, какие находились в руках прусского юнкера, датского дворянина или прибалтийского барона. Крестьянин монастыря и соседних местностей восточной Франции и Савойи, так наз. мэнмортабль, пользовался правом свободного перехода, правом свободно избирать род занятий, правом приобретать движимое и недвижимое имущество, правом свободного брака. Владелец не имел права подвергать его телесным истязаниям, принуждать в молодые его годы отбывать обязательную службу при дворе, заставлять жениться на той, или выходить замуж за того, кого он укажет, садить его насильно на том участке, какой ему, владельцу, покажется удобным. Стеснения и ограничения падали, главным образом, на землю, превращая прежнюю личную крепостную зависимость в зависимость от повинностей, связанных с землею.

7. Сеньериальный строй и тяжелое экономическое положение французского крестьянства.

Укрепление крестьянского землевладения и землепользования во Франции рассматриваемого периода отнюдь не сопровождалось хозяйственным процветанием крестьянской массы. Прежде всего крестьянство не было однородно и земля была распределена неравномерно между отдельными крестьянами. Для значительной части трудового сельского населения было поэтому невозможно обеспечить свое существование другим путем, кроме найма чужой земли. Арендные же взносы, как мы видели, были очень высоки, и к тому же во второй половине XVIII века постепенно увеличивались. Но и те крестьяне, которые не являлись арендаторами участков, нарезанных из доменов, все же были обязаны различными повинностями и платежами по отношению к лицам, которые обладали сеньериальными правами на их держания. Благодаря этому, подавляющее большинство французских крестьян были не земельными собственниками в прямом значении этого слова, а чиншевиками, цензитариями. Правда, права цензитариев резко отличались от прав арендаторов, простых съемщиков земли в наем. Условного собственника—цензитария—сеньер не имел права лишить земли, пока он правильно платил ценз и шампар, а арендатора-половника земле-владелец прогонял, когда угодно. Кроме того, цензитарии имели право

по своему усмотрению распоряжаться участком, находящимся в их пользовании, продавать его, сдавать в аренду, дарить, закладывать, передавать по наследству. Все это приближало права на пользование к праву собственности, и в источниках чиншевики часто называются крестьянами - собственниками. Но эта собственность не свободная, условная, феодальная, собственность не-юридическая, а фактическая. Она отягощалась верховными правами на данную землю короля, дворянства, духовенства. Из этих прав проистекали различные повинности и платежи, которые в связи с общей неблагоприятной экономической обстановкой подрывали крепость отдельных крестьянских хозяйств. Сеньерия является характерной и преобладающей чертой, вплоть до самой революции, французского аграрного строя. Государство, правда, урезало целую сумму прежних прав сеньера, прав политических и административных, главным образом, ограничило его судебные права или, вернее, способы и орудия проявления этих прав, но за сеньорами оно оставило существенное: вотчинную юрисдикцию и связанные с нею выгодные права (*droits utiles*). Размеры этих прав, их виды и формы менялись из области в область, но существо их оставалось одним и тем же повсюду, и основная структура сеньории была одинаковой и на севере Франции, в Пикардии и Артуа, и в центре, в Бургундии, в Лимузене и Оверни, и на юге в Провансе и Гиени. В общем сеньериальные права могут быть сведены к следующим главным видам.

Во всех провинциях помещики взимают ярмарочные и рыночные пошлины, во всей Франции они пользуются исключительным правом охоты, они одни держат голубятни и голубей. Почти везде они заставляют обывателей молоть зерно на господской мельнице и давить виноград на господском прессе. Повсюду встречается и очень обременительный сбор с продажи имений (*droit de la vente*). Это — налог, уплачиваемый помещику всякий раз при покупке или продаже земель в пределах сеньерии. Наконец, на всем протяжении территории земля обременена оброками (чинш), поземельными рентами, денежными и натуральными повинностями, которые собственник несет в пользу помещика, и от которых первый в праве откупиться. Через все это разнообразие проходит одна общая черта: все эти подати и повинности более или менее связаны с землей или с ее произведениями; все они падают на того, кто ее обрабатывает. Духовные сеньеры пользовались теми же преимуществами... Епископ, кано-

ники, аббаты владели лесами и оброчными землями в силу своих церковных функций. Монастырю обыкновенно принадлежала вотчинная власть над селом, на территории которого он стоял. Он имел крепостных в той единственной части Франции, где последние еще существовали; он пользовался барщиною, взимал лесные и рыночные пошлины, имел свою вотчинную хлебную печь, свою мельницу, свой виноградный пресс, держал своего вотчинного быка. Сверх всего этого духовенству во Франции, как и во всем христианском мире, принадлежала десятинная подать...

Я прошу вас представить себе французского крестьянина конца XVIII века или, еще лучше, современного крестьянина, потому что он остался тем же, чем был: изменилось его положение, но не его склонности... Он так охвачен желанием иметь землю, что посвящает на ее приобретение все свои сбережения и покупает ее во что бы то ни стало. Чтобы приобрести ее, ему нужно сперва уплатить налог не правительству, а другим, соседним владельцам,—людям, которые также, как и он сам, не причастны управлению общественными делами и, подобно ему, почти бессильны в политическом отношении. Наконец, он овладел землею. Вместе с зерном он вкладывает в нее свое сердце. Этот маленький уголок земли, принадлежащий ему в собственность среди обширного мира, наполняет его чувством гордости и независимости. Но тут являются те же соседи; они отрывают его от поля, заставляя идти в другое место работать без вознаграждения. Хочет ли он защитить свои посевы от их дичи,—они не позволяют ему этого. Они же поджидают его при переправе через реку, требуя уплаты дорожного сбора. Он встречает их на рынке, где они продают ему право продавать его товар; и когда, вернувшись домой, он пожелает употребить на собственные надобности остаток своего зерна, того самого зерна, которое выросло на его глазах и его трудами,—он может сделать это не иначе, как смолов его предварительно на мельнице тех же людей и испекши его в их печи. На уплату рент этим людям он тратит часть дохода с своего маленького имения, и эти ренты не могут быть погашены ни давностью, ни выкуплены.

За что бы он ни взялся, повсюду на его пути стоят эти докучливые люди; они смущают его удовольствия, мешают ему работать, поедают его припасы; и не успевает он покончить с ними, как на смену им являются другие, одетые в черное, и в свою очередь берут крупную часть его урожая. Представьте себе положение,

нужды, характер, страсти этого человека и измерьте, если можете, сокровища ненависти и зависти, скопившиеся в его душе.

Результаты... не замедлили сказаться в последний год перед 1789 годом в начавшихся в разных местах волнениях крестьян. И какое значение и какой характер получили они—ясно видно из донесения Неккеру, присланного Маллевилем 3 октября 1788 года. Он открыто отрицал тот факт, будто волнения эти являлись результатом лишь одних неурожаев и голода, еще менее влияния агитаторов. Главную причину он усматривает в той ненависти против сеньеров, которая проявилась с полной силой в 80-х годах. «Народные волнения—не результат нужды,—писал он,—народ, угнетенный, обремененный и раздавленный тяготами феодализма, повсюду страшно возбужден против дворянства и крупных собственников. И те эксцессы, которые им совершены и совершаются, показывают, до какой степени дошло его недовольство от бремени феодального режима и бремени налогового обложения».

Буржуазные историки впадают в преувеличение, когда они всю вину за обнищание крестьян сваливают на систему испольной аренды, жадность феодалов и сеньериальные повинности. Еще больше, чем все эти тяготы, давили крестьян дорожные повинности, подводно-конная повинность, выполнявшаяся по требованию военных и гражданских властей, солдатские постой и в особенности высокие налоги на потребление и косвенные налоги: даже для беднейшего половника, который почти умирал с голоду, они часто составляли в XVIII веке 50—60 франков (на современные деньги 120—150 франков или 48—60 рублей золотом). И эти налоги с беспощадной суровостью выбивались сборщиками, которые обычно вознаграждались известной долей собранного. Чтобы достать необходимые деньги, приходилось продавать значительную долю продуктов. Но для крестьянина, если по близости не было города, такая продажа представляла очень трудное дело. Дороги были плохие, нападения грабителей представляли обыденное явление. Кроме того, городские рынки были стеснены самими разнообразными рыночными привилегиями и предписаниями. Хлебная торговля часто находилась в руках привилегированных хлеботорговческих гильдий; но и там, где этого не было, крестьянину предоставлялось продавать хлеб только по определенным рыночным дням в определенный час и лишь по уплате акциза и высоких сборов за место на рынке. Это заставляло его продавать хлеб скупщикам, высылаемым крупными хлеботорговцами; скуп-

щики же, конечно, бессовестно надували крестьянина, который большею частью не умел ни читать, ни писать... Урожайность была низкая. На существование оставалось у крестьянина до чрезвычайности мало, а в неурожайные годы он голодал, если только тиф не уносил его и его семью.

Можно вообразить, что представлял при таких условиях крестьянин и половник. В рассказах тогдашних путешественников и в описаниях страны он изображается, как полудичавшее тупоумное существо, которое по многу дней к ряду не умывалось и не причесывалось и носило заскорузлый от грязи балахон до тех пор, пока он не разлезался весь в клочья. Наивысшее удовольствие находил он в том, чтобы лентяйничать, а в большие церковные праздники вознаграждал себя за все прошлые лишения обжорством. Читать и писать могли лишь немногие мелкие крестьяне и половники. Вообще, лишь один из двенадцати среди деревенского населения мог читать; но даже из тех, кто научился этому искусству, большинство могло по складам с трудом разбирать лишь молитвенник.

8. Развитие сеньериального строя на западе и крепостного на северо-востоке Германии.

За рассматриваемый период в различных районах германской территории развились очень далекие друг от друга аграрные уклады. Характерные черты германского аграрного строя, оставшиеся в силе до освободительных реформ конца XVIII и начала XIX века, сложились преимущественно в XVI веке. Основной противоположностью, поскольку дело идет о немецких поземельных отношениях интересующего нас времени, являются различия между старой Германией и землями, отбитыми от славян, между пространством к западу от Эльбы и пространством к востоку от Эльбы. В западной части страны господствовал сеньериальный строй, близкий французским порядкам. Здесь крестьянский двор и в новое время оставался господствующей хозяйственной единицей. Рыцари и вообще привилегированные земельные собственники не имели большого собственного хозяйства, крестьяне не тратили большой доли своего времени на барщину, их обязанности по отношению к властям и собственникам состояли, главным образом, в разнообразных и нередко тяжелых платежах, не отнимавших, однако, у землевладельца

хозяйственной самостоятельности. В северо-восточных областях (Бранденбург, Померания, Мекленбург, Гольштиния и т. д.) хотя и взимались различные платежи в пользу сеньера, не они составляли основу помещичьего дохода. Тут благосостояние землевладельцев базировалось на ведении крупного хозяйства, которое обслуживалось барщинным трудом закрепощенного населения. Таким образом, восточные прусские провинции своими поземельными распоряжениями сближались с польскими и русскими аграрными отношениями.

В германском аграрном строе XVI—XVIII веков можно установить три основных типа, из которых два падают на западную Германию, область сеньериального права, а третий характерен для крепостного северо-востока. Конечно, на ряду с чистыми и наиболее выраженными типами, существовали смешанные и переходные, в отдельных местностях встречались и совершенно своеобразные порядки, но все же в этом разнообразии выделяются типичные явления, прикрепленные к определенным районам. Каждый из этих основных типов сводится к следующему.

На северо-западе старой Германии, главным образом, в Нижней Саксонии и отчасти в Вестфалии, в течение всего рассматриваемого периода наблюдаются крупные крестьянские дворы, входящие в крепко сплоченную общину. Законодательство из фискальных целей стремится к тому, чтобы сохранить эти сильные крестьянские хозяйства и фактически устанавливает наследственность крестьянских держаний. Свободный от всякой личной зависимости держатель такого двора, мейер, в силу тяготеющих на его земле сеньериальных прав, обязан платежами и службами владельцам этих прав. Кроме того, на нем тяготеют платежи и повинности по отношению к правительству. Некоторые хозяйственные действия прямо запрещены мейеру, например, дробление двора. Правительственная власть из тех же фискальных видов устанавливает здесь для крестьянских дворов единонаследие. Кроме того, продажу или залог участка мейер может совершить лишь с согласия тех лиц, от которых он находится в зависимости, так как последние близко заинтересованы в хозяйственном благополучии двора, имеют право на получение доли его доходов. На ряду с сильными дворами мейеров, существует многочисленное полупролетарское деревенское население, созданное порядком единонаследия. Последнее живет исключительно ремеслом или батрачеством. Его хозяйственное положение становится более

или менее устойчивым лишь с развитием крупной фабрично-заводско промышленности. Рыцарское имение в северо-западной Германии, вообще, не велико, а в Нижней Саксонии даже в XVIII веке оно редко бывало больше крестьянского двора.

Если на севере старой Германии утвердилась в деревне личная свобода в соединении с крупным крестьянским хозяйством, то на юге уцелели живые следы личной крепости, а крестьянские дворы были малоземельны. Никакие законы не охраняют здесь крестьянского землевладения. И все-таки площадь крестьянского землевладения именно здесь достигает наибольшей величины. Собственные хозяйства князей, рыцарей, духовных корпораций еще меньше, чем на северо-западе; барщина лишь в исключительных случаях достигает одного дня в неделю, но иногда состоит больше в повозной повинности, чем в обработке господского поля. И здесь привилегированные землевладельцы более всего интересуются теми платежами, которыми повинны им крестьяне, как сеньерам. Самые права на личность крестьянина ценятся здесь не потому, что они заключают в себе права на крестьянскую работу, а потому, что они открывают сеньору возможность пользоваться время от времени долей имущества крепостных. Напр., в случае смерти крепостного его господ отбирают лучшее платье или лучшую голову скота из наследственного имущества, за манумиссию берут нередко 10% всего оставшегося имущества с наследников покойного и т. п. И все-таки отсутствие крупных домэниальных хозяйств и барщины приводит к тому, что за некоторыми исключениями, незадолго до ликвидации крепостных отношений, южно-германский крепостной, по выражению баварского юриста XVIII века Крейтмайра, как две капли воды похож на свободного. Тяжесть его положения заключалась не в личной зависимости, а в многочисленности платежей и повинностей, подрывавших и без того слабое крестьянское хозяйство. Дело в том, что на германском юге не только отсутствовали крупные господские хозяйства, но и крестьянские дворы в большинстве территорий подвергались сильному дроблению. Крестьянская земля делилась по наследству, отчуждалась мелкими участками. В качестве иллюстрации этой дробности крестьянских участков можно указать на Баденскую деревню Балинген, которая платила 14 флоринов ценза. В 1702 году надо было обойти 168 домов, чтобы набрать эту сумму медяками, причем на сбор уходила чуть не неделя. Нередко сеньеры не

были в состоянии воспользоваться здесь даже той барщиной, на которую они имели право: эти карликовые хозяева держали зачастую только молочный скот, у них не было лошадей, а потому они не могли отбывать подводную повинность. Причина такой дробности крестьянских участков может быть объяснена большой густотой населения этой части Германии. В Бадене, напр., в XVIII столетии приходилось по 3500 человек на кв. милю. Трудовое население при таких условиях могло существовать лишь благодаря наличности разнообразных и отчасти интенсивных культур (виноделие, плодоводство и т. п.), а особенно благодаря широкому развитию ремесла и домашней промышленности, допускавшей соединение земледелия с подобным промыслом. Естественно, что при таких условиях здесь в отличие от северо-запада в деревне не было классов, резко отличавшихся друг от друга достатком, и гораздо больше было число самостоятельных хозяев. Но это равенство между крестьянами слишком часто оказывалось равенством в бедности.

Иначе сложились аграрные отношения на северо-востоке. Начиная с XVI века, местные рыцари обнаруживают упорное стремление расширить свою пашню на счет крестьянской, поставить местное население в личную зависимость от себя и заставить его работать на господской земле. Успех этих стремлений и создает многочисленные имения в прусских областях. Именно в XVI веке рыцари получают возможность присоединять крестьянскую землю к своей законными путями. Особенно важно было право принудительной покупки крестьянских дворов для устройства рыцарской усадьбы. В одной средней Бранденбургской марке в последние 30 лет XVI в. и первые 20 лет XVII, благодаря таким покупкам, крестьянское землевладение уменьшилось на 10%. Конечно, право отбирать крестьянские земли получило для дворян большую ценность лишь потому, что они одновременно присвоили себе право распоряжаться крестьянской рабочей силой, постепенно прикрепили ее к земле и к лицу. Первоначально стесняется свобода бросать землю. Крестьянин обязан, оставляя участок, подыскать себе заместителя. Следующий шаг состоял в том, что крестьянин мог передвигаться лишь с выданным от господина паспортом, без которого его не могли принять в городе и в чужой деревне. С ростом своего хозяйства рыцари все больше и больше нуждаются в рабочих. Отсюда стремление обеспечить законом барщину

и в Новой Марке, напр., в 1572 г. на всех крестьян наложена барщина в 2 дня в неделю, а во время жатвы, в августе, они должны работать без срока; Померанский крестьянский устав 1616 года обязывает всех крестьян «всевозможными произвольными барщинами». Но этого мало. Рыцари добились права сажать крестьянскую молодежь до женитьбы к себе в усадьбу, чтобы они все время уделяли господскому хозяйству. Для отдельных областей законом определен и срок такой службы: 3 года. Фактическое закрепощение крестьян естественно побуждало господствующий класс обосновать свои права на крестьянина путем юридических построений. Сложившаяся в старой Германии личная крепость и самый термин «крепостной» переносятся в северо-восточную обстановку и подкрепляются авторитетом «писаного разума» в виде норм римского права. В XVII веке теория о прямой собственности помещика на землю и прикрепленных к ней людей ставится вне сомнений, и уже цитированный померанский крестьянский устав утверждает, что «крестьяне в нашей стране не эфитевты, не наследственные чиншевики или арендаторы, а крепостные». То же наблюдается и в других областях. Стеснение крестьянской свободы растет. Крестьянин не может отдать сына в обучение ремеслу, выдать дочь замуж по своему усмотрению; крестьянин теряет право отчуждать свой двор и т. п. 30-летняя война, разгромившая массу дворов и оставившая большие площади земли впусте, повела к тому, что крестьяне, сажившиеся вновь на заброшенные участки, и помещались рыцарями на их, помещиков, земле, и принцип наследственных прав крестьянина на данное держание все более терял силу. В XVIII веке местами установилась временная аренда. Крестьяне, барщинный труд которых оказывался излишним, получали предложение заключить арендный договор и в случае отказа сгонялись с земли. «Охрана крестьян», сводившаяся к запрещению правительственной властью «сноса дворов», дала положительные результаты лишь в некоторых областях. На большей части северо-восточной территории закон остался без применения. Особенно тяжело было положение восточного германского земледельца в XVIII веке.

Крестьян проигрывали в карты, выменивали на собак, продавали с публичного торга; говорили о настоящей торговле неграми. Как утверждает Кнапп, крепостное право позднего, как и раннего Средневековья не было институтом, предназначенным для мучения

людей; но подобная характеристика применима к крепостничеству, которое мы находим в восточной Германии XVII—XVIII столетия. Крестьян даже называли рабами «в том широком смысле, как это понимает римское право». Барщина здесь превратилась в «египетские казни», в мучения, каких себе не позволяют даже «турки и другие язычники»; она не оставляла крестьянину «ничего, кроме жизни в голоде и нищете», и приводила от времени до времени к бунтам, сопровождавшимся жестокостями с «обеих сторон».

Причины отмеченных различий между западной и восточной Германией кроются в несходстве общей экономической обстановки. Тогда как в первой в течение XVI—XVIII столетий почти отсутствовал хлебный вывоз, на востоке хлебная торговля, значительная уже в XV веке, в XVI веке расширилась еще более. Тогда же предметом вывоза сделались здесь скот и другие продукты сельского хозяйства, направляемые в Голландию и Англию. В XVIII веке вывоз становится еще интенсивнее. В то же время культура вплоть до местных улучшений второй половины XVIII столетия оставалась экстенсивной. «До середины XVIII века—говорит Гольц,—хозяйство вращалось в печальном и весьма пагубном заколдованном круге». Трехпольный севооборот, недостаток скота, отсутствие удобрений делали производительность земли незначительной. Единственный способ для увеличения продукции рыцарских имений заключался в расширении площади господской земли, а повышение помещичьих доходов обуславливалось применением наивозможно дешевой рабочей силы. Если английский лэндлорд, заводя овечьи гурты, не нуждался ни в крестьянской работе, ни в крестьянских платежах, если французские и западно-немецкие сеньеры не могли существовать без крестьянских денег, то северо-восточный юнкер со своим обширным экстенсивным хозяйством при техническом застое прежде всего искал рабочих рук и притом таких, которые сводили бы к минимуму издержки производства.



2. Социально-политическая жизнь общества Западной Европы в XVI—XVIII веках.

1. Союз крупного землевладения с торговым капиталом в Англии.

Интересы английской буржуазии издавна шли в одном направлении с интересами дворянства. Эта связь наметилась уже в XIII веке, когда бароны в 1279 году заявили Эдуарду I, что выручка от продажи шерсти составляет половину их ежегодных доходов. Особенно заметно становится влияние торгового капитала с конца XV века, и чем дальше идет время, тем заметнее становится это влияние. В начале XVI века значительно увеличивается вывоз. В середине XVI века образуются новые крупные торговые товарищества с основным капиталом от 5000 до 20.000 фунтов. В Лондоне зарождается денежный рынок, спекуляция биржевого типа, и к концу XVI века Антверпен, центр тогдашних кредитных операций, до некоторой степени уступает свое место английской столице.

В предыдущем изложении была выяснена тесная связь английских поземельных отношений с общим направлением торгово-промышленной деятельности страны. Благополучие землевладельца и даже богатого крестьянина, особенно в экономически передовых графствах, зависело ближайшим образом от тех или иных соотношений в области национального или внешнего рынка. Процветание сельского хозяйства, работавшего на сбыт продуктов питания и промышленного сырья, имело много точек соприкосновения с процветанием купцов и промышленников. Кроме того, высокая доходность имений давала возможность английскому лэндлорду делать сбережения, которые часто помещались в предприятия торгово-промышленного характера. Показательно, что Ост-Индская Компания уже в течение первых двух десятилетий после ее возникновения (в 1600 г.) насчитывала в числе своих пайщиков 15 пэров, 30 титулованных дам, 82 рыцаря, включая судей и членов Королевского Совета, и более 8000 других менее высокопоставленных лиц. Прочное экономическое основание, на котором держалось крупное английское землевладение, делало значительную часть лэндлордов

независимой от короля и королевской службы. Тесная же связь материальных интересов лэндлорда с интересами торгово-промышленных кругов вела к естественному союзу крупного землевладения, втянутого в широкий обмен, с капиталистами.

Внешнее выражение этого союза заключается в том, что в Англии рассматриваемого периода отсутствует резкая демаркационная линия между дворянином и буржуа. На континенте дворянин, как правило, не мог заняться торгово-промышленной деятельностью, не принизив себя, и буржуа не облагораживался покупкой дворянского имения. В Англии джентльмэн без денег не считал для себя недопустимым поправить свои расстроенные дела какой-нибудь спекуляцией. С другой стороны, преуспевший купец, покупая имение, становился джентльмэном. Поэтому, как только заморская торговля стала приносить большие барыши, крупные аристократы начали вкладывать свои состояния в торговые предприятия, а когда стало доходным владение землей, купцы и промышленники принялись скупать земли, чтобы торговать шерстью. Они стали учиться у дворян, как выжимать прибыли с земельных владений, а дворяне стали присматриваться к тому, как наилучшим образом пускать в оборот каждую лишнюю копейку. Буржуа и дворяне вместе хлопотали о торговых привилегиях и монополиях. Смешанные браки между этими двумя группами населения были далеко не редкостью. Граница между дворянином и торгово-промышленным человеком была так зыбка, что в небогатых дворянских семьях нередко отдают младшего сына в обучение какому-нибудь лондонскому мастеру.

Политически этот союз укрепился тем, что в парламенте XVI—XVII веков среди представителей городов по большей части сидят поместные дворяне. Наконец, парламент, за исключением революционного периода, в это время в числе своих членов насчитывал исключительно землевладельцев, купцов и предпринимателей. Голос трудового населения был здесь не слышен.

Управление на местах также находилось в руках этих двух социальных групп. В городах главное влияние на дела имели состоятельные граждане, в сельских местностях—«джентри», т. е. среднее и мелкое дворянство. Всеобщего избирательного права не было, оно еще рассматривалось как привилегия, поскольку дело идет о городских поселениях, а вообще избирать могли только свободные держатели, располагавшие не меньше, чем 40 шиллингами годового дохода.

2. Классовые группировки в Англии.

Сельское население распалось на следующие классы: на крупное дворянство, на джентри—дворянство среднее и мелкое, на крестьян, батраков и на бедных (пауперов) сельских lumpen-пролетариев, бродяг. Крупный дворянин феодального происхождения освободился почти от всех феодальных обязанностей и хозяйничал на своей земле, как свободный владелец. «Джентри» были в большинстве потомками скупщиков раздробленных феодальных и монастырских владений, разбогатевшие арендаторы и т. п. Класс крестьянства состоял отчасти из свободных мелких владельцев, отчасти из мелких арендаторов. Первые терпели от огораживаний, а вторые, кроме того, от прогрессивного повышения арендной платы со стороны лэндлордов. Необходимо помнить, что арендная плата сильно возрасла и превратилась в «голодную ренту» уже после реставрации. Поэтому в эпоху революции она еще не ложилась на крестьянство такой тяжестью, как позднее. Точно также положение батрака до революции было лучше, чем после реставрации, а в течение революции лучше, чем до нее. До революции сельский батрак получал удовлетворительную заработную плату и хороший стол. Поэтому классовый антагонизм в деревне между средним крестьянством с одной стороны и батраками с другой в рассматриваемую эпоху не наблюдался. Оба класса,—если исключить сельских lumpen-пролетариев, превратившихся в бродяг,—были слишком близки друг другу по образу жизни и по работе, чтобы между ними могли возникнуть конфликты более глубокого характера, кроме личного и случайного. Действительные классовые противоречия существовали лишь между крестьянством, средним и мелким (как крестьянами-собственниками, так и крестьянами-арендаторами), с одной стороны, и землевладельцами—с другой.

В городе и вообще в промышленности антагонизм между подмастерьем и мастером не был резко выражен. Число подмастерьев было ограничено. Каждый подмастерье рассчитывал в будущем сделаться мастером и потому не сомневался в праве мастеров на существование. Материальное положение подмастерьев было удовлетворительно, и подмастерья одного ремесла не чувствовали себя «солидарными» с подмастерьями другого. Классовое противоречие существовало между ремеслами и торговлей, мастерами и купцами, торговавшими их произведениями, что можно заключить из непрерывных жалоб мастеров по адресу купцов. В частности, сильную ненависть воз-

буждали монополии, сдававшиеся на откуп купцам правительством, которое нуждалось в деньгах; эти монополии сильно удорожали сырье для целого ряда производств. Таким образом, в городах наметился антагонизм между буржуазией торговой и мелкой ремесленной и промышленной буржуазией. В заключение необходимо отметить, что и в среде дворянства наблюдалась в интересующую нас эпоху несомненная рознь интересов. Часть дворянства в революционном конфликте предпочла союз с королем разрыву с ним. В значительной своей части эти люди отражали идеологию полу-феодалных недостаточно обуржуазившихся землевладельческих кругов из экономически отсталых графств. Эта часть дворянства не чувствовала еще себя достаточно сильной экономически подобно революционному дворянству, чтобы не считаться с королем, как с источником материальной поддержки, распределителем пенсий и должностей. Все эти противоречия родились из развития торгового капитализма, на ряду с которым в Англии XVII века уже наметился капитализм промышленный, по преимуществу в области сельского хозяйства.

3. Английская революция XVII века и ее результаты.

В первую половину XVII века и до этого времени сильная в Англии королевская власть делает новые шаги в сторону чистого абсолютизма, опираясь на некоторые полуфеодалные группы дворянства, непосредственно заинтересованного в ее усилении. В своей практике королевское правительство совершает при этом ряд действий, которые затрагивают не только дворянскую и торговую буржуазию, но и своих приверженцев из среды полуфеодалного дворянства. Особенно вызывает общее раздражение налоговая требовательность правительства. Революцию начинают господствующие классы, и первые столкновения происходят вокруг парламента и в самом парламенте. Во вторую сессию парламента 1628 года палата общин подает заявление, которое кончается такими словами: «... кто посоветует взимать пошлины, неутвержденные парламентом, или примет участие в их взимании, тот вводит новшество в управление и есть смертный враг государству. Кто—купец или кто другой—добровольно уплатил сказанные пошлины, тот тоже изменяет вольностям Англии и есть враг им».

Эти слова достаточно определяют те основные пункты, которые вызывали трения между правительством и парламентом. Прежде всего парламентская оппозиция была направлена против тяжестей обложения. Негодование против фискальных злоупотреблений объеди-

няло в общем протесте даже те дворянские группы, которые в остальном были далеко не солидарны между собой. Кроме того, оппозиция питалась тем, что финансовая, военная и дипломатическая система правительства, бесконтрольная и связанная с произволом, вела к вредной торговой политике, к необеспеченности английской торговли на мировом рынке, к приостановке английской колонизации. Оппозиция этого оттенка шла от передовых элементов землевладельческих и торгово-промышленных кругов, уже втянувшихся в быстрое развитие английской торговли, стремившихся к захвату новых рынков и сохранению старых, к упрочению т. н. морского могущества Англии. Таким образом, эта оппозиция по своему существу была чисто буржуазной, объединяя торгово-промышленные слои и ту часть дворянства, которая тесно связалась с торговлей и промышленностью. Эти хозяйственно сильные и самостоятельные слои чувствовали себя уже достаточно крепкими для того, чтобы взять в свои руки обеспечение своих интересов. Они не довольствовались тем, чтобы заставить корону считаться с платежными силами населения и соблюдать обычаи. Они уже тянутся к власти, идеологически противопоставляя верховенство парламента королевской прерогативе.

Революция непосредственно открывается так наз. коротким парламентом, собравшимся в апреле 1640 года, после одиннадцатилетнего промежутка. 4-го мая король распустил палату, 3-го ноября, после новых выборов, собрался т. н. Долгий парламент, чтобы не расходиться 12 лет. Правительство оказалось вынужденным опять прибегнуть к парламенту, т. к. у короля не было ни войска, ни денег на борьбу с шотландцами. Коммонеры же короткого парламента видели воочию бессилие королевской власти и неминуемо организовали бы на местах непреодолимое сопротивление. Эти выборы дали для правительства еще менее благоприятные результаты, чем предыдущие. Оппозиция провела энергичную агитацию, а всеобщее недовольство облегчало работу агитаторов. Долгий Парламент разбился на три основные партии, носившие религиозные клички: на сторонников официальной англиканской церкви, на пресвитериан и на индипендентов. Общее положение, что строй религиозных идей является отражением социального непонимания, особенно ярко проступает в те эпохи, когда научное мировоззрение еще не овладело умами. В Англии XVII века самые радикальные социальные теории принимали религиозную оболочку, и все то, что желательно было известным кругам сохранить в интересах существующего по-

рядка, также принимало религиозную форму. Религиозная «вера» и «вера» политическая людей того времени находились в очевидном соответствии: Так, сторонники англиканства были в то же время сторонниками сильной королевской власти. Официальная церковь строилась сверху путем назначений, а не путем избрания и, черпая свою силу в супрематии, была послушным орудием государства, представляемого сильным монархом. Естественно, сторонники чистого абсолютизма или умеренной монархии, смягченной совещательным представительством, сочувствовали светскому «папизму» англиканства. Социально эти люди, как было уже указано, отражали идеологию полуфеодалных кругов, стоявших в стороне от буржуазных симпатий века, крупного дворянства и джентри из экономически отсталых графств.

Следующей группировкой в Долгом Парламенте, игравшей в нем главную роль вплоть до «Прайдовой чистки» 1648 года, были пресвитериане. Вместе со своими противниками слева, индипендентами, они объединяются иногда под общим именем пуритан. «Кто были пуритане? (Пьюритс или пьюритенз от слова пьюр—чистый). Это название обозначает не только церковную секту, оно означает целое религиозно-социальное течение. Оно было именем собирательным для всех тех, кого недостаточно удовлетворяла английская реформация в смысле очищения церкви от римских обычаев и римских установлений. Сюда же примыкали и те, для кого очищение религии означало вместе с тем и очищение нравов, социального организма. Позднее под это же название подошло и политическое течение, оппозиция против абсолютизма в государстве и церкви. Английские корни этого умонастроения идут от Джона Уиклифа и лоллардов. Учение последних никогда не исчезало в Англии и особенно прочно утвердилось среди ткачей восточных графств. Занесенное в Англию родственное настроению лоллардов кальвинистское евангелие широко распространилось по острову, найдя для себя уже подготовленную почву. Своим учением о благодати, по которому каждый просветившийся делался избранным, предназначенным для блаженства воином господним, о предопределении, об участии мирян в делах церкви — кальвинизм поддерживал в недовольных дух сопротивления. В дальнейшем своем развитии английский кальвинизм раскололся на собственно кальвинистов-пресвитериан и на индипендентов (независимых). Первые желали государственно централизованную церковь, в которой были бы представлены «старейшие» — пресвитеры, избранные мирянами и пользующиеся

голосом в общинах и церковных соборах (синодах). Вторые отвергали касту священников и, прежде всего, церковную иерархию, требовали автономности и независимости церковных общин. Социально пресвитериане отражали собой крупную и среднюю городскую буржуазию, по преимуществу торговую. Сюда же примыкала и часть джентри, связанная своими интересами с торговым капиталом, поскольку отдельные представители этой группы относились с недоверием к решительным революционным выступлениям, с одной стороны, и к королевскому абсолютизму—с другой. Пресвитериане Долгого парламента—политические наследники оппозиции предреволюционного периода. Они—сторонники конституционной монархии и сторонники подчинения церкви парламенту. Поскольку они хотят обратить государство в орудие своего классового господства, постольку они хотят подчинить себе и церковь. Для этого они хотят строить церковь не сверху, а снизу путем избрания духовных лиц и светских «старейшин» для контроля над действиями церковников. Образцом пресвитериан в этом отношении являлся женеvский кальвинизм, «буржуазно-капиталистическая религия», по выражению Меринга. Самая тирания кальвинистской церкви, которая ставила своих членов под постоянное наблюдение церковных органов и на каждом шагу грозила воздействием за малейшее нравственное нарушение, не пугала крупную буржуазию. Путем замещения должностей старейшин она сама составила бы церковь, а строгая церковная дисциплина могла только послужить на пользу политическому воздействию на широкие массы населения. Противник пресвитериан, индипендент Барроу писал: «другую секту (т. е. пресвитериан) следовало бы назвать кликой; эти реформаторы дают народу немножко свободы, чтобы помазать его по губам и заставить его думать, будто он сам выбирает своих священников; но даже в этих мнимых выборах они обманывают народ, оставляя ему лишь туманное и пустое название выборности, а на деле предписывают ему подавать голоса за какого-нибудь ученого писаку, за питомца их собственного заведения; с другой стороны, за их спиной стоит еще синод и признает их выборы, каковы бы они ни были недействительными». Стремясь закрепить за своим классом безусловное господство в стране, пресвитериане выказывали решительную нетерпимость и желание сохранить свободу веры, как и политическое господство, только для себя самих. Пресвитерианские богословы страстно проклинали «отвратительное, анафемское учение» о сво-

боде совести. «В этих словах вы слышите голос состоятельной буржуазии» (купечество Сити в большинстве своем было пресвитерианским), — говорит Бернштейн. «Это тот же голос, который ныне произносит: религия должна быть сохранена для народа». Кроме того в воздухе носилась мысль, что сильная церковь должна существовать во имя собственности. Эта мысль была высказана в парламенте поэтом Эдмундом Уоллером еще в 1641 году, когда в палате еще шел вопрос об отмене епископства. «Если епископат», говорит Уоллер, «будет взят в атаке народом, и последнему откроется тайна, что мы ни в чем не можем отказать ему, когда он предъявляет требования всей массой, то в следующий раз нам также будет трудно защищать свое имущество от народа, как некогда от прерогатив короны... Я убежден, что если начнут требовать разделения земли и имущества, то найдут в библии столько же мест, оправдывающих это требование, сколько теперь приводится против церковной иерархии и доходов». Ясно, что пресвитерианская церковная дисциплина, т. е. церковная юрисдикция, являлась прекрасной заменой епископата в наблюдении за народными заблуждениями. При наличии сект, выражавших идеологию иных социальных слоев, очень ярко звучит пресвитерианское положение: «как первоначальный грех является первым грехом, носящим в себе семена и зародыши всех дальнейших грехов, так и терпимость таит в своем лоне все ошибки и всякое зло».

Левую оппозицию в Долгом парламенте представляли собой индипенденты. Они отражали собой джентри, среднюю и мелкую буржуазию, а также пролетарские слои населения. Первоначально индипенденты действовали единодушно против пресвитериан. Их церковное учение (непризнание единой церковной доктрины и единой церковной организации) гармонировало со стремлением индипендентов уйти от опеки класса, имевшего пресвитерианское большинство в Долгом парламенте, и взять власть в свои руки. Единодушное индипендентов, которое характерно для первых шагов этой группы, объясняется тем, что первоначально понятие «индипендент» было еще слишком неопределенно. Оно было собирательным наименованием для множества представлений; сюда входило все то, что по той или иной причине не желало религиозного абсолютизма, религиозной центральной власти. Так на известной ступени политического развития понятие либеральный, а позднее и радикальный является собирательным наименованием всех стремлений, которые

нераздельны лишь в отрицании, во всем же остальном таят в себе зародыши раскола и разъединения. Раскол в среде индепендентов произошел немедленно после того, как они одержали победу над пресвитерианами в 1648 году.

Продолжительное преобладание пресвитериан было подорвано событиями, разыгравшимися в связи с вопросом о предании суду Карла Стюарта. Силой, сломившей парламент, была выросшая за гражданскую войну армия, которая представляла интересы иных классов, чем пресвитерианский парламент. К моменту столкновения пресвитерианского парламента с армией последняя представляла собой организованную демократию страны; массу ее составляли крестьяне и ремесленники, особенно много было среди них ткачей и других работников шерстяной промышленности. Командный же состав образовался отчасти из лиц, выделившихся из массы, отчасти из наиболее радикальных элементов состоятельных классов. Естественно, что эта армия оказалась левее пресвитерианского парламента, которому она была подчинена. Попытка со стороны последнего ликвидировать армию, когда Карл стал пленником парламента в 1646 году и гражданская война казалась законченной, повела к тому, что солдаты сконструировались в самостоятельную силу. Они создали глубоко демократический институт эджитеторов (по-английски эджитеторз от этжитет—вести чьи-либо дела). Офицеры и генеральный штаб вынуждены были признать это новое учреждение. Согласились, что каждый полк будет выбирать двух эджитеторов непременно из среды солдат или унтер-офицеров. Эти эджитеторы вместе с назначенными от каждого полка офицерами образовали «совет армии». Конструированная таким образом армия 4-го июня 1647 года на большом лугу близ города Ньюмаркета приняла манифест, который гласил, что армия не наемное войско, нанятое для того, чтобы поддерживать произвол государственной власти; эта армия—буквально гласит манифест—«состоит из свободных людей английской нации, собравшихся и держащих оружие в руках, в целях защиты своих и народных основных прав и вольностей; офицеры и солдаты обязываются подписью своей не расходиться и не позволять разделять себя на полки и отряды до той поры, пока не будет уверенности в том, что мы и все свободно-рожденные граждане английской нации не будем впредь подвергаться таким притеснениям, насилиям и злоупотреблениям, как это было до сих пор». Армия, ставшая само-

стоятельной силой, не только забрала под свое наблюдение пленного короля, но и потребовала в 1648 году суда над Карлом Стюартом, этим «кровавым человеком». Пресвитерианский парламент протестовал против этой меры и искал соглашения с пленным королем; парламент считал, что революция зашла слишком далеко и грозит совсем оттеснить от власти торговую буржуазию. Наоборот, индипенденты видели в компромиссе с королем и его водворении на прежнее место победу контр-революции, возвращение революции к исходному положению. Во время этого конфликта парламент охранялся милицией Сити (торговая часть Лондона), но в решительный день, когда представители армии решили очистить парламент от пресвитерианского большинства, милиция не оказала сопротивления. Командующий офицер, полковник Прайд, арестовал всех членов парламентского большинства, и последний стал теперь исключительно республиканским и индипендентским, превратился в «охвостье», как стали называть его противники переворота. В 1649 году была провозглашена республика.

Эти события были победой тех социальных групп, которые нашли себе выражение в индипендентстве. Но так как эти социальные группы были далеко не однородны, в среде индипендентства возникла борьба. Индипенденты раскололись на джентльменов, левеллеров и истинных левеллеров. Джентльмены были представителями политически радикальных слоев джентри и зажиточных крестьян, крупных йоменов, ведущих предпринимательское, промышленное хозяйство. Их социальная программа была буржуазной, а политически они были врагами аристократии и в то же время противниками последовательных демократических течений. Когда джентльмены прочно завладели властью, они не расширили избирательного права, а уничтожили гнилые местечки и передали их парламентскую привилегию промышленным городам. Умонастроение джентльменов характеризуется мнениями их лидера Кромуэлля. Вот некоторые типичные места из речей последнего: «Когда общество осуждено на страдания, пусть оно лучше страдает от богатых, чем от бедных, которые, по словам Соломона, обрушиваясь на что-нибудь, не оставляют ничего за собой, сметая на пути все, подобно урагану». «Различие между дворянином, джентльменом, йоменом, крестьянином или ремесленником вполне правильно и представляет важный интерес для наций. Разве естественный строй нации не попирается с насмешкой людьми, исповедующими уравни-

тельные принципы? Разве эти принципы не сводились к тому, чтобы низвести всех к одному уровню? Сознательно или бессознательно стремились они осуществить практически эти принципы в отношении к собственности. Во всяком случае, к чему же они стремились, если не к тому, чтобы поставить арендатора в такое положение, в каком находится лэндлорд? Мне кажется, если бы они добились этого, то не надолго. Люди, проповедующие принцип такого равенства, очень скоро стали бы защищать свою собственность и свои интересы, лишь только они добились бы осуществления своих стремлений. Я привожу только этот пример. Не подлежит сомнению, что это учение грозило получить широкое распространение, ибо оно звучит приятно для бедняков и нравится всем плохим людям». Самое всеобщее или хотя бы широкое избирательное право Кромуэлль и его сторонники считали опасным, так как оно, по их мнению, немедленно поведет к анархии и непрерывной гражданской войне. Вообще же для индипендентов умеренного направления, «джентльмэнов», характерно, что они после реставрации примкнули к «вигам», и наиболее богатые из них оказали значительную материальную поддержку движению, когда в 1688 году дело дошло до устранения династии Стюартов. Характерна также экономическая политика джентльмэнов и вообще правительства республики, где главную роль играл Кромуэлль, джентльмэнский лидер. По отношению к крестьянству республика не сделала ничего, и в деревне интересы джентри по-прежнему выдвигались на первый план. Положение наемных рабочих во время республики стало как будто лучше, т. к. заработная плата поднялась, допускалась свобода передвижения рабочих и наблюдалось терпимое отношение к союзам подмастерьев. Но в то же время пуританское суровое отношение к увеселениям и развлечениям всякого рода вело к фактическому удлинению рабочего дня; число праздников также сократилось. Далее республика сохранила косвенные налоги на предметы широкого потребления, введенные еще пресвитерианским парламентом.

Зато внешняя политика республики резко выдвигает вперед интересы торговой и сельско-хозяйственной предпринимательской буржуазии. Борьба с Голландией и знаменитый Навигационный акт 1651 года имели целью удовлетворение интересов именно этих социальных слоев. Кроме того, очевидна связь военной и торговой политики республики с интересами зажиточных крестьян, произво-

дивших также для широкого рынка. Тот же смысл имела и война с Испанией, начавшаяся в 1656 году. Возникла она из-за того, что Испания отказала в свободном плавании английских судов в Западную Индию и кстати не согласилась на то, чтобы английские купцы свободно исповедывали свою религию в самой Испании, не боясь преследований инквизиции. По поводу начавшейся войны Кромвэлль сказал в парламенте следующее: «Вы в войне с Испанией. Мы ввели вас в эту войну по необходимости. Испания — наш злейший враг, враг естественный и как бы указанный провидением, потому что она — воплощенный папизм. Нет средств ни добиться от Испании удовлетворения, ни обезопасить себя от нее. Мы требовали от нее для наших купцов только дозволения иметь в кармане библию и молиться богу по их вере, но нечего ждать от испанца свободы совести». Парламент ответил, что «война против Испании предпринята вследствие справедливых и неизбежных причин для блага нации, и что парламент при помощи вождей будет поддерживать его светлость в этой войне».

В оппозиции к индепендентам стояли левеллеры (уравни-тели). Последние являлись представителями интересов мелкой буржуазии, средних и мелких крестьян, а также городских ремесленников. Их программа типично демократическая с одногодичным парламентом, состоящим из одной палаты, со свободой совести, печати, союзов, с отделением церкви от государства, с широким (но не всеобщим) избирательным правом. Левеллеры предполагали распространить избирательное право на всех граждан, достигших 21 года, за исключением лиц, получающих заработную плату или милостыню. Не следует забывать, что промышленного пролетариата тогда вообще еще не было. Предоставление же избирательного права сельско-хозяйственным батракам в то время, когда не было известно тайное голосование, могло лишь послужить на пользу землевладельцам. Точно также богатые могли использовать в своих интересах избирательные права lumpen-пролетариев. Но как бы то ни было, демократизм левеллеров вне сомнений. Для характеристики их взглядов можно привести отрывок из статьи левеллерского печатного органа, газеты «Модэрэт» (Умеренный). «Благодаря войнам тирания и угнетение вошли в плоть и кровь многих из наших предков и, поддерживаемая силой оружия на основе королевской конституции, тирания настолько вошла в привычку, что простому человеку она кажется вполне естественной —

и это единственная причина, почему народ так невежествен в отношении своего прирожденного права равенства, своей единственной свободы. В конце концов божественное провидение увенчало успехом восстание поработенного народа против могущетвенного врага. Народ надеялся, что эта победа освободит его от прежнего гнета и рабства и обеспечит за ним счастливое пользование высшими благами жизни, как в смысле физическом, так и духовном. Но высокомерие, жадность и себялюбие взяли верх над таким неоцененным благодеянием, и для многих явился соблазн поплыть вместе с другими по золотому океану, и притеснение и угнетение народа не только продолжают, но еще увеличились и не видать им конца. Но народ не желает больше быть обманутым; он стремится к облегчению своей участи и желает быть действительным, а не фиктивным источником законодательного авторитета; и он начинает приходить в негодование, он требует закономерного представительства и таких законов, которые могли бы сделать его действительно счастливым. Если они не будут даны, если старые искры будут раздуть бурей новых распри, тогда разгорится пламя, поднимется ветер, и если горючий материал сухой, и не будут приняты быстрые предупредительные меры к облегчению, то хотя ущерб для немногих и будет велик, но еще больше будут те выгоды, которые выпадут на долю остальных. Стремления левеллеров дать действительную власть в стране трудовым слоям населения вызывали ожесточенные нападки со стороны имущих. Левеллеров обвиняли в том, что они «рассылают своих эмиссаров прежде всего со следующей целью: чтобы возмутить батрака против хозяина, арендатора против землевладельца, покупателя против продавца, должника против заимодавца, бедного против богатого, и при этом, для большей смелости, каждый нищий должен быть снабжен лошадью». «Они хотят, чтобы никто ничего не называл своим, говорят, что это тирания, если человек владеет землей; частная собственность, по их мнению, дьявольское учреждение, тайна египетского рабства, гибель мироздания, возбуждение фальшивой, жадной плоти, возобновление проклятия, смертельный враг духа и причина всех бедствий на земле». «Но они уверяют, будто они против такого уравнивания до тех пор, пока весь народ не выскажется единодушно за их предложения. Это, однако, такая пелена, которая позволяет рассмотреть их тайные намерения». На все это последовал такой ответ: «разве левел-

леры хотят отнять у кого-нибудь землю? Поистине, если бы можно было доказать, что в жилище кого-нибудь из левеллеров имеются вещи, принадлежащие республике, а не им, тогда пусть будет так». Эта полемика происходила как раз в то время, когда правительство наделяло конфискованными землями наиболее видных из своих приверженцев, а толстосумы Сити старались по мере сил использовать республику. Отношение левеллеров к правительству джентльменов хорошо выражено в следующих словах Лильберна: «Нам выгодно поддерживать одного тирана в противовес другому — до тех пор, пока мы не узнаем, что представляет из себя тот, который выдает себя за наиболее честного и какова дарованная им свобода. Мы хотим иметь что-нибудь реальное, на что нам можно было бы опереться». Это «реальное» было в глазах левеллеров народовластием, которое представлялось им лучшим средством для ограждения интересов большинства. Собственность была в глазах левеллеров «основной причиной всех недоразумений между партиями в их взаимных отношениях гражданской жизни». Модэрэт писал: «Так как тиран устранен и правительство по названию изменилось, то собственность и на деле должна вернуться в руки народа. Если этого не случится в ближайшие годы и собственники (джентри) будут употреблять всю силу, влияние и увертки для того, чтобы сохранить старый образ правления и продолжать таким образом свое господство и рабство народа, то не может быть сомнения в том, что со временем народ прозреет и образумится и в данном пункте». Однако, «уравнение в имуществе и правах» они считают «в высшей степени вредным», пока за него не выскажется подавляющее большинство или даже единогласно весь «народ». Это стремление привлечь к управлению и законодательству «весь народ», вместо группы имущих, является главным положением левеллеров, основой их мировоззрения. «Всякая законодательная власть по природе своей совершенно произвольна, и предоставление одному какому-нибудь классу людей свободно и пожизненно властвовать — это величайшее рабство». В этом же смысле характерны слова одного из левеллеров: «я не думаю, чтобы большую часть человечества бог создал с седлами на спине и с уздой во рту, а незначительную часть снабдил сапогами и шпорами, чтобы ездить верхом на других».

Левее левеллеров были т. н. истинные левеллеры. Они представляли интересы чисто пролетарские, их идеалы были коммунисти-

ческими. Социальная группа, которую они отражали — сельские наемные рабочие, батраки. Истинные левеллеры вели пропаганду и словом и действием, причем их мало интересовали вопросы чисто политические. 8-го апреля 1649 года недалеко от Лондона неожиданно появилась группа людей, снабженных лопатами, которые стали копать незанятую землю, желая произвести на ней посевы. Вследствие этого их прозвали диггерз (копатели). Местным жителям они заявили, что хотя пока тут их немного, но число их скоро возрастет до 4-х тысяч. Они хотят показать истинный образец общности имуществ и сделать ее доступной всем; они хотят доказать, что безусловно справедливо, когда трудящийся народ может на общественной земле копать, пахать, сеять и обитать, не платя за нее никому аренды. К концу недели число их, постоянно возрастая, увеличилось до 40; они построили шатры и приготовились обрабатывать и другой холм для посева ржи; но в середине второй недели высланными против них отрядами кавалерии они были частью рассеяны, частью арестованы. Предводители их Уильям Эверард и Джерард Уинстэнли были приведены к генералу Ферфаксу. На допросе Эверард, между прочим, сказал, что ему «недавно явилось видение, и он слышал голос: «встань, копай и вспахивай землю и получи от нее плоды ее». Они (Эверард и друг его) стремятся к тому, чтобы вернуть мир в первобытное состояние. Подобно тому, как бог обещал превратить пустыню в плодородную почву, так и они целью своих стремлений считают возврат к древней общности пользования земными благами. У них нет намерения завладеть чьей-либо собственностью насильственным путем или разрушить заборы и изгороди, как это думают о них многие; они хотят лишь обрабатывать общественные и пустующие земли и сделать их плодородными на благо всех людей... Настанет скоро пора, когда все бедные, безработные и угнетенные войдут в их союз, и беспокойные бродяги превратятся в порядочных граждан общества. Придет время, и все даже теперешние свободные землевладельцы уничтожат свои изгороди, отдадут свои земли в общественное пользование, добровольно примкнут к общности имущества, и тогда кончится всякая тирания и всякое рабство и царство божие воцарится на земле». Жюри, составленное из представителей состоятельных землевладельцев округа, приговорило их к непомерно высокому штрафу. Так как они не в состоянии были уплатить этот штраф, то конфисковали все их имущество.

Но левеллеры не отказываются от своей идеи, они делают все новые и новые попытки провести их в практическую жизнь и все снова разгоняются силой оружия. Они не перестают также выускать памфлеты в защиту своих взглядов, в которых жалуются на применяемый к ним образ действий. Эти памфлеты не лишены мистического налета, но эта мистика настолько прозрачная и рационалистическая, что вполне очевидна цель, преследуемая ею, — служить покровом революционных стремлений движения. Вот характерные мысли, заключенные в одном из этих памфлетов. «Встаньте, работайте сообща и возвестите об этом всему миру. Израиль не должен ни принимать аредной платы, ни платить ее», «Кто обрабатывает землю для одного или для многих, поставленных, чтобы повелевать другими, и не смотрит на себя, как на равного всем остальным людям, на том будет тяготеть рука господня. Я, господь, говорю это, и слово мое сбудется». В 1653 году истинные левеллеры Джерард Уинстэнли и Джон Памер от имени своих единомышленников направили в государственный совет республики письмо. В этом письме, между прочим, значится: «мы пашем и копаем для того, чтобы бедные люди, доведенные до сумы, могли сносно существовать; мы думаем, что имеем на это право в силу победы над умершим королем, который пользовался унаследованным от Вильгельма Завоевателя правом на землю... Если же норманское насилие будет сохранено, то мы лишь потеряли от того, что стояли на стороне парламента. Мы примкнули к нему (парламенту), поверив его обещаниям, что земля будет свободна. Теперь мы требуем своего права пользоваться общественной землей, купленной ценой нашего имущества и нашей крови. Мы требуем этого во имя равенства. Парламент и армия заявили, что они действуют в интересах всего народа. Вы, джентри, сохранили свои права на огороженную землю, а мы требуем для себя права владеть общинной землей. Годная для обработки земля имеется в достаточном количестве и даже избытке. Мы требуем лишь права работать на ней и пользоваться плодами своего труда. Если в этом нам будет отказано, нам придется просить на бедных у вас же. Но есть много гордых, горячих голов, которые предпочтут грабить и воровать, чем пользоваться милостыней; другие стыдятся нищенствовать. Если же земля будет свободна, не будет ни нищих, ни праздношатающихся. Англия тогда могла бы обходиться собственными продуктами. Это позор для религии, что земля останется

необработанной в то время, когда многие умирали с голоду. Если вы предоставите нам свободное пользование землею, то мы будем рады, что вы и армия будете охранять наш труд, и охотно будем вам повиноваться». Это письмо дает полную критику английской революции с точки зрения пролетариата той эпохи. Так должен был думать пролетарий, и прежде всего сельский пролетарий того времени. Неужели же беднейшие крестьяне, батраки и наемные рабочие совершенно напрасно жертвовали жизнью? Если прежнее распределение собственности должно быть сохранено, то оказывается, что трудовые элементы населения, поддерживая парламент, больше проиграли, чем выиграли. Трудящиеся действительно должны были многое потерять от революции, по крайней мере, на первое время: их эксплуататоры эмансипировались, эксплуатация усилилась. В начале борьбы трудовому населению об этом ничего не говорили; тогда речь шла о возвышенных общих принципах, боролись за божественное право против духовенства, за свободу против тирании, за «вечную справедливость». Откуда было тогда знать беднякам, что общая справедливость в буржуазных революциях заключается в том, чтобы на место королевского абсолютизма водворялся абсолютизм собственности?

После того, как пресвитерианский парламент превратился в «охвостье» и индепенденты стали у власти, активная борьба между ними стала неизбежной. Пока еще грозила опасность со стороны пресвитериан и других враждебных групп (до февраля 1649 г.), между джентльмэнами и левеллерами существовало соглашение, «эгримент», которое должно было гарантировать осуществление изложенной выше программы левеллеров. Но так как джентльмэны не желали демократического строя, они оттягивали исполнение положений, заключенных в эгрименте. Активные левеллеры решили начать прямую борьбу, т. к. находили, что сделано очень много для защиты прав парламента, но ничего не предпринято для защиты прав народа, т. е. тех, по преимуществу, трудовых слоев населения, которые совсем не были представлены в парламенте. Часть республиканской армии была на стороне левеллеров, и потому они решили взять силой то, в чем парламент отказывал, игнорируя «эгримент». Восстание нескольких полков было подавлено при помощи остальных (май 1649 г.). Этот успех джентльмэнов решил дальнейшую судьбу демократических реформ. Характерно, что в день казни некоторых участников восстания

Кромвэлль и его сподвижники отправились в Оксфорд, где университет устроил в честь их праздник и поднес им звание почетных членов. Парламент выразил им благодарность отечества, и крупная буржуазия Сити, которая часто проклинала Кромвэлла и не раскрывала своего денежного мешка для удовлетворения нужд армии, 7 го июня 1649 года, собравшись в клубе мелочных лавочников, отпраздновала победу над левеллерами банкетом в честь Кромвэлла и Ферфакса (другого генерала, участвовавшего в подавлении мятежа), ныне спасителей священной собственности. Чтобы доказать свою щедрость, они одарили Кромвэлла и Ферфакса золотыми блюдами и тарелками и отпустили 400 фунтов стерлингов для раздачи среди бедного населения Лондона. Восстание левеллеров в армии не вызвало активного движения среди широких слоев трудового населения и явилось в этом смысле одинокой вспышкой. Самый раскол в армии показывает, что крестьянство и ремесленники в целом поддержали джентльменов в борьбе с левеллерами, вставшими на защиту прав именно этих слоев населения. Произошло это потому, что опасения, как бы уравнилельные тенденции левеллеров не затронули священного принципа собственности, очевидно, возникали не у одной только крупной буржуазии, но и у мелкой. На это были свои причины. Крупное сильное крестьянство—«хозяйственные мужички» естественно солидаризовались с буржуазией более состоятельной. Положение же мелкого и среднего крестьянства в ту эпоху далеко не было отчаянным, и «голодные ренты» были еще впереди. При таких условиях этим слоям населения в целом было мало дела до той или иной формы политического строя, господствующего в стране; то же и в ремесле. При таких условиях понятна и неудача, постигшая истинных левеллеров. Мелкое крестьянство, казалось бы, очень заинтересованное в защите общинных земель от посягательств лэндлордов, вообще мало склонно к коммунизму по своей мелкобуржуазной природе, а сельско-хозяйственный пролетариат, батраки, еще не упал до того состояния, в котором очутился впоследствии. По Кэннингему в XVII веке батрак получал удовлетворительную плату и к тому же хорошие харчи три раза в день: масло, сыр, яйца, ветчину. Затем надо принять во внимание, что во время революции заработная плата вообще была выше, чем до и после революции. Промышленного же пролетариата в указанную эпоху еще не существовало. Таим образом, левеллеры явились провозвестниками интересов тех

классов, время которых еще не пришло. «Революция 1789 г.», говорит Карл Маркс, «имела уже прообразом (по крайней мере в Европе) лишь революцию 1648 г., революция 1648 года — лишь восстание Нидерландов против Испании. Обе революции ушли вперед против своих прообразов на целое столетие не только во времени, но и по содержанию. В обеих революциях буржуазия явилась тем классом, который действительно стоял во главе движения. Пролетариат и фракции общества, не принадлежавшие к буржуазии, или не имели еще интересов, не совпадавших с интересами буржуазии, или не образовали еще никаких самостоятельно развившихся классов или частей классов. Поэтому там, где они выступают против буржуазии, как, напр., во Франции от 1793 года до 1794 года, они борются лишь за осуществление интересов буржуазии, хотя и не буржуазными способами». Победа джентльменов уже означала победу буржуазии, и, как мы видели выше, политика Кромуэлля была продолжением политики бурных парламентов Стюартов в том смысле, что она выше всего ставила запросы землевладения, торговли и промышленности.

Реставрация Стюартов была подготовлена предыдущим развитием. Кромуэллер не сделался королем только потому, что в армии, несмотря на все фильтрации и чистки, преобладал еще антимонархический дух. По смерти Кромуэлля, после отказа от полномочий нового неудачного лорда-протектора, естественно возник вопрос о правителе. Подавляющая масса буржуазного населения была утомлена и жаждала порядка. Чем сильнее было правительство, тем скорее можно было ожидать удовлетворения этой жажды покоя. Крупное дворянство, джентри, та часть, которая была враждебна индипендентству, городская аристократия примирились в свое время с Кромуэллем именно потому, что он дал порядок. Большинство же крестьян и мелких буржуа безразлично относились к форме правления. В среде радикальных групп, боровшихся в эпоху революции, настало разочарование, реакция против прежней кипучей деятельности. Экономическая ситуация, оставившая большинство народных масс глухими к решительным политическим и социальным лозунгам, повела к сомнениям в возможности достигнуть намеченной цели путем политической борьбы, к мысли, что народ еще не созрел до свободы. Это настроение постепенно захватило и армию. Поэтому Монк со своими предложениями сво-

бодно избранного парламента, подкрепленными войсковым отрядом, не встретил протестов. Реакция к покою от бурных лет революции, желание сильной власти и порядка повели к тому, что «свободный» парламент составиля на половину из кавалеров и на половину из пресвитериан. Этот парламент дал Англии короля, сына казненного в 1649 году.

Возвращение Стюартов—результат реакции, завершившей революционное движение—дал преобладание кавалерам, т. е. той полуфеодальной части дворянства, которая была единственной поддержкой безусловного абсолютизма в Англии XVIII века среди имущих слоев населения. Но уже первая революция показала ее относительную слабость. Союз дворянской и торгово-промышленной буржуазии не оказался поколебленным в результате революции. Наоборот, дальнейший рост торговли и промышленности еще более укрепил эту связь. Неудачные шаги правительств Карла II и Якова II снова поставили для буржуазии вопрос, кто выше—парламент или король. Когда же Яков задел имущественные интересы не только дворянской и торговой буржуазии, но и феодальной знати декларацией о свободе совести, он остался одинок, и новый король был принят без активного протеста кого бы то ни было. Вторая революция (1688 года) окончательно знаменует собой сохранение и укрепление старинных «вольностей» в Англии. Имущие классы становятся теперь действительной политической силой, которой вынуждена подчиниться королевская власть, делавшаяся с течением времени все более и более чисто исполнительной властью.

В результате революции 1688 г. через 40 лет после поры Долгого парламента удалось заложить фактические основания тому порядку, к которому стремилась индипендентская да и пресвитерианская буржуазия еще в 40-х годах XVII века. Значение же лозунгов этого времени определяется Карлом Марксом в следующих словах: «Революции 1648 и 1789 г.г. не были революциями только английской или французской: то были революции европейские. То не была победа определенного класса над старым общественным строем: то было лишь провозглашение политического строя для нового европейского общества. Правда, в этих революциях победа досталась буржуазии; но победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя»...

4. Уничтожение феодальных вольностей королевской властью и сохранение привилегированного положения дворянства во Франции.

Французское дворянство старого режима, как сословие, имело своим предком военно-земледельческий класс эпохи феодализма. В этом отношении оно было тем же, что и всякое дворянство. Феодализм же, как известно, характеризуется дроблением государственной власти между наличными землевладельцами, причем помещики, бароны, вассалы и надвассалы в пределах своих владений являлись мелкими государями. По отношению к своим сюзеренам (в том числе и к тому, который назывался королем) феодальные владельцы несли обязательства, строго определенные обычаями. Но раз эти строго определенные обязательства выполнены, вассалы в остальном чувствовали себя свободными, они были вольны запереть ворота своих замков и не пускать к себе никого, не исключая самого короля. Словом, они были «сеньеры», «сиры», как гордо заявлял девиз рода Куси: «я не герцог, не маркиз, я сир де Куси». Но развитие нового хозяйственного уклада, денежного, который пришел на смену натурально-хозяйственным отношениям, повело к тому, что один из феодальных сеньоров (во Франции таким сеньором оказался король) превратился в носителя центральной власти, которая в конце концов собрала в себя все суверенные, правительственные права других сеньоров. Из множества мелких государств-поместий составилось одно национальное государство. Во Франции феодальные землевладельцы, в качестве самостоятельных государей, почти исчезли к XVII веку. Но это отнюдь не значит, что исчезло дворянское землевладение. Еще в XVII веке в Королевстве существовало до 70.000 ленов. В тех из них, которые представляли из себя домэн, высился старинный замок, окруженный стенами, с башнями, с аспидной крышей и с большой укрепленной башней посередине или, по крайней мере, с голубятней. Стенные зубцы были исправлены, рвы тщательно поддерживались, подъемный мост был снабжен цепями. Внутри в оружейных залах хранились ручные пищали, мушкеты, латы, которые не вышли тогда совершенно из употребления и служили еще в эпоху религиозных войн.

Благодаря своей воинственной внешности, укрепленные постройки французского имения в XVII веке и даже позже могли навести

на мысль, что державное положение их собственников—попрежнему нечто реальное, что помещик остался таким же государем, каким был раньше. Однако, даже поверхностный юридический анализ скоро обнаруживал, что положение потомков и правопреемников феодальных господ в XVII веке резко изменилось. Французский дворянин этого времени не имел права вести войну по своей инициативе, брать выкуп с купцов, грабить (в буквальном смысле этого слова) крестьян: все это называлось уже разбоем, и за это приходилось теперь иметь дело с королевским судом. Что же касается другого владетельного права—чеканить монету, то оно также исчезло, и те сеньеры, которые, строго держась обычаев своих отцов, сохраняли монетные мастерские в погребах своих замков, имели все шансы окончить свои дни на королевских галерах. Сеньериальная юрисдикция, высшая, средняя и низшая, повсюду должна была выдерживать конкуренцию королевской юрисдикции и стала тяготить сеньеров, особенно мелких. Все это определенно указывает на то, что дворянин-земледелец безусловно перестал быть государем. Зато он сохранил свои права на землю (*droits utiles*), то-есть права на различные крестьянские повинности, которые были обращены почти исключительно в денежные повинности. Перестав быть государем, французский дворянин, как и всякий другой дворянин соответствующей эпохи, сделался помещиком. Особенность французского помещика, по сравнению хотя бы с английским, сводится к тому, что первый имел более прав по отношению к крестьянам, чем второй, но зато гораздо менее денег. В общем французский сельский дворянин был беден. В целом французское сельское хозяйство в течение всего нового времени не могло работать подобно английскому на все растущий вывоз, поставляя отечественной промышленности сырье. Французская деревня занималась по преимуществу поставкой на национальный, даже, главным образом, на местный рынок продуктов питания. Но дело в том, что этот национальный рынок отличался ограниченной емкостью. Французская промышленность не росла с такой быстротой, как английская, и к тому же пережила острый кризис после отмены Нантского эдикта. Всякий сбыт сельскохозяйственных произведений не толкал французских землевладельцев в сторону расширения доменов, интенсификации хозяйства, затрат на мелиорации. Все это не сулило выгод, которые оправдали бы предварительные затраты. Но чем менее прибыльна была

эксплоатация доменальных земель, тем крепче держался французский дворянин за свои права по отношению к крестьянам. Денежные повинности, которые поступали в дворянскую пользу от земледельцев, составляли необходимое добавление к недостаточным доходам с доменов. Но ясно, что и крестьянский быт был, по существу, подчинен тем же законам, что и дворянский.

Помимо тяготевших на нем платежей, крестьянское хозяйство во Франции рассматриваемого периода не могло прогрессировать также и от общих условий рынка. Земледелец и так зачастую отдавал государству и сеньеру не только весь прибавочный продукт, но и часть необходимого продукта. Таким образом, естественные условия ставили непреодолимый предел эксплуатации крестьян в указанном направлении и ограничивали требования сеньера. Однако, скромные доходы не делали скромными те требования, которые французский дворянин предъявлял к жизни. Не будучи в состоянии увеличить поступления с доменов и сеньериальных прав, дворянство искало других источников для улучшения своего материального положения. Можно указать случаи, когда отдельные дворяне предпочитали оставить шпагу и взяться за аршин. Другие предпочитали поступить в ряды судейского сословия, и такие случаи полупотери дворянства особенно часты в первые годы XVII века. Тем не менее оставалась еще значительная масса, которая была способна только к физическим упражнениям и к чистому паразитизму. Эта-то буйная масса обращалась к войнам, насилиям, заговорам, которые во Франции XVI и XVII века составили особую отрасль производства, находившуюся в монопольном пользовании дворян. Итальянские походы Карла VIII были чисто дворянским предприятием с целью извлечения доходов из военных грабежей. Война в Италии продолжалась вплоть до религиозных войн. Тотчас за Като-Камбрезийским миром, когда королевские войска были распушены, они наводнили собой горда. В результате обострились религиозные страсти. Дворяне к тому времени, как деньги и добыча стали подходить к концу, вдруг почувствовали себя охваченными необычайным рвением в решении вопроса о предопределении и о праве церкви владеть земельными имуществами. Их убеждения, и католические и протестантские, приняли характер непримиримого фанатизма, и общество поплатилось за этот внезапный взрыв религиозного фанатизма тридцатью годами нестерпимых страданий. Военные склонности французского дво-

рянства, как следствие погони за средствами существования, станут еще более понятными, если припомнить, что закон обеспечивал владение леном за старшим в роде и предоставлял остальных своим собственным силам. Еще в конце XVI века один итальянский писатель писал о французах: «Знатные люди, привыкшие, благодаря распущенности, царящей во время гражданских войн, грабить своих врагов и жить хорошо, возвращаются к себе домой вслед за заключением мира с тем, что у них могло остаться из такой богатой, но противозаконно полученной добычи; в большинстве случаев это составляло, к сожалению, очень немного. Таким образом, большая часть дворянства, будучи бедной, вследствие существования в ее среде права первородства, впадала в нищету, тем более тяжелую, что потребности ее были самые неумеренные. Мы видим, что один из них не только убивают своих врагов, но и друзей; другие убивают своих отцов, матерей и братьев; третьи устраивают всевозможные ловушки своим патронам и сеньорам, овладевают укрепленными местами для того, чтобы продать их врагу, думают только о смутах в государстве и доходят до того, что осмеливаются посягать на жизнь короля». Пока дворяне этого типа живут в отцовских замках, они еще принуждены сдерживаться. Тем не менее злоупотребления и в этом случае бывают нередки, и жалобы на них со стороны третьего сословия весьма многочисленны. Вот например, одна из таких жалоб: то они принуждают своих вассалов давать расписки в получении, противоречащие истине... то они отнимают у них противозаконно деньги, хлеб или другие вещи; бедные люди из боязни, чтобы не было хуже и чтобы не быть побитыми, ограбленными или убитыми, не смеют этому сопротивляться, ни даже жаловаться, что является настоящей тиранией. Когда же эти господа находятся далеко от своей родины, и им случается овладеть каким-либо укрепленным местом, их наглость не знает пределов. То же случается, когда они стоят во главе отряда солдат. После долгих войн даже хорошие солдаты и офицеры начинают разбойничать. Говорят, что знаменитый разбойник Каррефур был дворянином и заставлял называть себя бароном де Милли. Осуждение дворян за такие преступления, как убийства, похищения, чеканка фальшивых монет, наполняли архивы тогдашних судов, и Ришелье как-то писал: «Дворяне признают за свободу только возможность совершать незаконно всякого рода дурные поступки; им кажется, что их стесняют, если пытаются удержать в должных

границах правосудия. В условиях этой нищеты, широких appetitов и нравственной неряшливости понятны постоянные заговоры и многочисленные партии того времени: Крупные сеньеры, «принцы», «гранды», вступавшие в борьбу с королем, в котором видели символ ненавистной им цивилизации, нарушавшей их интересы, всегда могли окружить себя приверженцами из среды ищущих наживы дворян. Во время войн с центром главари заговора и их клиенты всегда питались сообща от войны, взаимно делили выгоду и добычу. Перед восстанием важный сеньор, богатый и могущественный, более доступный, чем король, давал поживиться дворянам, следовавшим за ним, всеми выгодами, которые предоставляло ему его исключительное положение. Он подвигал их по службе, давал рекомендации, доставлял прибыльные должности. Если восстание заканчивалось соглашением с королем, то глава восставших не оставлял своих приверженцев и выговаривал для них такие выгоды, что для карьеры иногда оказывался более коротким путь восстания, по которому вели принцы, чем тернистая дорога верности королю. В случае же неудачи восстания, для многих из его участников оставался еще путь измены своему «делу» и опять-таки соглашение с королем, находившим выгодным приручение фрондирующих элементов и уничтожение у них поводов к недовольству. Ведь король и сам, в период формирования сильной государственной власти, был ни чем иным, как крупнейшим сеньором, окруженным многочисленной клиентелой своих бывших вассалов. Король был вынужден вознаграждать последних предоставлением выгод за утрату ими части бывших их прав; абсолютизм не мог не делиться с дворянством по той же причине, по которой гранды и принцы должны были заискивать перед своими дворянскими приверженцами. Дворянство было единственным классом, который мог оказать центральной власти решающее сопротивление. В его руках были замки, оружие, главное, земля, основа государственного хозяйства того времени. Поэтому, когда король со своей клиентелой окончательно одолел фрондирующие круги, между центральной властью и дворянской массой установились отношения, сущность которых можно было бы выразить следующим образом: дворянство отказалось от остатков старинной верховной власти, а за это получило долю в управлении страной и денежную выгоду за счет казны, которая с избытком вознаградила его за то, что оно потеряло. Эти выгоды выразились конкретно в так называемых «полезных» привилегиях, пенсиях и

бенефициях. Наиболее важная из полезных привилегий состоит в освобождении от всех прямых налогов, податей и добавочных сборов. Кроме того, дворяне освобождаются от всякой личной повинности, от постоя солдат, от обязанности подчиняться монополии печи, мельницы, виноградного пресса, от уплаты пошлины при переходе дворянского поместья в руки мещан; в силу особого королевского соизволения они имели право охоты; они имели особую подсудность. Должности и другие служебные обязанности в королевском доме были предоставлены дворянам. Мало-по-малу было создано такое огромное количество придворных должностей, что только на жалование высшим и низшим служащим дворцового управления затрачивалось в последние годы старого режима более 40 миллионов ливров, почти одну десятую часть всех тогдашних государственных доходов Франции. Другая часть дворянства нашли себе место в высшем государственном управлении и на вольной службе. Наиболее яркое впечатление от тех жертв, которые несло общество старого режима в пользу дворянства, представляет собой быстрый рост в королевском бюджете отдела пенсий. Король брал из бюджета обыкновенных доходов значительные суммы, которые он даром раздавал наиболее преданным дворянам. И вот что делают все эти господа при дворе; справьтесь с их мемуарами: они говорят без стыда, что все время приходится находиться на страже и «спать на сундуке», чтобы не упустить случая попасть в список пенсионеров. Уже в царствование Генриха IV расход на пенсии поднялся до трех миллионов ливров в год. Характерно, что в период примирения с лигой Генрих IV сверх пенсий роздал огромные суммы. В дальнейшем эти суммы росли в меру «ненасытной алчности» дворян, по выражению Ришелье. Но это еще не все; то, что король делал пенсиями, он делал еще в гораздо больших размерах при помощи церковных бенефиций. Конкордат Франциска I по существу был продиктован дворянскими интересами; право назначений, в принципе применяемое к епископствам, но распространенное потом и на аббатства и почти на все важные бенефиции в королевстве, стало для государя источником неистощимых доходов, позволявших ему удовлетворять жадность тех, кто теснился около него. Брантом, писавший в начале XVII века, тонко подметил это обстоятельство, вытекавшее из применения конкордата. Он говорит по поводу Франциска I: «Этот великий король был в высшей степени щедрым, и ему доставляло громадное удовольствие дарить..... но не бу-

дучи в состоянии вознаградить своих дворян от доходов со своих домэнов и от податей, он нашел удобным вознаграждать их некоторыми аббатствами и церковными имуществами». Лист бенефиций стал, таким образом, еще более крепким звеном между дворянством и абсолютизмом, чем роспись пенсий; он окончательно избавил дворянство от заботы о младших сыновьях. Все младшие члены родов, если не шли на военную службу, надевали сутану; незамужние дочери, ставшие бременем для семьи, всегда могли постричься в монахини. Благодаря этому, старшие могли сохранить отцовские лены. Последствия конкордата простирались еще дальше. Можно встретить целые фамилии, которые получали доходы с епископства или с аббатства, как с какой-нибудь фермы. Можно найти солдат, несовершеннолетних, женщин, еретиков, которые получали церковные бенефиции. Ими жила значительная часть дворянства. Изложенная комбинация, в конце концов, выражает черты абсолютной дворянской монархии. Забрав, благодаря своей силе, вдобавок к ленам и полезным правам, полезные привилегии, пенсии, бенефиции, обеспечить государственной организацией повиновение зависимого сельского населения, потеряв феодальную самостоятельность, но сохранив исключительное положение среди других классов, дворяне потеряли нужду в прежней феодальной независимости, а следовательно, и вкус к ней. Когда окончательно установилась новая общественная организация, дворянская масса несомненно выиграла: для нее работал крестьянин и ремесленник, для нее существовала армия, в ее распоряжение были предоставлены государственные должности и часть государственных доходов. В то же время исчезли произвол, насилия и права на дворянскую службу со стороны крупных феодалов. Вместо военных грабежей, пополнявших нехватки дворянских доходов в период подготовки абсолютной монархии, дворянство получило возможность спокойно пользоваться государственной казной, очень часто без всякого труда и без малейшего риска.

В полной гармонии со всеми этими полезными привилегиями, пенсиями и бенефициями старого режима находились, так называемые, почетные привилегии. Смысл последних заключается в том, чтобы при всех обстоятельствах жизни подчеркнуть прирожденное превосходство дворянина над недворянином. Дворяне сохранили исключительное право строить замки, иметь голубятню, первенствовать во всех случаях жизни над разночинцами; так, например, получать святую воду в церкви раньше представителей третьего сословия. Дворянин имел исключительное право носить оружие и

не расставался со шпагой даже в присутствии короля. Дворянство, как правило, смотрело на себя, как на нечто, превосходящее всех прочих, и оно не допускало даже возможности сравнения его с остальными группами населения.

При торжественных церемониях представители дворянства говорили стоя, между тем как представители третьего сословия должны были становиться на колени. При удобном случае дворяне не упускали случая заявить, что разница между дворянством и буржуазией такова, как между отдельным дворянином и его лакеем. Ясно, почему граница между привилегированными землевладельцами и представителями торгово-промышленного населения во Франции была не зыбка, как в Англии, а, наоборот, очень определена. Для французского дворянина буржуа был не компаньоном и не лицом, с которым он разделяет общие интересы во внешней и во внутренней политике, а только покупателем продуктов его имения, часто очень прижимистым или вороватым продавцом, или опасным кредитором. Пусть абсолютная королевская власть в конце концов была одинаково нужна и представителям торгового капитала, и земельным собственникам; все же интересы тех и других были лишь параллельны, а не переплетались между собой, как в Англии. До промышленного же капитала французскому дворянскому землевладению вплоть до конца XVIII века не было решительно никакого дела.

Все это отнюдь не значит, что в среде дворянства не было внутренних противоречий. Наоборот, наблюдается частичная неслаженность интересов между дворянством придворным, провинциальным и дворянством мантии. Последнее состояло в значительной своей части из облагороженных буржуа и было более связано с последними, чем две остальные группы. Придворное дворянство проявляло больше интереса к синекурам, пенсиям и бенефициям, тогда как провинциальные дворяне проявляли заботы, главным образом, о полезных правах и негодовали на паразитизм придворных. Но дело шло, в сущности, только о том, как наилучшим образом использовать исключительное положение целого класса в интересах той или другой группы, которые вместе составили класс. От этого основные интересы дворянства старого режима по существу не менялись. В конце концов все дворянские группировки дореволюционной Франции одинаково основывали свое благополучие на привилегиях, и оттенки в интересах различных кругов дворянства зависели лишь от того, какой тип привилегии был базой для благополучия той или другой прослойки.

5. Слабость французской буржуазии и бессилие ее ограничить королевскую власть.

Если французское дворянство старого режима произошло от военно-землевладельческого класса эпохи феодализма, то буржуазия, как класс, имеет своим предком население городских коммун. Роль последних в разложении феодализма была производной от нужд развивавшегося обмена. Феодальная общественная организация оказалась недостаточной для защиты торговых сношений. Раздробленность территорий, опасность путешествий, обилие пошлин, разнородный чекан монеты, разнообразие юридических норм во владениях многочисленных феодалов,—все это порождало путаницу и ставило помехи растущему обмену. Зависимость городских поселений от местных сеньоров и их насилия над горожанами вызвали раздражение особенно после того, как экономически окрепшие коммуны сами получили возможность самостоятельно организовать свою защиту, основой для которой послужила военная организация городов для охраны торговых путей.

Когда среди феодальных господ выделился сильнейший, города встретили сочувствием его стремление централизовать власть и открыли ему свой кошелек. Во время ликвидации феодального хаоса буржуа неизменно желали порядка, мира и правильного течения дел; из боязни смут, вредящих промыслам, жители городов стремились к упречению королевского правления, уничтожающего феодальный произвол на местах. Выходцы из буржуазной среды были первыми чиновниками и юристами, заложившими основание королевского права и королевской бюрократии. В результате к началу XVI века центральная власть во Франции оказалась уже установившейся и окрепшей, крупная светская аристократия погибла под ее ударами, национальный принцип торжествовал над феодальной раздробленностью.

Все это развитие, обусловленное новым направлением хозяйственных факторов, привело к расслоению в среде самого населения городов, которое стало насчитывать своих аристократов и своих разночинцев. В самых маленьких местечках существовали специальные регистраторы, определявшие право на первенство одних граждан перед другими. «Интересно видеть», замечает современник, «как кум-носильщик или какой-нибудь малый из столярного цеха выступает в красной мантии в качестве президента, произносит при-

говоры и первый подходит к причастию. В Париже этого не увидишь. Первое место во всей буржуазной иерархии XVI—XVII веков принадлежало откупщикам, «арендаторам налогов». Они были самыми богатыми представителями буржуазии, и уже тогда в их среде насчитывались миллионеры. Сам Ришелье купил у одного из них Рюэль, который считался и в то время своего рода чудом. Но процент таких богачей был сравнительно невелик, и более типичной фигурой, стоящей ступенью ниже этих денежных аристократов, является купец, скупой, умеренный, медленно сколачивающий свое состояние и не гонящийся за блеском. Этот купец жил в нижнем этаже нештукатуренного дома с остроконечной крышей, выстроенного из глины, смешанной с соломой, подальше от воздуха и света в глубине лавочки под низким сводом. На рассвете открываются ставни, вечером они снова закрываются, охраняя своим крепким замком дорогие товары, скрывающиеся в полусвете лавки или аккуратно сложенные в глубине сундуков. Их показывают только по особому случаю, так как всякая вещь, которую кто-нибудь уже видел, этим самым как бы осквернена. Если является покупатель, то пускаются в ход всевозможные хитрости, в которых вкрадчивость переплетается с грубостью.

«Каждое утро открывается лавка и выставляется товар для того, чтобы обманывать публику, и ее запирают вечером после того, как надували в течение целого дня. Купец показывает образцы своих товаров лишь для того, чтобы спустить самое худшее из них. При помощи разных уловок скрываются недостатки товара» (Ла Брюйер). Торгуются без конца, особенно женщины, которые при этом обнаруживают сметливость, скардность и такт,— свойства, незаменимые для торговли. Вечером, при закрытых ставнях, в заднем помещении лавки, где ютится все семейство, муж взвешивает и пересчитывает при свете лампы дневную выручку, дукаты, анжелоны и пистолы, а жена помогает ему. По мере того, как толстеет мошна, купец наш, если он не лишен размаха, делается оптовым торговцем и начинает продавать свой товар тюками, ящиками или целыми штуками, продвигаясь, таким образом, несколько выше по социальной лестнице. Менее почетным, по сравнению с торговлей, считалось занятие ремеслами. Крупные промышленные предприятия еще не существовали, и хозяева ремесленных заведений жили в тесных мастерских со своими первобытными инструментами, вперемежку с рабочими, от кото-

рых весьма мало отличались. Все они имели плохое помещение, очень скромную одежду и скудную пищу. Очень редко случалось, чтобы они наживали большие состояния. Их заработок давал им возможность жить сытно, и только. К сказанному можно добавить, что общий тон торгово-промышленной Франции XVI и начала XVII века был мелко-буржуазным. Характерно, что в эту эпоху Франция не создала ни банкиров св. Георга, ни Фукеров, ни ганзейских союзов. Торговый капитализм еще только становился прочно на ноги, закрепляя свое положение. Но если в XVI веке уже наметилось расслоение в среде городского сословия, отделение торговой буржуазии от ремесленной (промышленной), то в то же время наблюдалось и известное различие между буржуазией севера и юга. Последняя была крупнее, богаче и шире по своим операциям, следствие давно зародившейся здесь средиземноморской торговли, продолжавшейся еще и в интересующую нас эпоху. Следствием этого размаха, более широкого, чем на севере, было и большее развитие капиталистического духа в южных городах. Этим и объясняется, что французский кальвинизм имел наибольшее число приверженцев из горожан именно в южных коммунах, принявших участие в религиозных войнах на стороне протестантского дворянства.

Южная буржуазия вышла из этих войн ослабленной, и в конце концов протестанты—потомки буржуазных участников религиозных смут—были вынуждены покинуть родину. По мере развития борьбы не одна южная буржуазия поднимала свой голос в общем движении. События захватили все торгово-промышленные круги, и они повсюду выставляли требования, выражавшие их интересы.

Моментами обстоятельства напоминали английские столкновения XVI века, и вопрос об ограничении королевской власти стоял на очереди. Однако, абсолютизм вышел из испытания не сломленным, но окрепшим. На это были свои причины.

По существу смута, известная под именем религиозных войн, является феодальной реакцией. Основной тон был задан ей крупными сеньерами, которые желали вернуть себе державные права. Благоприятной базой для этих притязаний были дворянская нищета и дворянский вкус к широкой жизни. Как и всюду, где вспыхивала революция, во Франции XVI века выдвинулся вопрос об имуществе церкви. Свобода совести, по мнению кальви-

нистского дворянства, предполагала право разрушать монастыри, духовные лены, окруженные ее владениями, конфисковать в свою пользу десятину и захватить в свою пользу руководство их вотчинной юрисдикцией. Брантом говорит по поводу начала волнений, что во всем этом было «по меньшей мере столько же неудовольствия, сколько гугенотства». Сам Теодор де-Без, ученик Кальвина, объясняет нам, каким образом в течение 1560 года возникла «партия»: «Образ действия Гизов, явно тиранический, угрозы, к которым прибегали в отношении наиболее знатных людей в королевстве, опала принцев и вельмож, совращение высших представителей судебного ведомства и подчинение их полному произволу Гизов, бесконтрольное распоряжение финансами государства и раздача их Гизами тем, кому вздумается, как и вообще всех бенефиций и должностей,—одним словом, их правление, жестокое и само по себе незаконное, возбуждало поразительную ненависть к ним... Каждый, таким образом, был принужден думать о самом себе, и многие начинают объединяться, чтобы подумать о какой-нибудь справедливой защите, чтобы вернуть прежнее законное правление в государстве». Как думало о своей защите дворянство, мы уже видели. Крупная буржуазия, примкнувшая к гугенотству, главным образом (но не исключительно) на юге, поставила своей задачей слить, по кальвинистскому образцу, городское самоуправление с церковным, чтобы закрепить и тем увеличить свое влияние. Может показаться, будто подобная цель была выражением того, что часть французского буржуа уже осознала свое значение, а в начавшемся движении сделала попытку разрешить свою историческую задачу и стать властью. Но дело объясняется проще. Абсолютизм не постоянно отвечает потребностям городов, даже в эпоху торгового капитала. С 1550 года королевская власть создала в каждом из 17 округов государства особое должностное лицо, на которое была возложена обязанность контролировать общественные суммы городов и перед которыми мэры, эшевенз, советники и сборщики были ответственны за свои действия. В 1566 году у местных магистратов было отнято право уголовного суда. Учреждение президиальных судов отдаст в руки королевской власти весь персонал легистов и многочисленных стряпчих, сословие которых распространилось по всем городам, где учреждали новые трибуналы. Совокупность подобных мер сильно озлобляла муниципальные фамилии, городской патрициат, который превратил долж-

ности по самоуправлению в наследственные. Контроль над городскими суммами также не мог быть приятен городским законам. Со стороны граждан, не принадлежавших к патрицианским семьям, слышались мольбы о контроле, который оберегал бы общины от безумства и нечестности их наследственных правителей. При таких обстоятельствах соблазн для патрициата к установлению независимых гугенотских городских республик был неопределим. В разгаре лиги то же стремление проявили и католические коммуны. Подобно сеньерам первенствующие муниципальные семьи отделились феодальной реакцией. Но, в конце концов, притязания патрициев не были выражением воли всего городского населения. Против него негодовали ремесленники и Генрих IV, который достаточно ознакомился с активными коммунами за время своего гугенотства, не был неправ, когда говорил с раздражением в своих письмах «об этих убогих магистратах, имеющих возможность злоупотреблять властью, которой они облечены в силу должностного положения, и делать зло». Но буржуазия в эпоху религиозных войн заботилась не только о закреплении своего преобладания в городском управлении. В то время был поставлен вопрос об ограничении королевской власти, который волновал не только протестантов, но и католиков. Против абсолютной власти поднялась новая школа публицистов-гугенотов, которая потребовала от нее во имя истории, во имя чистого разума отчета во всех ее действиях, сделала запрос о происхождении и правах той абсолютной власти, которой, по мнению многих, короли злоупотребляли. Ла Боззи, Отман, Гюбер, Ланге, а также многие анонимные авторы распространяли памфлеты, в которых смело развивалось учение о народном верховенстве. Одним из важнейших вопросов, которыми занимались кальвинистские публицисты, был вопрос о праве восстания против тиранов. Идеи этого рода проповедывал Бэз. Столь же решительно высказывался Лангэ, по мнению которого любой сеньер может призвать подданных к оружию и к борьбе с государем, когда народ находится под ярмом тирании. Отман доказывал, что французы искони свободный народ и правопреемником народных собраний галльской эпохи являются генеральные штаты. Неизвестный, скрывшийся под псевдонимом Юния Брута, заявил, что один бог правит неограниченно, а короли—божьи вассалы и правят до тех пор, пока не нарушат присяги, данной народу. Среди членов лиги, когда смута уже подходила к

концу, стали быстро формулироваться те же чувства недоверия и ненависти к королевской власти. Католические богословы и проповедники буквально восприняли революционные тезисы, заимствованные пасторами из языческой древности или отысканные ими в библии. Они, в свою очередь, начали проповедывать, что короли занимают престол только в силу общего согласия; что между ними и народом существует договор, который может быть всегда пересматриваем; что народ не может отказываться от своей независимости и свободен взять назад то, что дал. К этому прибавляли, что король-тиран может быть казнен или по меньшей мере заключен в монастырь, дабы уступить место другим, более достойным; что если король—еретик, или становится еретиком, или даже только покровительствует ереси, то он устраняется соединенной силой папской власти и воли народа, который совещается об этом на собрании штатов.

Протестанты на деле отвергли монархический принцип. Дело в том, что с 1573 года гугеноты распространили на всю Францию особое административное устройство, отличное от королевского. Вся система основывалась на присяге, даваемой лично каждым членом союза—«быть, как братья и слуги в доме господнем, помогать друг другу, никоим образом не изменять вышеупомянутому союзу, какие удобства и условия не были бы предложены». Франция была поделена на диоцезы и округа. В каждом из этих подразделений были особые собрания, члены которых выбирались из среды местных дворян. Таким образом, общий принцип этой организации был федеративный и аристократический. Высшей совещательной властью союза были «Генеральные штаты партии», которые должны были собираться каждые три месяца и состояли из трех представителей от каждого округа (дворянина, депутата от третьего сословия и магистрата). Лига, которая была правительством для большей части Франции с 1586 по 1596 год, была также организована по аристократическому принципу, при сильном преобладании дворянства. Но те же черты ясно выступают и в гугенотской федерации. Легко заметить, что собрания диоцезов и округов были в руках дворянства. В «Генеральных штатах партии» руководящая роль принадлежала тому же дворянству и привилегированным семьям городов. Городские низы третьего сословия, не говоря уже о его сельских кругах, были подавлены двумя первыми группами. Преобладание дворянских элементов в

смутах XVI века приводит нас к общему вопросу об относительной силе буржуазии в рассматриваемый момент; она оказалась слабее двух первых сословий. Крупные светские сеньеры у протестантов, крупные духовные и светские сеньеры у католиков, опираясь на свои домэны, поддержанные дворянской массой, которая ждет и получает блага от них, а не от городов, играют доминирующую роль. Города не могут вести самостоятельную политику, не рискуя быть раздавленными. Они поневоле принуждены играть роль подголосков. Им удается местами установить независимость своих коммун, но они бессильны оказывать давление на окончательные решения так, как этого хочется им, а не дворянам. И прежде всего они бессильны ограничить королевскую власть в свою пользу. Все движение в связи с религиозными войнами—феодалная и муниципальная реакция. Оно началось при поддержке дворянства, выбитого из колеи революцией цен, низкими доходами с земли, ростом денежного хозяйства. При таких обстоятельствах дворянство, не имевшее общих интересов с буржуазией, вовсе не было склонно делать ей крупные политические уступки, и самые генеральные штаты, которые было ограничили в правах Генриха III, были местом, где наиболее ярко проявлялся антагонизм между третьим сословием и двумя привилегированными. Самым острым вопросом был здесь вопрос о налогах, причем третье сословие являлось податным. Привилегированные вовсе не желали снять путы с буржуазии, чтобы расстаться с правом, которое казалось им наиболее ценным. Наконец, феодалная реакция смотрела назад, а не вперед и не могла идти к реформе собрания государственных чинов, выросшего из съездов вассалов при дворе крупнейшего феодала. Реальное же соотношение сил было на стороне привилегированных сословий, и буржуазия не могла осуществить в своих интересах построения монархманов и радикальных лигистов.

Смута закончилась восстановлением монархии. Гугеноты и лигисты в конце концов как бы слились с политиками. Длительный период волнений дал осознать опасность феодалной реакции, не отвечающей основной линии экономического развития. «Купцы, думая о своих делах», говорит один современник, «не желают войны и советуют мир. Среди чиновников судебного ведомства одни—хорошие католики, но другие, будучи тайными политиками и наварристами, не перестают подстрекать низшие слои народа»...

(к миру). Всех угнетало разорение и обнищание, вызванное и военными действиями, и расстройством обмена. «Каждый имел в былые времена хлеб в своей житнице и вино в погребе», говорит зажиточный современник, «каждый имел серебряную посуду, ковры и мебель... Теперь кто, кроме воров, может похвалиться, что имеет чем жить в течение трех недель?.. Разве мы не уничтожили почти все наши припасы, не продали всей нашей мебели, не расплавили серебряной посуды, не заложили всего до последней одежды, чтобы кое-как перебиваться. Где наши залы и комнаты, в былое время хорошо убранные и покрытые коврами, где наши пиршества и лакомый стол? Теперь мы должны кормиться молоком и белым сыром, как швейцарцы»...

Наконец, была еще одна причина, которая заставила вспомнить имущие классы о сильной власти среди длительного беспорядка, который, казалось, все более запутывался: начались волнения мелких городских ремесленников и крестьян. Последние были ликвидированы с большим трудом только в 1595 г., да и то с самым крупным крестьянским отрядом королевским войскам уже пришлось мириться, согласившись на прощение недоимки по сбору тальи, которую и без того нельзя было взыскать.

По ликвидации смуты во Франции старого режима продолжало чувствоваться то соотношение сил, которое наметилось в эпоху религиозных войн. Самый опасный враг королевской власти во вторую половину XVI века, дворянство, занимает первое место. Его многообразные привилегии закрепляются, и уже регентство Марии Медичи сыплет дворянам щедрою рукой деньги, привилегии и монополии. Регентство Анны Австрийской также было временем раздачи. Из всех возможных сеньеров король начинает казаться дворянству самым надежным покровителем. Но в то же время идет борьба с сеньерами, с уничтожением остатков феодальных притязаний. Дело не обходится без восстаний но феодальной знати все труднее находить приверженцев среди дворян. Последние окончательно переходят на сторону короля, и ко времени Людовика XIV устанавливается твердо самодержавно-дворянская монархия. Другой силой, хотя и слабейшей по сравнению с дворянством, в эпоху религиозных войн была буржуазия. С этой силой королевская власть также заключила негласный договор. Нантский эдикт покончил на время с религиозными спорами, городские привилегии, поскольку они возможны в самодержавном государ-

стве, просуществовали до самой революции 1796 г. Многочисленная бюрократия была заполнена сплошь буржуа. Сильная централизованная власть была плодотворна для дальнейшего развития торгового капитала и облегчила первые шаги промышленному. Меркантилизм второй половины XVII века является прекрасной иллюстрацией этому положению. Буржуазия стала в благоприятные условия для того, чтобы дорасти до своей революции. Окончательно сложившееся полицейское государство с 1614 г. по 1789 г. ни разу не собирает Генеральных штатов. В течение долгого периода времени подавляющее большинство господствующих классов удовлетворено деятельностью своего правительства и не заботится о контроле.

По мере роста экономической жизни Франции вширь и вглубь происходит все более сложная дифференциация среди буржуазии. Крупнейшими фигурами в третьем сословии вообще, как и прежде, остаются финансисты, банкиры, откупщики налогов. Следом за ними следуют члены крупных торговых компаний, которые приобрели у правительства торговые привилегии; наравне с ними стоят участники монополистических корпораций. Среди этих привилегированных буржуа особенно заметны члены хлеботорговческих гильдий, которым их рыночные привилегии давали возможность скупить хлеб у дворян и крестьян по самым низким ценам и продавать тот же хлеб мелким торговцам значительно дороже. В положение, тождественное с положением членов крупных хлеботорговческих гильдий, попали участники крупных торговых компаний в заокеанских странах. Одним из орудий финансовой политики старого режима была продажа группе лиц какой-нибудь отрасли торговли и промышленности, которая объявлялась предварительно правительственной монополией. Сюда же относятся и другие торговые монополии, организованные на подобие цехов: например, цех винооторговцев в Париже, обладавший исключительным правом продажи вина в столице. Но правительство распродало отдельным представителям буржуазии не только исключительные права на торговлю и промыслы. Государственные должности тоже были пущены в продажу, и так как их раскупали очень охотно, правительство неистощимо изобретало все новые и новые. Людовик XIV за последние 14 лет своего правления ежегодно выручал от продажи должностей до 40 миллионов ливров; в 1715 году, когда он умер, общая выручка от должностей, проданных им и его предшественниками, превысила

142 миллиарда ливров. Промышленность и промышленные предприниматели были предметом особого внимания со стороны правительства старого режима.

Относящиеся сюда меры, при возникновении промышленности, были несомненно полезны. Но в то же время все эти мероприятия, выгодные для одних слоев буржуазии, затрагивали другие. Привилегии, монополии, цехи, отсутствие безусловной свободы торговли, внутренние заставы к концу старого режима стали затрагивать интересы тех представителей буржуазии, которые не получали от них непосредственных выгод. Чем больше расширялся рынок, тем более стеснительными становились эти ограничения для обойденных, и тем больше крупные и мелкие торговцы, не пользовавшиеся привилегиями, толковали о желательных реформах. Та же свобода торговли, т. е. уничтожение всех цеховых и торговых привилегий, затруднявших отыскание новых рынков, стала необходимой и для крупной промышленности, когда последняя окончательно стала на ноги. Регламентация, полезная в свое время, превратилась с течением времени в начало, задерживающее промышленное развитие. Все эти противоречия развертывались с известной постепенностью и приняли крайние формы лишь к концу старого режима. Это было знаком того, что буржуазия, в особенности промышленная, переросла самодержавно-дворянскую монархию, и последняя пала, поскольку она оказалась не в силах справиться с задачами, которые были поставлены буржуазией в новой фазе ее развития. Результатом революции, по образному выражению Луи Блана, было то, что «буржуазия выпрямилась во весь рост около опрокинутого трона».

6. Ограничение феодальных вольностей, усиление власти помещиков над крестьянами и военно-бюрократический характер государства в Германии.

За рассматриваемый период верховная власть в Германии принадлежала областным суверенам, в первую очередь князьям. Во всей мировой истории, пожалуй, не найти другого класса, который столь долгое время обнаруживал бы такую бедность умом и силами и был бы столь расточительно богат всяческой низостью, как германские государи XVII и XVIII веков. Позорно выродившиеся, они буквально купались во всевозможных пороках и грехах. Своим суверенным правом вступать в союзы с иностранными

государствами они пользовались для того, чтобы продавать заграничным деспотам, как пушечное мясо, тело и кровь своих подданных, и таким способом добывали средства для своей крикливой роскоши, для бессмысленной расточительности, в которой они хотели соперничать с королем Франции. Но в Германии не было ни одного класса, который мог бы или хотел бы оказать действительное противодействие этой захолустной тирании князей. Помещики жили вместе с князьями, как их камергеры или камердинеры, или даже, как сводни. Крестьяне, на которых лежал страшный гнет, скорее прозябали, чем жили, а города падали по мере того, как падало германское ремесло, германская торговля и германская промышленность.

Конечно, были отдельные города, как, например, Гамбург и Лейпциг, в которых сохранились остатки прежнего благосостояния, но в многочисленных столицах богатой государями Германии безалаберщины было не меньше, чем при самых дворах государей. Они существовали только за тем, чтобы дать пышный фон для княжеского всемогущества. Лишенные всякого подобия коммунального самоуправления, они были переполнены пресмыкающимися придворными, раболепными чиновниками, грубыми солдатами и иностранными авантюристами. Так характеризует Франц Меринг западно-германское общество в интересующую нас эпоху. После знакомства с хозяйственными условиями, в частности, с поземельными отношениями этой части Германии, подобная характеристика не должна явиться неожиданностью. Экономический упадок городов в связи с перемещением торговых путей, совершенный войнами, не мог не ослабить буржуазии. Отсутствие рынков для сельско-хозяйственных произведений не могло не вызвать к жизни, при тогдашних условиях, сеньериального строя в деревне. В то же время недостаточные доходы не могли не толкнуть дворянства на грабежи казны путем прислуживания ближайшему суверену, хотя бы ценой отказа от феодальных вольностей. С другой стороны, иной уклад поземельных отношений на землях к востоку от Эльбы, вызванный наличием хлебной торговли, предполагает и несколько иную надстройку. Если западно-германские государства являлись мелким подобием Франции, то за Эльбой, в лице Прусского королевства, сложилось государственное объединение, типичное для восточной Европы, абсолютистски-крепостническое.

Буржуазные историки уверяют, будто нашлось одно германское государство и одна германская династия, которые указали нации спасительный выход из этого злосчастного положения, и будто это были Прусское государство и династия Гогенцоллернов. На этот счет существуют две легенды, из которых более древняя изображает в ослепительном свете национальную миссию Гогенцоллернов, а более новая—их социальную миссию. Более старая легенда была выдвинута приблизительно два поколения тому назад, в половине XIX века, германской буржуазией, требовавшей в то время, чтобы прусским штыком было создано национальное единство, в которых она нуждалась для своих капиталистических целей, но для которых она не хотела жертвовать своими костями и кровью. Согласно этой легенде, Прусское государство, в противоположность другим германским государствам, в особенности Австрии, всегда оказывало активную поддержку национальной идее и тем самым приобрело право на возглавление всей Германии. Новейшая же легенда о социальном королевстве Гогенцоллернов, о «королях бедноты», вынырнула в то время, когда рабочий класс Германии начал сознавать свои классовые интересы; так как старая легенда уже сделала свое дело и с ней можно было расстаться, то теперь, согласно прямому распоряжению прусского министра народного просвещения, отечественной истории в народных школах учат по этой легенде.

Обе легенды в одинаковой мере не выдерживают критики. Первая сфабрикована германской буржуазией в своих собственных интересах, вторая—господствующими классами вообще для того, чтобы водить пролетариат за нос. Единственная, заслуживающая признательности сторона этих легенд заключается в том, что они уничтожают друг друга. Если Гогенцоллерны в течение нескольких веков до крайности напрягали все силы своей бедной страны для того, чтобы, преисполнившись национальной гордостью, выступить против заносчивости заграницы, то они никак не могли одновременно источать кровь своего сердца ради бедных и нищих. Если же, наоборот, они веками истекали кровью ради бедных и нищих, то невозможно понять, каким это способом могли бы они по отношению к загранице разыгрывать роль благородных рыцарей национальной идеи.

В действительности одинаково измышлено и то и другое. Прусское государство выросло благодаря постоянным предательствам по отношению к императору и империи, и не в меньшей мере

вырастало оно благодаря обиранию и обдиранью своих трудящихся классов. Нет ни одного германского государства, которое превзошло бы его в том и в другом отношении. Его главной базой искони были области к востоку от Эльбы. Бранденбургская марка первоначально была Саксонской колонией, землей, отвоеванной у славян, — как Мекленбург, Померания, Силезия, Восточная и Западная Пруссия. Все эти части составляли оплот против славянского мира, давление которого воспрепятствовало тому, чтобы они распались на такие мелкие осколки, как южная и западная Германия. По своему возникновению прусское государство было похоже на австрийское, которое сначала было баварской колонией, но как оплот против турецкой опасности развивалось много быстрее и с большей силой. Пользуясь враждебной противоположностью Австрии с другими великими державами Европы, в особенности с Францией, выросло Прусское государство, которому оказывалось искусственное содействие, так как оно представляло кол, вбитый в тело Габсбургской династии, «элемент национального расстройства». Уже в эпоху Реформации бранденбургский курфюрст Иоахим I был пенсионером французского короля; такое же положение занимал курфюрст Фридрих-Вильгельм после Вестфальского мира; единственно и исключительно благодаря помощи Франции, король Фридрих прусский отнял Силезию, наиболее ценную провинцию австрийского государства. Для французской политики этот «великий» прусский король был просто королем-куклой, королем-марионеткой, которая беспрекословно танцевала под французскую дудку. Когда же однажды он отказался от этого и не захотел дать французскому королю затребованной военной помощи против Англии, Франция соединилась с Австрией и Россией, чтобы проучить зазнавшегося вассала. Так возникла в половине XVIII века семилетняя война (1756—1763), вновь самым жестоким образом опустошившая Германию, которая едва лишь начала оправляться от страданий, порожденных Тридцатилетней войной.

Семилетняя война окончательно уничтожила бы Прусское государство, если бы король Фридрих не вступил в вассальную зависимость от России, еще более позорную, чем была вассальная зависимость от Франции.

Социальная миссия Гогенцоллернов представляет плод такого же измышления, как и мнимая национальная миссия. Когда они являлись в страну, бранденбургские крестьяне находились в срав-

нительно удовлетворительном положении. Чтобы заселить земли, отнятые у славян, приходилось заманивать фризских, саксонских, рейнскофранконских крестьян, ставя их в благоприятные условия. Но как раз при Гогенцоллернах положение этих крестьян столетие от столетия все более ухудшалось, пока, наконец, после Тридцатилетней войны курфюрст Фридрих-Вильгельм не отдал крестьян на полный произвол помещиков, получив зато от них разрешение создать постоянную армию и взимать постоянные налоги. Но и это разрешение юнкера—помещики ограничили таким образом, что сами они сохранили свободу от всех налогов, но зато оставили за собой все офицерские места во вновь создаваемой армии.

Если является развязной бессмыслицей говорить о народолюбивой политике Гогенцоллернов, то, хотя нельзя оправдывать их враждебную крестьянам политику, все же в ее извинение можно сказать, что не в их силах было защитить крестьян от помещиков. Эти слабые и в своем большинстве совершенно неспособные государи никогда не были господами по отношению к помещикам, а помещики всегда были их господами. Недаром второй же курфюрст из дома Гогенцоллернов в самоубийственном ослеплении помог помещикам в подавлении и разграблении городов, которые и без того не были ни достаточно сильными, ни достаточно многочисленными. Точно также помещики, дав Курфюрсту Фридриху-Вильгельму разрешение на создание постоянного войска и на взимание постоянных налогов, без чего государство сделалось бы слишком легкой добычей соседей, позаботились о том, чтобы все это не повернулось к их невыгоде. Они бесстыднейшим образом обдирали армию посредством пресловутых ротных хозяйств и в то же время отвратительными средствами варварской дисциплины превращали ее в свое покорное орудие.

Даже при короле Фридрихе, всеильный и просвещенный деспотизм которого так превыспренно прославляется прусскими историками, Прусское государство не было действительной монархией, не было современным классовым государством. Это было средневековое сословное государство, втиснутое в рамки трех наследственных сословий: всеильного дворянства, не достигших зрелости городов и несвободных крестьян,—феодалная развалина, которую сохранить со всей ее феодальной гнилью никто не старался так усердно и неусыпно, как именно король Фридрих.

Самый рост прусского абсолютизма обусловлен тем, что бранденбургские курфюрсты, превратившиеся в прусских королей, были крупнейшими сеньерами-землевладельцами в своих областях, и их интересы, интересы собственников земель и крестьян, совпадали с общепомещичьими нуждами. В то время прусские правители, опираясь на свою экономическую силу, опору курфюрстской гвардии, оказались в состоянии нанести первые удары собраниям государственных чинов (ландтагам). В дальнейшем за-эльбское дворянство примирилось с бюрократизмом и военщиной своих государей. Сильная государственная организация и палочная дисциплина были наилучшим средством для содержания в должной покорности нещадно эксплуатируемых трудовых слоев населения, в первую голову крестьянства.

7. Отражение социально-политической жизни французского общества в искусстве XVII и XVIII веков.

Европейское общество XVIII века характеризуется, прежде всего, тем, что оно было обществом, резко разделенным на классы. Это обстоятельство не могло не отразиться на развитии искусства. В самом деле, возьмем театр. На средневековой сцене во всей Западной Европе важное место занимают так называемые фарсы. Фарсы сочинялись для народа и разыгрывались перед народом. Они всегда служили выражением взглядов народа, его стремлений и его неудовольствий против высших сословий. Но с начала XVII века фарс склоняется к упадку: его относят к числу тех развлечений, которые приличны только для лакеев и недостойны людей утонченного вкуса, как говорит один французский писатель 1625 г. На смену фарсу является трагедия. Но эта трагедия не имеет ничего общего со взглядами, стремлениями и неудовольствиями народной массы. Она представляет собой создание аристократии и выражает взгляды, вкусы и стремления высшего сословия, которое совершенно не занималось производительным трудом и жилó, потребляя те продукты, которые создавались экономической деятельностью третьего сословия. Нетрудно понять, что этот факт не мог не иметь влияния на те произведения искусства, которые возникли в аристократической среде и которые выражали собой ее вкус.

Присмотримся к этому роду литературных произведений со стороны его содержания.

Со стороны формы в классической трагедии должны, прежде всего, обратить на себя внимание знаменитые три единства. Теория этих единств была известна во Франции еще со времени Возрождения; литературным законом, непререкаемым правилом «хорошего вкуса» она стала только в семнадцатом веке. «Когда Корнель писал в 1629 г. свою «Медею»,—говорит Лансон,—«он еще ничего не знал о трех единствах». Пропагандистом теории трех единств выступил в начале тридцатых годов восемнадцатого века Мерэ. В 1634 году поставлена была трагедия «Софонисба»—первая трагедия, написанная по «правилам». Она вызвала полемику. На защиту трех единств ополчились ученые поклонники античной литературы, и они одержали решительную и прочную победу. Но чему обязаны они были своей победой? Во всяком случае не своей «эрудицией», до которой публике было очень мало дела, а возраставшей требовательности высшего класса, для которого становились невыносимы наивные сценические несообразности предшествовавшей эпохи.

Единства имели за себя такую идею, которая должна была увлечь благовоспитанных людей—идею точного подражания действительности, способного вызвать надлежащую иллюзию. В своем настоящем значении единства представляют собой минимум условности... Таким образом, торжество единств было на самом деле победою реализма над воображением.

Таким образом, победила здесь, собственно, утонченность аристократического вкуса, возраставшая вместе с упрочением «благородной и благосклонной монархии». Дальнейшие успехи театральной техники сделали точное подражание действительности вполне возможным без соблюдения единств; но представление о них ассоциировалось в умах зрителей с целым рядом других, дорогих и важных для них представлений, и потому их теория приобрела как бы самостоятельную ценность, опиравшуюся на будто бы неоспоримые требования хорошего вкуса.

Аристократическое происхождение французской трагедии наложило свою печать и на искусство актеров: игра французских драматических актеров и до сих пор отличается некоторой искусственностью и даже ходульностью, производящей довольно неприятное впечатление на непривычного зрителя. Такая манера игры унаследована французскими драматическими актерами от той поры, когда на французской сцене господствовала классическая трагедия. Аристократическое общество XVII и XVIII столетий

обнаружило бы большое недовольство, если бы трагические актеры вздумали играть свои роли с простотой и естественностью. Простая и естественная игра решительно противоречила всем требованиям аристократической эстетики. «Французы не ограничиваются костюмом, чтобы придать актерам и трагедии необходимые для них благородство и достоинство,—с гордостью говорит аббат Дюро.— Мы хотим еще, чтобы актеры говорили тоном более высоким и более протяжным, чем тот, которым говорят в обыденной речи. Это более трудная манера, но в ней более достоинства. Жестикуляция должна соответствовать тону, потому что наши актеры должны обнаруживать величие и возвышенность во всем, что они делают».

Почему же актеры должны были обнаруживать величие и возвышенность? Потому что трагедия была детищем придворной аристократии, главными действующими лицами в ней выступали короли, «герои» и вообще такие «высокопоставленные» лица, которых, так сказать, долг службы обязывал казаться, если не быть «величавыми» и «возвышенными». Драматург, в произведениях которого не было надлежащей дозы условной придворно-аристократической «возвышенности», даже при большом таланте никогда не дождался бы рукоплескания от тогдашних зрителей. И не только драматург, но и живописец без этого не имел бы себе сочувствия.

В эпоху Людовика XIV, т. е. в то время, когда сословная монархия достигла своего апогея, французская живопись имела очень много общего с классической трагедией. В ней, как и в этой последней, господствовали «возвышенное и величавое». И точно так же, как классическая трагедия, она выбирала своих героев только из числа сильных мира сего. Шарль ле-Брен, бывший тогда законодателем художественного вкуса и живописи, знал, собственно говоря, только одного героя—Людовика XIV, которого он одевал в античный костюм.

Его знаменитые «Битвы Александра» были написаны после Фландрской военной кампании 1667 года, покрывшей французскую монархию громкой славой. Осада Турнэ увенчалась успехом после двух дней; осада Фюрна, Куртрэ, Дуэ, Армантьера тоже длилась самое короткое время. Лилль был взят в 9 дней. «Битвы» были всецело посвящены прославлению «короля-солнца». И они слишком соответствовали тогдашнему настроению умов, стремившихся к «величественному», к славе, к победам, чтобы общественное мнение

господствующего сословия не было окончательно поражено ими. Ле-Брэн уступил, может быть, сам того не подозревая, потребности говорить громко, поразить взгляд, привести блеск широких художественных замыслов в соответствие с тою пышностью, которая окружала короля. Тогдашняя Франция режумировалась в особе своего короля. Поэтому перед изображениями Александра зрители рукоплескали Людовику XIV.

Огромное впечатление, которое производила в свое время живопись ле-Брэна, характеризуется патетическим восклицанием Этьена Карно: «Каким чистым светом блещешь ты, ле-Брэн!»

Но все течет, все изменяется. Кто достиг вершины, тот идет вниз.

Для французской сословной монархии спуск вниз начался, как известно, уже при жизни Людовика XVI и затем беспрерывно продолжался вплоть до революции.

«Король-солнце», говоривший: «государство—это я», все-таки по своему заботился о величии Франции. А Людовик XV, несколько не отказавшийся от притязаний абсолютизма, думал только о своих наслаждениях. Ни о чем другом не думало огромное большинство окружавшей его аристократической челяди. Это время было временем ненасытной погони за удовольствиями, временем веселого прожигания жизни. Но как ни грязны были подчас забавы аристократических бездельников, вкусы тогдашнего общества все-таки отличались неоспоримым изяществом, красивой утонченностью, делавшими Францию «законодательницей мод». И эти изящные, утонченные вкусы нашли свое отражение в эстетических понятиях того времени.

Когда век Людовика XIV сменился веком Людовика XV, идеал искусства от величественного перешел к приятному. Повсюду распространяется утонченность эlegantности и тонкость чувственного наслаждения, и этот идеал искусства лучше всего и ярче всего осуществился в картинах Бушэ. Чувственное наслаждение—идеал Бушэ, душа его живописи. Венера, о которой он мечтает и которую он изображает,—чисто чувственная Венера. Это совершенно справедливо и это очень хорошо понимали современники Бушэ. Его музой была изящная чувственность, которую пропитаны его картины. Кто хочет составить себе понятие о том, какое расстояние отделяет дворянско-монархическую Францию Людовика XV от таковой же Франции Людовика XIV, тому мы рекомендуем сравнить картины Бушэ с картинами ле-Брэна.

Живопись Бушэ имела такой же огромный успех, какой встретила в свое время живопись ле-Брэна. Влияние Бушэ было поистине колоссально. Справедливо было замечено, что тогдашние молодые французские живописцы, ехавшие в Рим для завершения своего художественного образования, покидали Францию с его созданиями в глазах и, возвращаясь домой, привозили с собой не впечатления, полученные от великих мастеров эпохи Возрождения, а воспоминания о нем же. Но господство и влияние Бушэ были непрочны. Освободительное движение французской буржуазии создало отрицательное к нему отношение.

Изысканность легко переходит в манерность, а манерность исключает серьезную и вдумчивую обработку предмета. И не только обработку. Круг выбора предмета непременно должен был сузиться под влиянием сословных предрассудков аристократии. Сословное понятие о приличии подрезывало крылья искусству.

Сословное приличие становится критерием при оценке художественных произведений. Этого достаточно для того, чтобы вызвать падение классической трагедии. Но этого еще недостаточно для того, чтобы объяснить появление на французской сцене нового рода драматических произведений. А между тем, мы видим, что в тридцатых годах XVIII века появляется новый литературный жанр—так называемая слезливая комедия, которая в течение некоторого времени пользуется весьма значительным успехом. Слезливая комедия—это следствие роста французской буржуазии.

Со времени краха, постигшего банк Лоу, аристократия с каждым днем теряет под ногами почву. Она как будто торопится сделать все, что только может сделать данный класс для того, чтобы дискредитироваться. Но в особенности она разоряется, а буржуазия, третье сословие, обогащается и, приобретая все больше и больше значения, приобретает также сознание своих прав. Существующее неравенство возмущает ее более, чем когда-либо прежде. Злоупотребления кажутся ей теперь более несносными, чем раньше. Как выразился впоследствии один поэт, в сердцах зародилась ненависть одновременно с жаждой справедливости. Возможно ли, чтобы, располагая таким средством пропаганды и влияния, каким служит театр, буржуазия не воспользовалась им, чтобы она не приняла всерьез, не взглянула с трагической точки зрения на те неравенства, которые раньше только забавляли?

А больше всего, возможно ли было, чтобы эта уже торжествующая буржуазия помирилась с постоянным представлением на сцене императоров и королей и чтобы она, если можно так выразиться, не воспользовалась своими сбережениями для того, чтобы заказать свой портрет?

Итак, слезливая комедия была портретом французской буржуазии XVIII века. Недаром же она называется также буржуазной драмой.

Выбор героев из античного мира был одним из чрезвычайно многочисленных проявлений того увлечения древностью, которое само было идеологическим отражением борьбы нового, нарождавшегося общественного порядка с феодализмом. Из эпохи Возрождения это увлечение античной цивилизацией перешло в век Людовика XIV, который, как известно, очень охотно сравнивали с веком Августа. Но когда буржуазия начала проникаться оппозиционным настроением, когда в ее сердце начала зарождаться «ненависть одновременно с жаждой справедливости», тогда увлечение античными героями, — вполне разделявшееся прежде ее образованными представителями, — начало казаться ей неуместным, а «происшествия» античной истории недостаточно поучительными. Героem буржуазной драмы является тогдашний «человек среднего состояния», более или менее идеализированный тогдашними идеологами буржуазии. Это характерное обстоятельство, разумеется, не могло повредить «портрету».

Истинным творцом буржуазной драмы во Франции является Нивэлль де-ля-Шоссэ. Что же мы видим в его многочисленных произведениях? Восстание против тех или других сторон аристократической психологии, борьбу с теми или другими дворянскими предрассудками или, — если вам угодно, — пороками. Современники более всего ценили в этих произведениях именно заключающуюся в них нравственную проповедь. И с этой стороны слезливая комедия была верна своему происхождению. Известно, что идеологи французской буржуазии, стремившиеся дать нам ее портрет в своих драматических произведениях, не обнаружили большой оригинальности. Буржуазная драма была не создана ими, а только перенесена во Францию из Англии. В Англии же этот род драматических произведений возник в конце семнадцатого века, как реакция против страшной распущенности, господствовавшей тогда на сцене и служившей отражением нравственного упадка тогдашней

английской аристократии. Боровшаяся с аристократией буржуазия захотела, чтобы комедия сделалась «достойной христиан», она стала проповедывать в ней свою мораль. Французские литературные новаторы XVIII века, вообще широко заимствовавшие из английской литературы все то, что соответствовало положению и чувствам оппозиционной французской буржуазии, целиком перенесли во Францию эту сторону английской слезливой комедии. Французская буржуазная драма не хуже английской проповедует буржуазные семейные добродетели, то же делает и живопись.

«Мой и ваш живописец,—говорит Дидро, обращаясь к читателям,—Грез. Грез первый догадался сделать искусство нравственным». Эта похвала настолько же характерна для настроения Дидро, а с ним и всей тогдашней мыслящей буржуазии, как и гневные упреки, посылаемые им по адресу ненавистного ему Бушэ.

Грез в самом деле ^и был до последней степени нравственным живописцем. Отец семейства занимает у него почетное место, передний угол, фигурирует в самых различных, но всегда трогательных положениях и отличается такими же почтенными домашними добродетелями, которые украшают его в буржуазной драме. Но хотя этот патриарх, бесспорно, достоин всякого уважения, он не обнаруживает никакого политического интереса. Он стоит «воплощенной укоризной» перед распущенной и развратной аристократией и дальше «укоризны» не идет. И это совсем не удивительно, потому что создавший его художник тоже ограничивается «укоризной». Грез далеко не революционер. Он стремится не к устранению старого порядка, а лишь к его исправлению в духе морали. Французское духовенство для него—хранитель религии и добрых нравов; французские священники—духовные отцы всех граждан. В этой семейной добродетели заключалась одна из тайн успеха живописи и комедии и в этом же заключается разгадка того на первый взгляд совершенно непонятого обстоятельства, что французская буржуазная драма, которая около половины XVIII века кажется твердо установившимся родом литературных произведений, довольно скоро отходит на задний план, отступает перед классической трагедией, которая, казалось бы, должна была уступить перед нею.

Мы сейчас увидим, чем объясняется это странное обстоятельство, но прежде нам хочется отметить еще вот что.

Дидро, который, благодаря своей натуре страстного новатора, не мог не увлечься буржуазной драмой и который, как известно, сам упражнялся в новом литературном роде, требовал, чтобы сцена давала изображение не характеров, а положений, и именно— общественных положений. Ему возражали, что общественное положение еще не определяет собой человека. «Что такое,—спрашивали,—судья сам по себе? Что такое купец сам по себе?» Но тут было огромное недоразумение. У Дидро речь шла не о купце «самом по себе» и не о судье «самом по себе», но о тогдашнем купце и особенно о тогдашнем судье. А что тогдашние судьи давали много поучительного материала для весьма живых сценических изображений, это прекрасно показывает знаменитая комедия «Свадьба Фигаро». Требование Дидро было лишь литературным отражением революционных стремлений тогдашнего французского «среднего состояния».

Но именно революционный характер этих стремлений и помешал французской буржуазной драме окончательно победить классическую трагедию. Дитя аристократии, классическая трагедия безпредельно и неоспоримо господствовала на французской сцене, пока нераздельно и неоспоримо господствовала аристократия... в пределах, отведенных сословной монархией, которая сама явилась историческим результатом продолжительной и ожесточенной борьбы классов во Франции.

Когда господство аристократии стало подвергаться оспариванию, когда люди «среднего состояния» прониклись оппозиционным настроением, старые литературные понятия стали казаться этим людям неудовлетворительными, а старый театр недостаточно «поучительным». И тогда рядом с классической трагедией, быстро клонившейся к упадку, выступила буржуазная драма. В буржуазной драме «человек среднего состояния» противопоставил свои домашние добродетели глубокой испорченности аристократии. Но то общественное противоречие, которое надо было разрешить тогдашней Франции, не могло быть решено с помощью нравственной проповеди. Речь шла тогда не об устранении аристократических пороков, а об устранении самой аристократии. Понятно, что тут не могло обойтись без ожесточенной борьбы, и не мене понятно, что отец семейства при всей неоспоримой почтенности своей буржуазной нравственности, не мог послужить образцом неумолимого и неустрашимого борца. Литературный «портрет» буржуазии не вну-

шал героизма. А между тем противники старого порядка чувствовали потребность в героизме, сознавали необходимость развития в третьем сословии гражданской добродетели. Где можно было тогда найти образцы такой добродетели? Там же, где прежде искали образцов литературного вкуса: в античном мире.

И вот опять явилось увлечение античными героями. Теперь противник аристократии уже не говорит, подобно Бомарше: «Какое мне, мирному подданному монархического государства XVIII века, дело до афинских и римских происшествий»? Теперь афинские и римские «происшествия» опять стали вызывать в публике живейший интерес. Но интерес к ним приобрел теперь совсем другой характер.

Если молодые идеологи буржуазии интересовались теперь принесением в жертву молодой царевны в Авлиде, то они интересовались им, преимущественно, как материалом для обличения «суеверия»; если их внимание могла привлечь к себе «смерть какого-нибудь пеллопонесского тирана», то она привлекала их не только своей психологической, сколько своей политической стороной.

Теперь увлекались уже не монархическим веком Августа, а республиканскими героями Плутарха. Плутарх сделался настольной книгой молодых идеологов буржуазии, как это показывают, например, мемуары госпожи Ролан. И это увлечение республиканскими героями вновь оживило интерес ко всей вообще античной жизни. Подражание древности сделалось модой и наложило глубокую печать на все тогдашнее французское искусство. Ниже мы увидим, какой большой след оставило оно в истории французской живописи, а теперь заметим, что оно же ослабило интерес к буржуазной драме вследствие буржуазной обыденности ее содержания и надолго отсрочило смерть классической трагедии.

Историки французской литературы нередко с удивлением спрашивали себя: чем объяснить тот факт, что подготовители и деятели великой французской революции оставались консерваторами в области литературы. И почему господство классицизма пало лишь довольно долго после падения старого порядка. Но на самом деле литературный консерватизм новаторов того времени был чисто внешним. Если трагедия не изменилась как форма, то она потерпела существенное изменение в смысле содержания.

Возьмем хотя бы трагедию Сорэна «Спартак», появившуюся в 1760 году. Ее герой Спартак полон стремления к свободе. Ради

своей великой идеи он отказывается даже от женитьбы на любимой девушке, и на протяжении всей пьесы он в своих речах не перестает твердить о свободе и о человеколюбии. Чтобы писать такие трагедии и рукоплескать им, нужно было именно не быть литературным консерватором. В старые литературные меха тут влило было совершенно новое, революционное содержание.

Трагедии, вроде трагедии Сорэна или Лимверра (см. его Вильгельм Тель), осуществляют одно из самых революционных требований литературного новатора Дидро: они изображают не характеры, а общественные положения и особенно революционные общественные стремления того времени. И если это новое вино вливалось в старые меха, то это объясняется тем, что меха эти завещаны были той самой древностью, всеобщее увлечение которой было одним из наиболее знаменательных, наиболее характерных симптомов нового общественного настроения. Рядом с этой новой разновидностью классической трагедии, буржуазная драма казалась и не могла не казаться слишком бедной, слишком пресной, слишком консервативной по своему содержанию.

Буржуазная драма была вызвана к жизни оппозиционным настроением французской буржуазии и уже не годилась для выражения революционных ее стремлений. Литературный «портрет» хорошо передавал временные, преходящие черты оригинала; поэтому им перестали заниматься, когда оригинал утратил черты, и когда черты эти перестали казаться приятными. В этом все дело.

То же самое пережила и живопись. Общественная атмосфера все более и более нагревается, и, по мере того, как революционное настроение овладевает третьим сословием, увлечение жанровой живописью, этой слезливой комедией, писанной масляными красками, остывает. Перемена в настроении передовых людей того времени приводит к изменению их литературных понятий,—и жанровая живопись в духе Греза, еще не так давно вызывавшая всеобщий энтузиазм, затмевалась революционной живописью Давида и его школы.

Впоследствии, когда Давид был уже членом Конвента, он в своем докладе этому собранию говорил: «Все виды искусства только и делали, что служили вкусам и капризам кучки сибаритов с карманами, набитыми золотом, и цехи (Давид называет так Академии) преследовали гениальных людей и вообще всех тех, которые приходили к ним с чистыми идеями нравственности и философии».

По мнению Давида, искусство должно служить народу, республике. Но тот же Давид был решительным сторонником классицизма. Мало того: его художественная деятельность оживила клонившийся к упадку классицизм и на целые десятки лет продлила его господство.

Пример Давида лучше всего показывает, что французский классицизм конца восемнадцатого столетия был консервативен — или, если хотите, реакционен, потому что, ведь, он стремился назад, от новейших подражателей к античным образцам, — только по форме. Содержание же его было насквозь пропитано самым революционным духом.

Одной из наиболее характерных в этом отношении и наиболее замечательных картин Давида был его «Брут». Ликторы несут тела его детей, только что казненных за участие в монархических происках: жена и дочь Брута плачут, а он сидит суровый и непоколебимый, и вы видите, что для этого человека благо республики есть, в самом деле, высший закон. Брут — тоже «отец семейства», но это отец семейства, ставший гражданином. Его добродетель есть политическая добродетель революционера. Он показывает нам, как далеко ушла буржуазная Франция с того времени, когда Дидро превозносил Греза за моральный характер его живописи.

Выставленный в 1789 году, в том же году, когда началось великое революционное землетрясение, «Брут» имел потрясающий успех. Он доводил до сознания то, что стало самой глубокой, самой насущной потребностью бытия, т. е. общественной жизни тогдашней Франции. Эрнест Шэно совершенно справедливо говорит в своей книге о школах французской живописи: «Давид точно отражал чувство нации, которая, рукоплещая его картинам, рукоплескала своему собственному изображению. Он писал тех самых героев, которых публика избрала себе для восторженного поклонения. Отсюда та легкость, с которой совершился в искусстве переворот, подобный перевороту, происходившему тогда в нравах и в общественном строе».

Читатель очень ошибся бы, если бы подумал, что переворот, совершенный в искусстве Давидом, простирался только на выбор предметов. Будь это так, мы еще не имели бы права говорить о перевороте. Нет, могучее дыхание приближающейся революции коренным образом изменило все отношение художника к своему делу.

Манерности и слащавости старой школы,—смотрите, например, картины Ван-Лоо,—художники нового направления противопоставили суровую простоту. Даже недостатки этих новых художников легко объясняются господствовавшим среди них настроением. Так, Давида упрекали в том, что действующие лица его картин похожи на статуи. Этот упрек, к сожалению, не лишен основания. Но Давид искал образцов у древних, а для нового времени преобладающим искусством древности является скульптура. Кроме того, Давиду ставили в вину слабость его воображения. Это был тоже справедливый упрек: Давид сам признавал, что у него преобладает рассудочность. Но рассудочность была самой выдающейся чертой всех представителей тогдашнего освободительного движения. И не только тогдашнего,—рассудочность встречает широкое поле для своего развития и широко развивается у всех цивилизованных народов, переживающих эпоху перелома, когда старый общественный порядок клонится к упадку и когда представители новых общественных стремлений подвергают его своей критике. У греков времен Сократа рассудочность была развита не меньше, чем у французов восемнадцатого века. Немецкие романтики не даром нападали на рассудочность Эврипида. Рассудочность является плодом борьбы нового со старым, и она же служит ее орудием.

Выяснив себе те общественные причины, которые породили школу Давида, нетрудно объяснить и ее упадок.

После революции, придя к своей цели, французская буржуазия перестала увлекаться древними республиканскими героями, и потому классицизм представлялся ей тогда в совершенно другом свете. Он стал казаться ей холодным, полным условности. И он в самом деле сделался таким. Его покинула великая революционная душа, сообщавшая ему такое сильное обаяние, и у него осталось одно тело, совокупность внешних приемов художественного творчества, ни для чего теперь ненужная, странная, неудобная, не соответствовавшая новым стремлениями и вкусам, порожденным новыми общественными отношениями. Изображение новых богов и героев сделалось теперь занятием, достойным лишь старых педантов, и очень естественно, что молодое поколение художников не видело в этом занятии ничего привлекательного. Неудовлетворенность классицизмом, стремление выйти на новую дорогу замечается уже у непосредственных учеников Давида, например, у Гро. Напрасно учитель напоминает им о старом идеале, напрасно сами

они осуждают свои новые порывы; ход идей неудержимо изменяется изменившимся ходом вещей. Но Бурбоны, вернувшиеся в Париж «в казенном обозе», и здесь отсрочивают на время окончательное исчезновение классицизма. Реставрация замедляет и даже грозит совсем остановить победоносное шествие буржуазии. Поэтому буржуазия не решается расстаться с «тенью Ликурга». Эта тень, несколько оживляющая старые заветы в политике, поддерживает их в живописи. Но Жэрико уже пишет свои картины. Романтизм уже стучится в дверь.

Такая классическая трагедия продолжала жить вплоть до той поры, когда буржуазия окончательно восторжествовала над защитниками старого порядка, и когда увлечение республиканскими героями древности утратило для нее всякое общественное значение. А когда эта пора наступила, тогда буржуазная драма воскресла к новой жизни и, претерпев некоторые изменения, сообразные с особенностями нового общественного положения, но вовсе не имеющие существенного характера, окончательно утвердилась на сцене.

3. Условия экономического развития общества в России в XVII—XVIII веках.

1. Экономическое положение Московского государства в середине и во второй половине XVII века.

Почти пятнадцать лет междоусобицы не могло бы пройти даром даже для страны, хозяйство которой было в вполне удовлетворительном состоянии. Подбитую аграрным кризисом XVI века Московскую Русь Смута, казалось, должна была бы довести «до полного уничтожения». Если уже в конце предыдущего столетия центральные области государства давали картину значительного запустения, то в 10-х—20-х годах XVII века посланные «смотреть» землю «писцы» и «дозорщики» находили местами почти совершенно пустынью. В ряде имений Московского, Зубцовского и Клинского уездов, историю которых мы можем проследить, даже к концу 20-х годов перелог, т. е. земля, брошенная и запустевшая, составляла не менее 80%, поднимаясь иногда до 95%, а земля, оставшаяся под обработкой, не превышала 18,7% всей площади, спускаясь иногда до 5,2%.

Всматриваясь в детали этого деревенского разорения, мы скоро, однако, получаем возможность несколько дифференцировать наши представления об экономических итогах Смуты. Разорились более или менее все, но одни более, другие менее. Смута действовала как бы по принципу: «имущему дается, а у неимущего отнимается». Она повалила тех, которые уже слабо стояли на ногах в эпоху Грозного, и после кратковременного испытания еще больше укрепила тех, кто уже тогда был силен. Благодаря Смуте и ее последствиям, должно было окончательно исчезнуть самостоятельное крестьянство везде, где были помещики. Первое явление, которое бросается в глаза изучающему русскую деревню 20-х—30-х годов XVII века,—это громадный рост «бобыльских дворов» на счет дворов крестьянских. По Дмитриевскому уезду в

вотчинах Троицкого монастыря по переписям конца XVI века значилось 40 бобыльских дворов на 917 крестьянских; переписи 20-х годов XVII века дают 207 дворов бобылей на 220 дворов, занятых крестьянами. В первом случае бобыльские дворы составляют 4,1%, во втором—48,4%. «Безместные бобыли», «увечные, бродящие бобыли»—эпитеты, на каждом шагу встречающиеся в писцовых книгах. Бобыль, как правило, не ремесленник и не пролетарий в нашем смысле слова: это крестьянин, открепленный от земли, потому что ее нечем стало обрабатывать. Но открепляемого от земли крестьянина зато легко было прикрепить к помещику. Крепостное право быстро растет у нас на развалинах, созданных Смутой, точно также как в Германии росло оно на развалинах, созданных тридцатилетней войной. В конце XVI и в половине XVII веков крестьянин, уже закрепленный тем или иным путем за своим помещиком, был собственностью последнего. В 1641 году десятилетняя давность в исках с беглых крестьян, раньше составлявшая привилегию некоторых землевладельцев, вроде Троицкого монастыря или Государева Дворца, была распространена на всех помещиков; а в 1649 году Уложение царя Алексея установило «отдавать беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людям без урочных лет».

Употребляя ходячее выражение, Московское государство «оправлялось» от Смуты довольно быстро. В пьесме 20-х годов «есть указания на колонизаторскую деятельность землевладельцев: большой боярин кн. Ю. Я. Сулешев, купив обширную вотчину в Серебежском стану, Переяславского уезда, заводит в ней новое хозяйство—«ставит ново» двор вотчинников и целых 5 починков сразу. К 40-м годам эта «внутренняя колонизация» сделала уже большие успехи: в Переяславском, например, уезде в 1646 году «появился целый ряд новых селений, ранее (во время переписи 20-х годов) не существовавших. В них было: 20 дворов помещиков и вотчинников, 2 монастырских, 10 дворов задворных людей, 21 двор монастырских детенышей, 143 двора крестьянских с мужским населением в 439 человек, 301 двор бобыльский с населением в 709 человек; было вновь распаханно 2300 десятин земли. Острый момент аграрного кризиса прошел одновременно с гражданской войной. Но экономический расцвет времен молодости Грозного не повторялся. Осталось хронически угнетенное состояние, к которому помещичье хозяйство приспособилось мало-по-малу и с

которого начался подъем, но уже гораздо позже, не ранее конца XVII столетия. Первые три четверти этого века носят в этой области определенно выраженный реакционный или, если угодно, реставрационный характер. Последний термин лучше подходит, ибо суть дела заключается в реставрации, в возобновлении старого, в оживлении и укреплении таких экономических черт, которые веком раньше казались отжившими или слабеющими. Наглухо прикрепленные к именьям, крестьяне XVII века напоминают «старожильцев» прежних боярских вотчин, из поколения в поколение сидевших на одной и той же деревне, пока их не разворошила опричнина. Но за этим сходным признаком идут и другие. Натуральный оброк, казавшийся вымирающим явлением за сто лет раньше, как нельзя был более обычен в имениях середины XVII века. Боярин Н. И. Романов получал со своих вотчин в год с выти по барану, по полста свиного мяса, известное количество домашней птицы и по 30 футов коровьего масла. Баранами и птицей собирал свои доходы с подмосковной вотчины и боярин Лопухин. Крестьяне дворцовых сел Переяславского уезда тоже уплачивали повинности баранами, поярками, овиной, сырами и маслом. Особенно интересна живучесть натуральных повинностей в дворцовых вотчинах, где в XVI веке делались опыты рационального хозяйства с обширной правильной барской запашкой. В XVII веке барская запашка здесь сокращается. В дворцовом селе Клушине еще в 1630-х годах было 250 десятин «государевой пашни», а в 70-х годах мы находим ее перечисленной к тяглым крестьянским жеребьям. В конце концов барская запашка удержалась только в подмосковных дворцовых вотчинах, где она не столько имела промысловый характер, сколько обслуживала непосредственные потребности многолюдного царского двора. В других местах она заменилась оброком, но не натуральным, а денежным, либо «посыпным хлебом». Указанное явление не было особенностью дворцовых именно вотчин, а обще всем крупным именьям этой поры. Все отдельные примеры, знакомящие нас с хозяйственными порядками нынешних Владимирской, Костромской, отчасти Ярославской губерний в XVII столетии, ставят нас лицом к лицу с хозяйством оброчным. Крупные вотчины Суздальского уезда, села Мыт и Мугреево, когда-то принадлежавшие князю Пожарскому, а в конце столетия находившиеся во владении князей Долгоруковых, «состояли в 1700 году при новых владельцах на оброке».

Но, кажется, что и средние хозяйства, с такой головокружительной быстротой переходившие на новые рельсы в дни Грозного, сто лет спустя не только не подвинулись вперед, а даже подались назад. По крайней мере, в единственном известном примере, относящемся к Костромскому уезду, барская пашня с 90% слишком в 20-х годах упала в 1684—86 годах до 16%. Иные отношения были на юге, где помещик пахал на себя большую часть земли, но это был совсем особенный помещик, располагавший, в среднем, одним крестьянским и одним бобыльским дворами (Белоградский и Путивльский уезды), в лучшем для себя случае тремя такими дворами (Воронежский уезд), а иногда и ни одним (уезд Оскольский). На всем огромном пространстве этих четырех уездов исследователь нашел только одного помещика в настоящем смысле этого слова, у которого было 3 двора людских, 11 крестьянских и 5 бобыльских, а земли около 750 десятин по нашему теперешнему счету. Если не гипнотизировать себя делением московских людей на «служилых и тяглых», то ничто не мешает нам отождествить помещиков южной окраины Московского государства, с экономической точки зрения, с крестьянами. Таким образом, экономически господствующим по всей России XVII века было мелкое землевладение крестьянского типа, пережившее кризис, который погубил помещика - предпринимателя. Брошенная последним барская запашка не оставалась лежать этуне—она находила себе съемщика в лице крестьянина. Мы это видели на примере дворцовых имений, но так же поступали и монастыри, и частные землевладельцы.

Крестьянский надел рос с неуклонной правильностью все время, пока боярская пашня в лучшем случае стояла на одном месте. В конце XVI века, в разгар кризиса, крестьянская пашня в средней России не превышала 2,6 десятин на двор; в первой половине XVII века она дошла уже до 6 десятин, а во второй местами до 9 слишком. Самым характерным показателем того, в каком направлении шла эволюция, служит постепенное исчезновение бобыльских дворов рядом с поразительным местами ростом числа дворов крестьянских. Например, в 13 имениях Ростовского уезда, вместо 166 крестьянских дворов, в 1620 году мы находим 694 по книгам 80-х годов, а вместо 86 дворов бобыльских только 32. В Переяславском уезде в 1620 году было на 54 крестьянских двора 79 бобыльских, а в 1680 году первых было

338, а вторых только 5. Другим признаком направления, в каком шло развитие, служит соотношение пашни и перелога по книгам 1680-х годов. Теперь пашня решительно преобладает. В среднем, пашня относится к перелогу, как 2:1; в то время, как в 20-х годах этого столетия отношение равнялось 1:5. Хищнические формы денежного поместного хозяйства, разорявшие и помещика, и крестьянина, замерли надолго. Зато крестьянин, поработанный, как в удельное время, вернулся к удельному благополучию, благополучию сытого раба, правда. Об этом свидетельствует быстрота, с какой росло в XVII веке население пустевшей при Федоре Ивановиче центральной России. В конце 20-х годов сельское население Замосковья можно определить цифрою от 400—500 тысяч душ обоего пола—крестьян, бобылей и холопов; в конце 70-х годов соответствующие категории дают до 2—2¹/₂ миллионов. Заметим, что это была пора довольно интенсивной колонизации как южной Украины, так и Поволжья и Сибири.

Возрождение старого типа хозяйства с натуральным оброком и слабо развитой барской запашкой отвечало возрождению и старого поземельного права. Естественно, что должен был возродиться и старый тип владения. Боярская вотчина XVI века была, как правило, латифундией; сменившее ее поместье было образчиком среднего землевладения. В XVIII веке мы опять встречаем латифундии, и возрождение их всецело падает на первые царствования новой династии. Уже на другой день после Смуты началась настоящая оргия крупных земельных раздач—своего рода реставрация того, что уничтожила когда-то опричнина. В 1619—20 годах был роздан целый Галицкий уезд, т. е. все его «черные», занятые свободным еще крестьянством земли. Лишь в редких случаях то была поместная раздача мелкими участками; гораздо чаще мы встречаем целую волость, отданную одному лицу с более или менее «историческим» именем. Тут мы находим и боярина Шеина, и боярина Шереметева, и Ивана Никитича Романова и других. И чем ближе мы к концу эпохи, тем грандиознее становится размах процесса. При Федоре Алексеевиче (1676—1682) крупные раздачи составляют большую половину пожалованных за это недолгое царствование земель. С 1682 года по 1700 год роздано в вотчину 16.120 дворов и более 167.000 десятин пахотной земли, не считая сенокосов и лесов, придававшихся, иногда в огромном количестве, к жалуемым вотчинам. В одни руки сразу попадали до 2¹/₂ тысяч дво-

ров и до 14.000 десятин земли. Но это было ничто в сравнении с теми латифундиями, которые стали возникать при Петре, когда Меншиков единолично получил более трех волостей, с 20.000 десятин. Всего за 11 лет царствования Петра (1700—1711) было роздано из одних дворцовых земель около 340.000 десятин пахотной земли и 27.000 дворов крестьян против 167.000 десятин и 16.000 дворов, превратившихся в латифундии в течение предшествующего 18-летнего периода. Так дворянство окончательно усаживалось на место боярства, выделив из своей среды и новую феодальную знать, подготавливая расцвет «нового феодализма» XVIII века.

Московское государство XVII века не является страной исключительно земледельческой. «Достаточно всем известно,— пишет де-Родес, бывший в Москве в 1653 году,— что все постановления этой страны направлены на коммерцию и на торг, в чем удостоверяет ежедневный опыт, потому что здесь, от высшего до низшего, только и думают, только и стараются, как бы в чем-либо нажиться... В этом отношении русская нация гораздо деятельнее всех остальных, вместе взятых». На распространенность торговых занятий среди русских XVII века указывает и такой внимательный наблюдатель, как Кильбургер. «Все жители Московии, начиная от знатнейших до последних, любят торговлю, отчего в Москве более лавок, нежели в Амстердаме или даже в целом ином государстве. Правда,— спешит оговориться Кильбургер,— эти лавки малы и скудны, из одной амстердамской выйдет десять и более московских, но все это доказывает лишь то, что русские любят торговлю». Эта торговля носит типичную средневековую форму и от торгового капитализма мы далеко. Это подтверждается дальнейшими наблюдениями как Кильбургера, так и его предшественника де-Родеса.

Первый говорит, что русские, выменяв у немцев на свои товары заграничные материи, атлас или бархат, «тотчас же продают это какому-нибудь немцу, и так дешево, что их без убытка снова можно послать в Гамбург или Амстердам». Де-Родес указывает на такое же явление: «Русские крайне упрямо стоят на своей цене и не стесняются тем, что из-за своего упрямства иногда пропускают сезон; бывают случаи, что им из-за этого удается сбыть товар только на пятый год. Если бы они с самого начала уступили за эту цену, которую предлагали им иностранные купцы, то эта сумма с % за пять лет была бы выше той, которую они требовали». Но они

не считают процентов, пропадающих из-за того, что капитал лежит у них без движения». В противоположность капиталисту, русский купец XVII века гнался не за прибылью не по бескорыстию, а потому что не имел этого понятия: прибыли на капитал. Он стремился выручить то, что казалось ему «справедливым» вознаграждением за труды и хлопоты по доставке товара на рынок. Оттого привезенный из Персии шелк он ценил очень высоко, не соображаясь с тем, что цены на европейском шелковом рынке зависели от цены шелка, привезенного морем через Турцию. А купленные на месте, в Архангельске, атлас или бархат не стоили ведь никаких хлопот, и он спешил сбыть их за что попадетсЯ, чтобы поскорее выручить некоторое количество наличных денег, в которых этот типичный средневековый торговец чувствовал большую нужду.

Итак, внутренняя, а отчасти даже и заграничная торговля Московской Руси носила еще ремесленный характер. Это вполне отвечало общей физиономии московской экономики. Мы видели, что в деревне этой поры решительно брало верх мелкое хозяйство крестьянского типа, в промышленности господствовало исключительно мелкое, ремесленное производство.

2. Развитие торгового капитализма в XVII веке.

В первой половине XVII века внутри страны русский ремесленник, как и русский торговец, продолжали стоять на средневековой точке зрения.

Ремесленник не ценил своего труда и требовал только, чтобы работа его кормила, а для этого достаточно было самой незначительной прибыли. Если добавить при этом, что ремесло часто было подсобным занятием,—им, как и мелкой торговлей, в большом числе занимались, например, стрельцы,—то дешевизна русского ремесленного производства будет вполне понятна. Иностранцы с удивлением рассказывают о дешевизне русских кустарных изделий: серебряные пуговицы в Москве продавались за столько серебряных копеек, сколько весили сами пуговицы. Но стоило каким-нибудь видом этого ремесла заинтересоваться Западной Европе, в дело вторгся крупный капитал—и картина резко менялась. Торговый капитал шел к нам с Запада; мы уже тогда были для Западной Европы колонией.

Уже в первой половине XVII века голландцы пытались сделать Россию своей «житницей». Попытка эта объясняется тем, что к XVII веку предметом международного обмена стали не только

продукты ремесленного производства и нужное для этого производства сырье (шерсть или кожи, например), но и жизненные припасы: начинал уже складываться международный хлебный рынок. Цена ржи в Данциге определяла стоимость жизни в Мадриде и Лиссабоне. Ежегодно громадные массы зерна передвигались из земледельческих стран восточной Европы, главным образом, Пруссии и Польши, во Францию, Испанию и Италию. Посредниками в этом обмене были голландцы, участие которых в этой торговле мерялось тысячами кораблей, так что для процветания нидерландского флота этот обмен имел едва ли меньше значения, чем торговля с колониями. Однако, в Пруссии, в Польше и в Прибалтийском крае, откуда республика пополняла свои хлебные запасы, достаточно была развита собственная обрабатывающая промышленность, почему произведения нидерландских мануфактур находят там плохой сбыт уже в конце XVI века. Поэтому торговля с Россией является выгодной, так как «каждый корабль, отправляемый в Россию или оттуда в Нидерланды, приносит больше, чем 7, 8 и даже 10 кораблей, приходящих, напр., из Данцига, потому что корабли, которые идут в Московию, нагружаются ценным товаром, а не баластом, как те, которые ходят в Данциг, Ригу или Францию». Вот почему голландцы, вследствие быстрого роста цен на хлеб (в 1606 г. в Данциге 120 пуд. хлеба стоили 16 гульденов, а в 1622 г. то же количество хлеба стоило 250 гульденов), вспомнили, что «русская земля велика и хлебом богата», и что на Руси «на монастырских и других землях постоянно лежат большие запасы зерна и даже гниют». В 1630 г. явилось посольство от генеральных штатов для заключения торгового договора. Русский хлебный рынок прелполагалось эксплуатировать на обычных для этой эпохи колониальных началах: голландцы должны были получить монополию на вывоз хлеба из России. Но этого мало. В России должны были появиться своего рода хлебные плантации; нидерландские предприниматели должны были получить право распахивать в России «новинные земли», лежавшие впусе, которых в Московском государстве было чрезвычайно много, по голландскому представлению; использовать великолепный мачтовый лес, росший по берегам Двины и ее притокам.

Но в Москве, очевидно, больше понимали условия тогдашней торговли, чем это думали в Нидерландах: в Москве тоже не прочь были сделать хлебный торг монополией, монополией царской. Непосредственное участие государей Восточной Европы в торговле хле-

бом уже имело крупный пример: шведский король был главным конкурентом голландцев на Балтийском море. В Москве не прочь были последовать этому примеру. Но зачем же царь стал бы себя связывать обязательством торговать только с голландцами? «К нашему великому государю и отцу его, великому государю святейшему патриарху, присылают своих послов и посланников великие христианские государи: король английский Карл, король датский Христиан, король шведский Густав Адольф и др. государи, и пишут в своих грамотах, что в их государствах неурожай хлеба и что для прокормления их подданных не хватает зерна», отвечали бояре и дьяки нидерландским послам. Затем обнаружилось, что в Москве знают хлебные цены Западной Европы—и за первую пробную партию в 23.000 четвертей московский торговый агент, гость Надей Светешников, назначил такую цену, что послы заявили, что по такой цене они и у себя дома могут хлеба достать. Расчитывая держать московский хлебный рынок в своих руках, правительство Михаила Федоровича не могло согласиться ни на какие «хлебные плантации» в России, и поэтому послам ответили, что голландских торговцев и других людей «допускать в Московское государство для земледелия невозможно, потому что... русским людям это будет стеснительно, вызовет споры о земле и причинит убыток их хлебной торговле».

Таким образом, барыши от торговли хлебом предполагается оставить за Надеем Светешниковым и его товарищами. Навстречу западно-европейскому торговому капитализму поднялся русский.

Хотя правильной торговли хлебом с заграницей не удалось завести, но та случайная, которая была, все же сделалась царской монополией. До 1653 года скупалось ежегодно царскими агентами до 200.000 четвертей. Четверть ржи с перевозкой до Архангельска обходилась не дороже рубля, а продавали ее не дешевле $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$ талеров; так как из талера, перечеканенного на московском монетном дворе, выходило 64 серебр. коп., то чистая прибыль царской казны на проданном хлебе составляла 60—75%.

От нее, однако, отказались, и к тому времени, когда писал Кильбургер, ее уже не было. «Весь хлеб теперь остается в стране, так как его в большом количестве потребляют винокурные заводы», говорит этот автор. Быстрый рост населения в XVII веке привел к тому, что обычного количества водки не хватало, ее приходилось закупать за границей, на Украине и в Лифляндии, чтобы царские кабаки могли удовлетворить спрос; при таких условиях

выгоднее экасывалось перегонять хлеб в водку, нежели торговать им. Торговля водкой становится царской монополией. По словам Олеария, «было предписано закрыть кабаки и под строгим наказанием запрещено продавать водку, мед или другие крепкие напитки без царского позволения, и в других местах, кроме как в привилегированных трактирах, где продают только шкаликами и штофами и где нельзя пить». Доход от царева кабака был огромный. Коллинс, придворный врач царя Алексея, уверяет, что были отдельные кабаки, сдававшиеся за 10 и даже 20 тысяч рублей тогдашних (до 300 тысяч довоенных).

Но водка далеко не была единственным товаром, торговать которым составляло привилегию царской казны. Первые цари дома Романовых монополизировали в своих руках все наиболее ценные предметы сбыта. «Царь—первый купец в своем государстве», говорит долго проживший в России Коллинс. Перечень царских монополий дает любопытную картину концентрации русского вывоза, создавшей почву, на которой выросал туземный капитализм в лице Надея Светешникова. Выдающееся коммерческое значение имела торговля икрой, которая в количестве 20.000 пуд. вывозилась голландцами за границу и давала казне до 600 тысяч руб. (довоенная цена), а также рыбный клей и лососина: клея вывозилось до 300 пуд. по 7—15 рублей за пуд, а лососины—до 25 тысяч пудов. Наиболее популярной из всех царских монополий являлась меховая: самые ценные виды мехов, напр. собольи, можно было найти только в царской казне, так же, как и паюсную икру. Общая ценность вывоза, по словам де Родеса, составляла 100 тысяч руб.: концентрация и здесь достигла 1½ милл. руб. на теперешние деньги.

Громадное значение получила монополизация тозаров, шедших, как и в старь, через Россию транзитом с востока—на первом месте монополизация шелка. «Торговля шелком есть, без сомнения, самая важная из всех, которые ведутся в Европе», напоминает своему читателю Олеарий, приступая к рассказу о путешествии голштинского посольства в Московию. Большое количество иностранцев домогались пропуска через Московскую землю в Персию, главнейший тогда экспортный рынок шелка-сырца.

В 1614 году приехал в Россию английский агент Джон Мерик—известный посредник в мирных переговорах Москвы со Швецией.

С первых же слов он передал желание английского короля, чтобы английским купцам был открыт свободный доступ к морю.

Ему ответили определенным отказом. «Наши русские торговые люди оскудели», сказали ему: «теперь они у Архангельска покупают у англичан товары, сукна, возят их на Астрахань и продают там кизильбашам (персам), меняют на их товары, отчего им прибыль и казне прибыль; а станут англичане прямо ездить в Персию, и кизильбаша со своими товарами в Астрахань ездить не станут,—будут торговать с англичанами у себя».

В 1629 году приехал французский посол де-Ге-Курмен, который тоже просил, чтобы «царское величество позволило бы французам ездить в Персию через свое государство». Бояре ответили, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов. В 1630 году явились голландцы с намерением распространить голландскую монополию и на персидские товары и предлагали за персидскую монополию 15.000 рублей в год, но получили отказ. Немного спустя приехали датские послы и тоже завели разговор, чтобы дана была дорога датским купцам в Персию. Им ответили уже совсем лаконически, что в Шахову землю дороги никому давать не велено. Расстроилась уже налаженная сделка и с голштинцами, так как у голштинцев не оказалось необходимых капиталов.

Европейский торговый капитал наперебой старается откупить себе торговлю персидским шелком, потому что, благодаря сплошному водному пути от самой Персии почти без перерыва до самого Архангельска—сначала Каспийским морем, потом Волгою, Сухоною и Северной Двиной,—транзит шелка через Россию представлял громадные выгоды сравнительно с перевозкой его сухим путем. В то время, как каждый тюк, перевезенный из Гиляна в Ормуз на спине верблюда, обходился не меньше 35—40 рублей довоенных, перевозка такого же тюка морем до Астрахани обходилась не дороже рубля тогдашнего, т. е. 15 довоенных рублей. В Москве шли по линии наименьшего сопротивления—и делали самое простое, что в данном случае можно было сделать: персиян не пускали дальше Астрахани, а европейцам не сдавали шелк ближе Архангельска, причем держались правила запрашивать всегда как можно выше как за русские товары, шедшие в обмен на шелк в Астрахани, так и за самый шелк, шедший в обмен на европейские фабрикаты или на наличные деньги в Архангельске, и с однажды достигнутой цены никогда не спускать. Из товаров в Персию шли: русское полотно, медь и в особенности соболя и

другие ценные меха. Медь стоила с провозом в Персию 120 талеров за «корзбельный пуд» (берковец, т. е. 10 пуд.), но царские гости, которые одни имели право торговать ею с персиянами, не уступали ее меньше, чем за 180 талеров берковец. Полотну красная цена была 4—5 талеров за кусок, а персидским купцам продавали за 8—10. Персам оставалось на выбор или совсем не брать товаров, которые были им необходимы, или платить то, что назначают московские гости. При таких условиях пуд шелку сырца обходился в Архангельске с доставкой не дороже 30 рублей, а продавали его за 45 рублей. Прибыль царской монополии составляла таким образом 50%. Оборот торговли был крайне медленный — шелковый караван приходил в Архангельск раз в три года. Груз его составлял до 9000 пудов на сумму 40.500 рублей тогдашних — более 600.000 рублей довоенных.

Торговля шелковыми изделиями, привозившимися из той же Персии, а отчасти и с более далекого Востока, была свободна, и до 1670-х годов в Москве проживало постоянно большое количество персидских и даже индийских торговцев. Не победив мирового пути, открытого португальцами, персидская торговля московского царя все же была, несомненно, самым крупным коммерческим предприятием Московской России. Персидский караван, который голштинское посольство догнало между Саратовом и Царицыным, состоял из 16 больших и 6 меньших судов; а самые большие волжские насады XVII века поднимали до 2000 тонн груза и имели до 400 человек экипажа (т. е. бурлаков, которые тащили судно бечевой, когда не было ветра). Современные волжские баржи по части размеров, вероятно, не очень опередили своих предшественниц. Нужно заметить, что вообще крупные суда на Волге обслуживали царскую монополию; два других громадных «насада», встреченных Олеарием, принадлежали один царю, другой патриарху и везли икру.

Концентрация в одних руках сотен тысяч по тогдашнему, миллионов рублей по довоенному курсу, впервые повела к образованию в ремесленной России, знавшей до тех пор только мелкий торг, как и мелкое только производство, торгового капитала. Фактически этим капиталом распоряжались гости, от царского имени ведущие торговлю с Востоком и Западом. Их социальный вес растет с ростом торговли, и иноземцы говорят нам о той большой роли, которую они играют в хозяйственной жизни страны. «Гости —

царские коммерции советники и факторы—неограниченно правят торговлей во всем государстве. Эта своекорыстная и вредная коллегия, довольно многочисленная, имеет главу и старшину, и все они занимаются торговлей; в числе их есть и несколько немцев. Они рассеяны по всему государству и во всех местах, по своему званию, пользуются привилегией покупать первыми, хотя бы они и действовали не за царский счет. Так как они одни не в состоянии справиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всех больших городах у них есть подставные лица, в лице двух или трех из проживающих там виднейших купцов, которые в качестве царских факторов пользуются привилегиями гостей, хотя не носят этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняют различные стеснения торговле. Простые купцы замечают и знают это очень хорошо, говорят о гостях плохо, и можно опасаться, что в случае восстания чернь всем гостям свернет шею. Они (гости) производят оценку товаров в царской Москве, распоряжаются ловлей соболей и сбором соболиной десятины в Сибири точно так же, как и архангельским караваном, и податют царю советы и проекты по части учреждения царских монополий. День и ночь они стараются о том, чтобы совершенно подавить торговлю на Балтийском море и нигде не допускать свободной торговли, чтобы тем прочнее было их господство и тем легче они могли бы наполнять собственные кошельки». Однако, русскому капитализму даже и с подпорками бороться с Западом очень трудно, так как Запад пользуется такими приемами капиталистического обмена, который внушал русским торговцам ужас. «Да немцы же, живя в Москве и городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по пяти, шести и десяти раз с вестями, что делается в Московском государстве, почем какие товары покупают», плакались московские торговые люди в своей челобитной 1646 г.: «и которые товары в Москве хорошо покупают, те они станут готовить, и все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь за одно». Таким образом, почта уже играет большую коммерческую роль. По словам де-Родеса, голландцы успешно конкурируют со шведами, потому что голландская корреспонденция через Ригу скорее доходила до Москвы, нежели шведская через Нарву. В 1663 году в Московском государстве появляется своя заграничная почта, сданная в эксплуатацию одному частному предпринимателю Иоганну фон Шведен. Она отправлялась регулярно каждый вторник на Новгород-Псков-

Ригу, а возвращалась обратно каждый четверг. Письмо от Москвы до Риги шло не меньше 9—10 дней, и стоимость его обходилась очень дорого. Другая заграничная линия шла на Вильну и Кенигсберг: письма из Германии выигрывали, если их отправляли этим путем, два дня. До Берлина письмо шло 21 день и стоило 3 р. 75 к. за золотник (довоенная цена).

Для характеристики заграничной торговли остается прибавить, что не только вывоз, но и ввоз приобрел уже во второй половине XVII века массовый характер. Давно прошло то время, когда в Россию ввозились из-за границы только предметы роскоши, как это было при Грозном и отчасти даже в начале XVII века, когда в списке привозимых товаров мы находим позолоченные алебарды, аптекарские снадобья, органы, клавикорды и другие музыкальные инструменты, кармин, нитки, жемчуг, дорогую посуду, зеркала, люстры и т. п. Списки товаров, привезенных в 1670-х годах, дают такие цифры: селедок привезено через Архангельск в 1671 году 2477 тонн, в 1672 году—1251 тонна; иглок—в первом году 683.000, во втором—545 штук; краски всякого рода 5 тонн и, кроме того, 809 боченков индиго; бумаги 28.454 стопы. Особенно характерен для развившейся индустрии ввоз железа и железных изделий, причем нужно иметь в виду, что в то время были уже железоделательные заводы в самом Московском гусударстве с очень крупным производством. Тем не менее, не считая железных изделий, в 1671 году через Архангельск было провезено 1957 полос шведского железа; такой спрос на этот материал существовал в русских мастерских за 20 лет до Петра.

3. Торгово-промышленное развитие в XVII столетии.

Ликвидация аграрного кризиса закончилась образованием мелкого земледельческого хозяйства с хорошо усеившимся в деревне помещиком, который начинает усиленно эксплуатировать прикрепленного к земле крестьянина. Вместе с ростом населения растут и потребности в продуктах обрабатывающей промышленности. Для удовлетворения этой потребности увеличивается производство различного рода ремесленных изделий, растет количество рынков и намечаются центры обрабатывающей промышленности.

Наиболее промышленным районом в XVII веке было Поморье с его громадными лесами, обильным пушным зверем, богатыми рыбными ловлями и ценными соляными варницами. На Белоозере

был значительный оптовый торг солью, рыбой и хлебом. Недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря, в Тихвине и вблизи Александро-Свирской пустыни, собирались весьма оживленные ярмарки. В Кеми происходила торговля с лопарями, от которых в обмен на хлеб и сукно получали ворвань, рыбу и меха. Богатые соляные варницы были во владениях Соловецкого монастыря, который ежегодно добывал до 100.000 пудов соли. Ее отправляли в Вологду и Устюг для обмена на хлеб и другие предметы, в которых нуждалась монастырская братия. Большое значение в торговом обороте Севера имела Вологда, являвшаяся центром льняного района. В зимнее время Вологда была главным складочным местом как русских, так и иностранных товаров, которые с открытием навигации на насадках и досчаниках отправлялись к Белому морю и в центральные области государства. Но доминирующее положение в Поморском крае занимал Архангельск с Холмогорами, как важная морская пристань и место самой оживленной ярмарки. Здесь был главный склад привозных иностранных товаров. Архангельская ярмарка, продолжавшаяся обыкновенно с 1 июня по 1 сентября, с 1670 года по просьбе русского купечества была объявлена бессрочной. Эта ярмарка способствовала торговому оживлению Архангельска и доставляла вместе с тем в казну, во второй половине XVII века, до 70.000 рублей ежегодно различных таможенных сборов. Во главе Архангельской таможни, в виду ее крупного значения, стоял московский гость с двумя товарищами или таможенными головами из торговых людей гостиной сотни и нескольких целовальников, «сколько человек пригоже», выбираемых как из московского, так и из местного архангельского купечества.

Что касается некогда богатого и населенного северо-западного края, с Новгородом и Псковом во главе, то его торговое значение в начале XVII века сильно падает, в связи с разорением эпохи Смуты и закрытием Ганзейского союза в 1630 г. О степени упадка торгового значения Новгорода могут дать яркое представление следующие цифровые данные: в начале двадцатых годов XVII века в нем насчитывалось всего $472\frac{1}{2}$ двора, тогда как 100 лет назад их числилось около $4\frac{1}{2}$ тысяч. В 1623 г. новгородские гости, пятиконецкие старосты и все посадские люди рисуют самую мрачную картину положения Новгородского посада: «В Великом Новгороде Софейская сторона вся пуста и разорена до основания,

а на Торговой стороне также многие улицы и ряды пусты; а в которых улицах и есть жильчишка, и тех немного в улице человек по восьми и по десяти, да и те бедны и должны». При соединенный от Швеции, по Столбовскому договору, Новгород получает значительные торговые льготы, которыми правительство хотело оживить промышленную деятельность всего края. Всем русским купцам, приезжавшим из внутренних областей, и даже иностранцам разрешено было невозбранно торговать в Новгороде во всякое время. Иностранцы получили позволение разъезжать по всем новгородским и псковским пригородам. Другой крупный посад этого края, Псков, вскоре после Смуты становится важным местом закупки иностранцами русских товаров; отсюда они направлялись в Ревель, Ригу и Митаву. К концу XVII века, благодаря усилению торговых сношений с Западной Европой и Литвою, население снова приливает в запустелые новгородские и псковские местности. В Старой Руссе, где в 1620-х годах насчитывалось всего 68 дворов, по переписи 1678 года их было уже 528; в самом Новгороде с его ближайшими пригородами, в которых после московского разорения было едва 540 дворов, к концу века население почти удвоилось, так как количество дворов достигло цифры 909, а во Пскове без пригородов за 50 лет, протекших между составлением писцовых книг 1620-х годов и переписью 1670-х годов, количество дворов увеличилось на 143.

Если старые торгово-промышленные центры северо-запада только к концу XVII века успели оправиться от хозяйственных и политических потрясений эпохи Смуты, то среднее и нижнее Поволжье в первой половине столетия, с приливом сюда населения из северных и центральных областей, стало играть наиболее важную роль в хозяйственном обороте страны. Торговое и промышленное население сдвинулось сюда из прежних густо заселенных местностей, расположенных по линии Москва—Новгород, и в 20-х годах XVII в. Поволжье является наиболее промышленным районом. Здесь мы встречаем ряд крупных посадов, как то: Казань (1408 дворов), Ярославль (1330 дв.), Кострома (1219 дв.), Нижний Новгород (1066 дв.), уступавших первое место по численности населения только одной столице. Из городов средне-волжского плеса наибольшее торговое значение имел Ярославль. Он являлся складочным пунктом для товаров, перевозимых между Москвой и Вологдой. Кроме того, здесь грузились на волжские суда большие

транспорты иностранных товаров, направляемых в Персию через Архангельский порт. Нижний-Новгород, благодаря своему выгодному расположению при слиянии двух самых крупных рек Московской Руси, сделался в XVII веке очень важным распределительным пунктом торгового оборота между южными и восточными областями, с одной стороны, и московским рынком, с другой. Здесь находилась главная таможня для взимания торговых и проезжих пошлин со всех товаров, шедших по Волге. Сам Нижний являлся крупным центром хлебной торговли как для Поволжья, так и для южных заочских областей. В половине XVII века рязанская украина продолжала считаться, как и во времена Герберштейна, наиболее хлебобородной местностью, и по Оке было много пристаней для нагрузки хлеба. Невдалеке от Нижнего, под стенами Макарьевского Желтоводского монастыря, ежегодно в июле собиралась ярмарка, на которую отовсюду съезжались торговцы. Монастырские власти собирали торговые пошлины в свою пользу, а с 1662 года получили право разбирать всякого рода дела между приезжими торговцами, за исключением воровства и душегубства. Караванная торговля по Волге шла под охраной стрельцов, в виду большого количества хозяйничавших на ней разбойничьих шаек. Исходным пунктом этого торгового движения была Астрахань, через которую шел весь европейский торг с Востоком. Здесь было несколько гостиных дворов, в которых размещались восточные купцы по их национальностям. Уже в 20-х годах XVII века правительство с этих торговых помещений получало оброчных денег около 340 рублей. Складочным местом астраханских товаров, а также рыбы и соли, направляемых в центральные и северные области, была Казань, куда шло также товарное движение из Вятки и Пермского края. На Яике были крупные рыбные промыслы, в 1659 году устроенные московским гостем Гурьевым, откуда сбывалась рыба на Волгу, преимущественно в Самару. В тесной связи с рыбными и икряными промыслами, находилось добывание соли. В Пермском краю крупными солепромышленниками были Строгановы, но, конечно, первое место занимали волжские усолья. Несколько ниже Симбирска были значительные соляные залежи, где ломали соль и высушивали ее на солнце. Около Астрахани находились большие казенные соляные озера.

К югу от Оки в XVII веке также замечается развитие торговли и промышленности. Сюда, вслед за правительственной воен-

ной и вольной земледельческой колонизацией, направляется капиталист-предприниматель, стремящийся связать промышленными нитями эту недавно приобретенную окраину с Москвою, как торговым центром. Прекрасные климатические и почвенные условия привлекают сюда население в значительном количестве, и ко второй половине XVII века здесь вытягиваются две линии городов: одна через Курск и Белгород к Малороссийской Украине, а другая от Москвы через Воронеж и далее к Азову, где татары и турки обменивали на меха шелковые и шерстяные материи и драгоценные камни. В этом южном заозком районе славилась своим торговым оборотом Свинская ярмарка в Брянском уезде, весовые пошлины с которой в 1683 г. пожалованы были Киево-Печерскому монастырю. С середины XVII века Воронежские, Тамбовские и Рязанские местности становятся центрами хлебной закупки. Торговому оживлению этого края способствовали также льготы, данные киевским купцам, получившим (вскоре после присоединения Малороссии) право на беспошлинную торговлю в пределах всего Московского государства. Вместе с тем замечается прилив населения в старые города, покинутые жителями в начале XVII ст.: в Курске, например, за 30-летний промежуток прибыло 163 двора, а в Калуге за 50 лет увеличение выразилось в количестве 874 дворов. Так широко развернулась в Московской Руси XVII века торговая и промышленная деятельность. Почти в каждом посаде были торговые ряды и лавки, а нередко торг производился и по дворам посадских людей. Для приезжих купцов и крестьян, привозивших в город свои изделия, строились гостиные двory, около которых обычно помещались таможенные избы для взимания проезжих, весчих и торговых пошлин. О торговом оживлении некоторых посадов могут дать представление следующие цифровые данные: в Нижнем-Новгороде, например, в 1620 г. было 574 лавки; в Ростове Великом в 1661 году — 388 торговых помещений; в Туле в 1625 году — 386; в Устюге в 1670-х годах — 260; в Суздале в 1628 году — 236.

Но центральное место в торговом обороте страны занимала, естественно, Москва, к которой сходились со всех сторон и речные и судоходные дороги. «Хотя она (т.-е. Москва), — говорит Мейерберг, — лежит весьма далеко от всех морей, но, благодаря множеству рек, имеет торговые сношения с отдаленными областями». Из Москвы, как из единого центра, радиусами во все стороны

шли торговые пути через Ярославль и Вологду. Направлялось торговое движение и к Архангельску по Двине, и к Белоозеру по Верхней Волге и ее притокам, и в Пермский край по Вычегде. В отдаленную Вятку и Сибирь вел путь через Кострому и Галич; в Новгород Великий и Псков надо было ехать из Москвы на Тверь, Торжок и Вышний-Волочок. С Литвою Москву соединял Смоленский путь чрез Вязму и Дорогобуж; через Тулу на Киев шел торговый путь в Украину, в южные области Речи Посполитой и в Крым; через Данков Доном в высокую воду Москва сообщалась с Азовом, а через Серпухов и Боровск издавна ездили из Москвы на Оку и Поволжье, куда вел также и речной путь через Коломну. По этим речным и сухопутным дорогам в Москву отовсюду стекались товары. По словам одного иностранца, «все, чего простой народ не может сбыть местным купцам, то привозится в Москву для продажи иностранным купцам». Наиболее ценные товары, минуя местные рынки, прямо направлялись в столицу, иногда по специальным царским указам. Из Сибири в нее шли ценные меха, из Белоозера доставляли живую рыбу в садках, с нижнего Поволжья привозили паюсную икру, а из Ногайских степей, после покращения Астрахани, пригонялось, по свидетельству Котошихина, на продажу до 50.000 лошадей ежегодно. Из той же отдаленной Астрахани направлялись в столицу овчины, которые, по словам Таннера, очень ценились в Москве. В 1636 году Олеарий видел на Москве-реке много больших судов, шедших из Астрахани к столице с медом, солью и соленой рыбой.

Иностранные купцы в значительном количестве посещали Москву, некоторые из них даже прочно в ней оседали. В своих записках они называют ее счастливейшим местом в мире, так как вследствие того, что русская торговля была по преимуществу меновая, в Москве XVII века можно было купить произведения Италии, Франции, Германии, Турции, Персии почти за ту же цену, как и в их отечестве. Мейерберг в восхищении от торгового оживления Москвы. «В Москве такое изобилие всех вещей,—говорит он,—необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире, хоть бы и с лучшим климатом, с плодороднейшими пашнями, с обильнейшими земными недрами или с более промышленным духом жителей».

Местом наиболее оживленной торговли в Москве был Китай-город. Здесь находились обширные торговые ряды и множество лавок, погребов, шалашей, харчевых изб, скамей, бочечных, кувшинных и других торговых мест, которых по переписи 1626 г. насчитано было 1368. О торговом значении всего московского посада дает наиболее полное представление перепись 1701 г. В Китай-городе насчитано было 614 лавочных владений да 402 места мелочного торга; в Белом-городе—501 лавка да 195 мест мелочного торга; в Земляном городе внесено было в перепись всего 1666 торговых мест, из которых мелочному торгу отведено было 899. Казна принимала довольно деятельное участие в торговых операциях столицы: одних казенных мясных лавок, по переписи 1701 г., разбросано было по Москве $298\frac{1}{2}$, да сверх того 15 бойниц, $26\frac{1}{2}$ скамей и 37 шалашей. Что являлось значительной особенностью московской торговли, это сильно развитая специализация, в силу которой лавки, занимавшиеся продажей какого-либо одного товара, группировались обычно на одном месте, образуя торговый ряд. Поляк Маскевич, заброшенный в Москву тревожными событиями Смуты в 1611 году, поражен был множеством лавок в Китай-городе, которых, по его словам, было до 40.000. «Такой везде порядок,—удивляется он,—для каждого рода товаров, для каждого ремесленника, самого ничтожного, есть особый ряд лавок, даже цирюльники бреют в своем ряду». По словам другого иностранного наблюдателя конца XVII века Кильбургера, «самое замечательное и главное в Москве то, что всякий сорт товаров от низших до высших имеет свою улицу и рынок. Торговцы шелком имеют свой, пряностями—свой, паяльщики и колокольники, меховщики, сапожники, шорники, русские аптекари, продавцы чеснока и т. д.—свой. Даже старьем и лоскутьями торгуют на базаре перед замком (Кремлем) непременно в определенном месте, почему и не стоит никакого труда найти нужный товар».

Параллельно с торговым капитализмом, в Московском государстве XVII века развивалось мелкое производство. «Наш старинный капиталистический класс, купечество,—говорит профессор Туган-Барановский,—не обнаруживал никакой склонности захватить в свои руки производство. Купец предпочитал скупать, владея рынком, продукты мелкого производителя и держать последнего в полной зависимости от себя, не обращая его в наемного

рабочего». Не затрачивая капитала на организацию производства, торговцы скупали изделия, которые мелкие кустари-ремесленники изготовляли на рынок. «Каждый ремесленник-земледелец,—по словам Корсака,—был лицо самостоятельное, по крайней мере, работал из своих материалов, домашними средствами, и каждый порознь продавал свои изделия проезжим купцам». Конечно, такое примитивное ремесленное производство не могло принимать сколько-нибудь значительных размеров. Кустарь работал по давно установившимся образцам, руководствуясь навыком и рутинной и стремясь удовлетворить потребности ближайшего рынка. Среди промышленного населения Суздальского посада в 60-х гг. XVII в. было, например, несколько крестьян Покровского Девичьего монастыря, занимавшихся торгом и промыслами. Один из них, «Федька Андреев, кормится рукодельем своим скорняжным товаром и делает заячьишка»; другой «Евстафейко Митрофанов кормится шапочным своим рукодельем, тоже делает и Ильюшка Остафьев, Шибанко Никитин сидит за сапожонками, Васька Брагин делает в своей лавке ветчаное платьишко»; одна вдова с двумя своими родственниками красит крашенины, среди остальных—одни «кормятся сыромятным промыслишком», другие льют восковые свечи, третьи шьют сапоги и т. д. Почти ту же картину полупромышленной, полуремесленной деятельности встречаем, по одному акту второй половины XVII века, в селениях и деревнях, принадлежавших Макарьевской пустыни. Одни из монастырских крестьян «работали всякою работою и приторговывали», другие «торговали в городе всякими товарами», третьи «работали в поле и извозничали зимой».

Конечно, уже и в XVII веке бывали местности, в которых по разным причинам кустарные промыслы успевали пустить такие глубокие корни в народно-хозяйственной жизни, что они далеко славились теми или другими отраслями производства. Так, например, слобода Халуй нынешней Владимирской губернии и город Кострома известны были своим иконным мастерством, которое составляло наследственное занятие их жителей. Около Тулы занимались выплавкой чугуна в примитивно устроенных небольших горнах, добывая его из открытых по соседству железных руд. Наряду с различными мелкими изделиями из железа, здесь приготавливали даже огнестрельное оружие. По писцовым книгам и другим документам видно, что металлургический промысел издавна

развивался и вблизи великого Новгорода, и в Тихвине, и в районе Устюжны Железнопольской, и около Каширы. Село Павлово на реке Оке, деревни Работники и Безродная на Волге, по словам Кильбургера, славились своими маленькими замками, которые продавались по полтине за дюжину. В Бежецком Верху работали косы и серпы, а в Ярославле делались разные стальные вещи и в том числе висячие замки, сходные по внешнему виду с персидскими. Все эти предметы кустарной железодельной промышленности стоили на рынке весьма дешево, так что с ними не могли конкурировать металлические изделия заводского производства. «Так, от 1674 года имеется показание,—говорит профессор Фирсов,—что существовавшие около Москвы три железных завода не приготавливали стали по той простой причине, что в сбыте именно этого произведения заводы не выдерживали конкуренции с крестьянами, делавшими сталь при помощи небольших ручных мехов». Железные заводы принуждены были также прекратить ковку гвоздей, потому что их ковали дешевле те же крестьяне. На далеком юго-востоке в Астрахани выделывались панцыри и булатные сабли. В связи с постройкой каменных церквей и домов во многих городах, особенно в Вологде, Пскове, Переяславле и Белоозере, занимались приготовлением извести и кирпича. Вместо оконных стекол, как известно, употребляли в то время слюду; главным местом ее добычи была Керецкая волость, принадлежавшая Соловецкому монастырю. В городах верхнего Поволжья развивалось в XVII веке своеобразное русское зодчество, быть может, в непосредственной связи с каменным и кирпичным делом, сильно распространившимся среди местных жителей. В Ярославле, как в одном из наиболее важных торгово-промышленных центров верхнего и среднего Поволжья, процветал судовой промысел. В городах, расположенных по берегам судоходных рек, часто встречались лесные пристани, откуда производился сплав бревен, брусьев, досок и других строительных материалов. На рынках, около этих пристаней, можно было купить готовые деревянные избы, которые, при обилии леса, в то время стоили довольно дешево. Старые хвойные деревья, сплававшиеся по Двине к Белому морю, покупались для корабельных мачт, а из мелкого леса в местностях, расположенных по Оке и Волге, изготовлялись ложки, блюда, солонки, чашки, деревянная мебель, лапти, рогожи и другие предметы. В некоторых районах плотничий и столярный промыслы

приобретали большую известность, и деревянные изделия, изготовляемые в этих местностях, пользовались широким распространением. Так, например, в Козьмодемьянске и Холмогорах работали ящики и сундуки; в Калуге и Каргополе делали красивые ложки, а Вязьма славилась производством саней.

В том же северном районе, главным образом, около Вологды, а также и в Валдайском и Каргопольском уездах по рр. Двине и Ваге занимались приготовлением холста и полотна, что вызывало в этой местности большие посеы технических растений в виде льна и конопли. Однако, несмотря на широкое распространение ткацкого промысла, в Россию XVII века в большом количестве привозили голландские полотна, а когда строился знаменитый корабль «Орел» при царе Алексее, то за неимением русской парусины для его оснастки пришлось выписать ее из Голландии в количестве 5000 аршин. Наряду с полотнами, по селам и деревням кустарным способом приготовляли грубое сукно, называемое сермяжным или однорядочным. Кроме сукон, выделялись шерстяные полости и войлоки. Сукна нередко окрашивались; подобного рода красильными работами известно было село Тейково, недалеко от Владимира. В среднем Поволжье между Ярославлем и Казанью, а также в областях Новгорода и Пскова сильно развит был кожевенный промысел. Кожи выделялись самых разнообразных размеров—и лошадиные, и бычачьи, и яловичные, и телячьи; из последних приготовлялась юфть, которая ценилась тем дороже, чем была чернее. Самой высокой по качеству считалась юфть казанская.

Москва и в отношении ремесл занимала такое же центральное положение, каким она пользовалась в сфере внутренней и внешней торговли. В ней стягивались нити самых разнообразных производств, и нередко в Москву, по царскому указу, производились переселения ремесленников-специалистов из различных местностей государства. Так, при Алексее Михайловиче вытребованы были из Астрахани черкесы, славившиеся выделкою булатных сабель и панцырей. В 1663 г. велено было собрать в Вологодских монастырских вотчинах скорняков и портных мастеров, с десяти человек по два и выслать их в Москву с женами и детьми. В 1678 году указано было выслать к Москве всех замочных мастеров, которые ведомы в Новгородском приказе. В 1680 году из Белоозера должны были быть отправлены в Москву

каменщики и кирпичники с детьми, братьями, соседями и захребетниками; в следующем году царский указ был подтвержден, причем если эти каменщики не захотят ехать к Москве, то их приказано было штрафовать.

Конечно, все эти переселения вызывались, преимущественно, потребностями царского двора, который, раскинувшись большой усадьбой в центре столицы, старался обставить себя множеством слобод, разбросанных и в самой Москве, и поблизости от нее, заселенных работными и ремесленными людьми. Так, хамовным делом, т. е. выделкой полотен на государев обиход, должны были заниматься слободы Хамовническая, Кадышевская и Тверская. Каждый хамовник работал «на дело», т. е. определенное количество пряжи или нитей, причем размеры годового урока соответствовали количеству дворовой земли, высшая норма которой определена была в 200 кв. саж. «Таким образом, — говорит профессор Довнар-Запольский, — государевы хамовные слободы представляли собой такие мануфактуры, в которых каждый рабочий работал у себя на дому».

Передача знаний известного мастерства происходила при посредстве вступления в учение к мастеру. Таким образом, были мастера и ученики; сверх того, встречается и термин «подмастерье». Можно думать, что подмастерьями назывались помощники мастера или даже старшие ученики. Срок ученичества продолжался обычно 5 лет; мастер обязывался выучить ученика своему ремеслу, уплачивая иногда ему при этом «пожилое» или наемную плату. По словам Посошкова, этот пятилетний срок при изучении тех или иных ремесел далеко не всегда соблюдался: поучится ученик год, другой, говорит он, и отходит от своего хозяина, начинает работать самостоятельно, «и цену спустит и мастера своего оголодит, а себя не накормит, да так и век свой изволочит, ни он мастер, ни он работник». Кроме учеников и подмастерьев, т. е. наемных работников, среди ремесленников попадает много так называемых «захребетников», т. е. людей, не плативших посадского тягла и живших за чужим «хребтом» или тяглом. Так, из документов, относящихся к сбору в Москве пятинных денег в 1642 году, видно, что на 626 ремесленников из числа посадских людей приходилось 158 захребетников, что составляло 25%.

Центром объединения ремесленников какого-либо мастерства являлся торговый ряд, а исполнительным органом этой торгово-

ремесленной корпорации был торговый староста. Ремесленники, стянутые в слободы, имели также и свою мирскую казну, пополняемую мирскими сборами, из которой выплачивалось жалованье выборным должностным лицам. Так, известно, что в конце XVII века староста Бронной слободы в Москве получал жалованья 12 рублей в год из мирских средств. Если Москва являлась центральным пунктом ремесленного производства и стояла на первом месте по количеству живущих в ней ремесленников,—в 1638 году их насчитывалось в ней 2367,—то и в других посадах, как можно видеть из приводимых статистических данных, ремесленники составляли довольно значительную по своей величине группу. Так, в Ростове в 1646 г. ремесленников было 170 человек; в Туле в 1625 году — 140; в Суздале в 1628 году — 65; в Устюге Великом в 1638 году — 457; в Угличе в 1674 году — 126; в Симбирске в 1678 году — 137; в Вятке в 1628 году — 90; в Нижнем-Новгороде в 1620 году — 520.

Нельзя, однако, говорить о Московской Руси XVII века, как о стране с чисто-кустарной или мелко-ремесленной промышленностью. У нас имеется целый ряд данных, указывающих на то, что как раз в XVII веке в России появляются заводы и фабрики, устраиваемые как иностранцами, так и некоторыми русскими людьми, часто при поддержке правительства. В громадном большинстве случаев эти крупные промышленные учреждения основывались или в столице, вблизи от царского двора и московского городского торга, или в тех местностях, где с давних пор развивалась какая-нибудь специальная отрасль ремесленного производства. Так же, как и в организации внешней торговли, иностранный капитал и иностранная техника играют видную роль в насаждении в России XVII века фабрично-заводской промышленности. По словам Рейтенфельса, в Московском государстве начала 60-х годов XVII века количество разного рода художников со дня на день увеличивается, между тем как раньше их было мало. Эти иностранные мастера приглашались на русскую службу с одним неизменным условием: «Нашего б государства люди то ремесло переняли». Это условие можно было легко выполнить, так как, по свидетельству иностранных наблюдателей, русские люди отличались большой смышленностью и переимчивостью. Олеарий, например, отмечает в своих записках ту быстроту, с которой русские все перенимали у иностранцев, а, по словам Рейтенфельса,

«сами русские так понятливы во всех родах искусства, что часто превосходят своих учителей-иностранцев».

Всего больше внимания Московское правительство обращало на развитие металлургической промышленности, что вытекало, естественно, из потребностей военного характера. Уже в 1626 году разрешен был свободный приезд в Россию английскому инженеру Бульмеру, который «своим ремеслом и разумом знает и умеет находить руду золотую, и серебряную, и медную, и дорогое каменьё и места такие знает достаточно». Еще при царе Михаиле несколькими саксонскими мастерами оборудован был в 7 верстах от Тулы большой горн, где выделывалось прутовое железо. В 1632 году голландскому купцу Андрею Виниусу дана была концессия на устройство железоделательных заводов близ Тулы с обязательством готовить для казны по удешевленным ценам «пушки, ядра, ружейные стволы и всякое железо». Позднее эти заводы отданы были двум иностранцам, Петру Марселису и Тильману Окаму, с условием пользоваться ими безоборочно в течение двадцати лет, а затем концессионеры обязаны были уплачивать правительству по 100 рублей с каждой плавильной печи. Завод должен был доставлять в казну по установленной цене оружейное и ядерное железо. При царе Алексее на заводах Марселиса лили пушки и огромные колокола; такие же пушки и колокола отливались иностранными мастерами в самой Москве на заводе, построенном еще в первой половине XVII века на Поганом пруде при реке Неглинной. По словам Олеария, этим московским заводом заведывал Ганс Филькен из Нюрнберга. В 1644 году иностранной компании с гамбургским купцом Марселисом во главе дано было разрешение на постройку железоделательных заводов по рекам Ваге, Шексне и Костроме, с тем, чтобы часть приготавливаемого железа по дешевой цене доставлялась в казну. В Олонце и недалеко от Мезени в значительном количестве выплавлялась медь. Во второй половине XVII столетия были еще железоделательные заводы в Туле и Петрозаводске, устроенные Миллером и Розенбушем. В самой Москве было три серебряных и один медный денежный двор, на которых в конце столетия работало до 264 мастеров.

Еще при царе Борисе правительство задумало ввести в Московском государстве мануфактурное производство сукна и поручило немцу Бекману достать в Любеке суконных мастеров. Несколько позже один иностранец Фон-Шведен завел первую сукон-

ную мануфактуру, но потерпел на ней значительный убыток. В 1684 г. по правительственному почину возникает несколько мануфактур для выделки различных материй: так, иноземцу Илье Тарбету разрешено было завести в Москве и Московском государстве суконные и шерстяные заводы; тогда же разрешено было другому иностранному предпринимателю устроить бумажную и хлебную мельницы, а также стеклянный и суконный заводы, а какому-то русскому промышленнику Павлову — бархатную мануфактуру. В половине XVII века возникают в России мыловаренные заводы, куда сбывали в большом количестве поташ. Близкий к царю Алексею боярин Б. И. Морозов основал в Сибири несколько поташных заводов. В первой половине XVII века началась в России выработка стекла. При царях Михаиле и Алексее существовало два стеклянных завода, — Измайловский и Духанинский. В 1634 году иностранный капитал проникает и в кожевенное производство: одному немцу дается привилегия на выделку лосиных кож, с запрещением русским промышленникам выделывать в течение десяти лет лосиные кожи на расстоянии 50 верст от завода. Вокруг столицы в XVII веке было много пороховых мельниц. В самой Москве, быть может, под непосредственным влиянием двора, на Девичьем поле, за Хамовниками, устроен был соляной завод, а в 1666 году на бечевном дворе — сафьянный завод. Впоследствии на этом сафьянном дворе мастера из грузин делали пробу окрашивания миткаля и холста «на кумашное дело». В 1658 году построен был царем Алексеем Кадашевский хамовный двор (нечто вроде большой полотняной мануфактуры). В записках царского врача Самуила Коллинса находим указания еще на другую полотняную фабрику, находящуюся в ведении царицы. «Царь, — по его словам, — построил в семи верстах от Москвы для обработки пеньки и льна красивые дома, очень обширные, в которых будет доставляема работа всем бедным в государстве».

Правительство не только само организовывало фабрики и заводы, но и было озабочено тем, чтобы промышленники-концессионеры имели в достаточном количестве рабочие руки. Так, к тульским железодельным заводам Виниуса была приписана целая волость дворцовых крестьян, к соликамскому, костромскому и тульскому заводам Марселеса 400 душ, а к заводам Окама — 200 душ. Стремясь расширить промышленную деятельность в стране, правительство организовало ряд экспедиций для

разыскания местонахождений тех или других природных богатств. Так, в 1666 году отправлен был на Двину полковник Кемпен для обозрения алебастровых гор, слюды, золота, серебра и изыскания средств для удобнейшей выварки соли из морской воды. В то же время на Мезень были отправлены «рудознатцы» князя Милорадовы для отыскания серебряных и золотых руд. Дьяку Шпилкину поручено было отыскать серебряную руду в 1661 году на Канином Носу, Югорском Шаре и реке Косве; сверх того, отправлены были искатели руды на Урал, на Тобол, в Кузнецк, Красноярск и в Томскую область. Разработка рудных залежей привлекала к себе внимание иностранных предпринимателей. Английская торговая компания ходатайствовала перед царем Алексеем о даровании ей права на разработку железной руды. Правительство по этому поводу совещалось с гостями, которые высказались в том смысле, что следует велеть искать английским людям железную руду в пустых местах. Интересны мотивы, которыми гости подкрепляли свое решение: «от такого-де позволения не будет убытка ни великому государю, ни им, гостям, потому что если англичане не найдут, то они одни и убытки потерпят; а если найдут, то русским людям кормление от того будет и железо будет дешевле, потому что из государевой земли за море железо нейдет, а идет железо в государеву землю от них из-за моря, да и самая находка железа в Московском государстве будет диковинкой». Из тех же «сказок», отобранных от гостей при обсуждении предложения английской компании, видно, что русские капиталисты, старавшиеся монополизировать в своих руках торговый оборот внутри страны, не считали убыточным для себя допущение иностранных предпринимателей к разработке природных богатств России. Английские же люди, по словам гостей, завели канатное дело, и от того было кормление многим русским людям бедным, которые у них работали, да и научились у них русские люди канаты делать.

4. Крупная промышленность начала XVIII века.

Концентрация торгового капитала, наблюдавшаяся в конце XVII века, была создана не правительственными мероприятиями, а естественной эволюцией торговли, преимуществами крупной торговли перед мелкой. Этот-то торговый капитал и явился базисом,

на котором основалось крупное производство в начале XVIII века. Если мы обратимся к именованным спискам петровских фабрикантов, то увидим, что они принадлежали к торговому сословию. Торговцев-разночинцев мы встречаем в начале XVIII века немного, еще реже среди петровских фабрикантов встречаются дворяне. Таким образом, крупная промышленность развилась в соответствующей среде, которая была создана всей предшествующей историей Московского государства — именно в среде крупных торговцев. Но сам по себе торговый капитал был слишком слаб и слишком инертен для создания новой промышленности — без помощи государства и без его поощрения дело не могло обойтись. Наша фабричная промышленность, как мы видели, и раньше развивалась под влиянием потребностей казны. Петр первоначально шел тем же испытанным путем — создавал казенные предприятия, имея в виду нужды казны, которые усилились вместе с устройством армии на европейский лад. Если к этому прибавим, что Петр впервые создал флот в России, то ясно станет, что существовавшая в те времена промышленность не могла удовлетворять нуждам государства. Отсюда многочисленные указы об учреждении Петрозаводского, Сестрорецкого и Охтенского металлургических и оружейных заводов, об устройстве селитерного завода в Казани, позже в Киевской губернии, в великороссийских и малороссийских городах, о создании полотняных предприятий и вывозе с этой целью мастеров из-за границы.

Однако, очень скоро меняется правительственная политика в том смысле, что той же цели — развития промышленности для казенных надобностей — старается достигнуть при помощи частных предпринимателей. Поэтому казенные предприятия передаются частным лицам. Сознание невозможности для казны вести промышленные предприятия появляется уже гораздо раньше, в XVII веке, но охотников находится немного, да и то из иностранцев. Только теперь — хотя и с большим трудом — нашлись частные промышленники. Так, в 1711 году велено было: «Полотняные заводы и в Ново-немецкой слободе, купленные дворы, которые ведомы в Посольском приказе, с призванными к тому делу мастерами-иноземцами, по договорам их, и русских людей, обучившихся тому делу, отдать купеческим людям, которые торгуют в Москве: Андрею Турке, Степану Цынбальщикову и другим». В следующем году приказано было и суконное предприятие отдавать

частным лицам с тем, чтобы через пять лет казна могла бы уже довольствоваться сукнами русского производства: «завод суконный размножать не в одном месте, а так, чтобы через пять лет не покупать мундира заморского... а заведши, дать торговым людям, собрав компанию».

В регламенте мануфактур-коллегии 1724 г. уже установлено общее предписание, касающееся промышленности: «казенные фабрики, уже заведенные, и те, которые будут заведены, передавать партикулярным лицам». Соответственно этому, Казанская суконная фабрика, основанная в 1714 г., через десять лет была передана казанцу гостиной сотни Микляеву с компанейщиками. В это время в этом предприятии числилось 40 станов, 587 человек мастеров и рабочих, и оставалось еще 673 половинки сукна на 9287 рублей.

В таких случаях образуются компании из лиц, именуемых «содержателями» предприятий: «А таким компаниям надобно, кажется, сочиненным быть из всякого рода людей, т. е. из мещан, купцов и дворян, так как то во многих государствах с великою пользою производят».

Не только в области обрабатывающей промышленности, но и в горном деле правительство стало передавать заводы в руки частных предпринимателей «для пресечения имеющихся в содержании казенных заводов напрасных убытков». И здесь появляются компании держателей, получающие на определенных условиях казенные предприятия «в собственный их промысел». Наряду с такого рода предприятиями, появляются и частные, непосредственно учреждаемые отдельными лицами, но со всевозможными поощрениями со стороны правительства, ибо сие дело «сначала не без великого труда, а наипаче не без убытка может произведено быть». В 1717 году Шафирову и Толстому велено «труд приложить, дабы в нашем государстве учредить фабрику или художество всяких материй и парчей», а так как ее «без всяких иждивений и долгого времени завести и в доброе состояние привести невозможно, то упомянутым лицам даются всевозможные льготы, как то: свобода от всех податей, право беспошлинной продажи своих изделий в течение 50 лет в трех городах, где они те заводы завести заблагорассудят, на первое время готовые дворы строением безденежно, в особенности же исключительное право устраивать в России такое предприятие».

Таким образом устраивались и поддерживались не только мануфактуры, на которых выдвигались товары, требуемые казною, как солдатское сукно, полотно, писчая бумага и проч., но также и всякие другие мануфактуры, например, шелковые, чулочные и ленточные, заводы стеклянные, табачные и другие, производившие предметы роскоши, в которых казна не нуждалась. Новые отрасли промышленности могли возникнуть только в форме крупных промышленных заведений. Мелкий производитель - кустарь не обладал ни капиталом, ни знанием, необходимым для этого дела. Правда, купец, устраивавший фабрику, был так же невежествен, как и кустарь, но зато, благодаря капиталам, он мог выписать иноземных мастеров, приносивших с собою технические знания, которых всего более не хватало России.

Из числа мануфактур, возникших при Петре, были и очень крупные: горные казенные заводы в особенности отличались огромными размерами. Об этом можно судить по тому, что к 9-ти Пермским заводам было приписано 25 тысяч крестьян мужского пола. На казенной парусной фабрике в Москве было 1152 рабочих. Но и на частных фабриках производство велось в крупных размерах. На Московской суконной фабрике компанейщиков купецких людей Щеголина «с товарищи» в 1729 г. работало 730 рабочих на 130 станах; Московская полотняная фабрика Тамеса с компанией имела 443 стана и 841 раб.; на шелковых мануфактурах компании Евреинова в 1728 г. работало до 1500 мужчин и женщин.

Однако, всех тех льгот и преимуществ, которыми наделялись промышленники, было недостаточно. Сплошь и рядом не хватало самого главного — капитала для учреждения предприятия и ведения его. Этим капиталом в значительной мере снабжала предпринимателей казна: от нее же они нередко получали, но безвозмездно, не только строения, но и материалы и инструменты; получали и денежные суммы. Так, например, Щеголин с товарищами в 1720 году получил строения и инструменты суконного двора вместе с мастерскими и сверх того деньгами 30 т. руб. в беспроцентную ссуду; та же ссуда в 30 т. выдана Докучаеву на устройство суконного предприятия в том же 1720 г., а в 1724 Докучаев получил еще 30 тысяч.

Интересны и суммы, вложенные самими предпринимателям. Капитал, внесенный в учрежденную графом Апраксиным ману-

фактуру, составлял 90 тысяч, но из них Апраксин сам внес 20 тысяч, остальная сумма была внесена Шафировым, Толстым и различными приглашенными купцами. Но они получили ссуду от казны в 45 с половиной тысяч рублей. В компании Меньшикова капитал составлял всего 21 с половиной тыс. рублей, причем ему самому принадлежало всего 10 тыс., а остальная сумма разложилась на трех участников.

Сбыт изготовленных изделий обеспечивался, главным образом, приобретением их казной. Самые крупные заводы и фабрики—оружейные, пушечные, литейные заводы, суконные, паруснополотняные, писчебумажные фабрики—поставляли свои изделия исключительно или главным образом в казну. В тех случаях, когда товар не требовался в казну, сбыт фабричных изделий обеспечивался высокой пошлиной, а иногда прямым запрещением ввоза иностранных товаров того же рода или даже монополией производства, предоставленной отдельным фабрикантам. В 1718 году был запрещен ввоз из-за границы каразеи (род шерстяной материи); тарифом 1724 года все товары, производство которых в России к этому времени достигло уже значительного развития, были обложены высокой пошлиной, в 50—75% своей ценности. Этой пошлиной, например, были обложены скатерти, салфетки, полотна, парусина, шелковые ткани, иглы, железо не в деле; писчая бумага, кожаный товар, чулки, шерстяные ткани (краш. сукна) обложены были более умеренной покровительственной пошлиной в 25%.

Этот покровительственный, отчасти даже запретительный тариф был издан в угоду и для поддержки крупных фабрикантов, причем интересы широких слоев населения совершенно игнорировались.

Первые фабриканты выходили из рядов купечества, разночинцев или иностранцев. Сама жизнь ставила вопрос: каким же образом фабрики будут получать нужные им рабочие руки? При учреждении фабрики владельцу давалась обыкновенно привилегия, которой ему разрешалось свободно нанимать русских и иноземных мастеров и учеников, «платя им за труд достойную плату». Если фабрикант получал уже устроенную фабрику от купца, то ему нередко передавались вместе с фабричными строениями и фабричные мастерские. Иногда, для снабжения фабрик рабочими руками, к фабрикам приписывались целые села. Например, Тамес получил к своим полотняным фабрикам село Кохму в Шуйском уезде, с

641 крестьянским двором. Но в большинстве случаев фабриканты должны были сами присваивать себе рабочих путем найма. Это было в высшей степени трудно. Игольным компанейщикам Томилину с товарищами указывается брать для работы и для обучения на фабрики «из бедных и малолетних, которые ходят по улицам и просят милостыню». Шелковый фабрикант Милютин говорит, что набирает учеников из «убогих людей». Но главным контингентом фабричных рабочих были беглые крепостные и казенные люди. Работа беглых имела такое значение для фабрикантов, что правительство, несмотря на то, что именно в это время состоялось прикрепление населения, должно было допустить очевидное нарушение закона. Указом 18 июля 1721 года воспрещено возвращать с фабрик законным владельцам мастеров и учеников, «чьи бы они ни были, хотя и беглые явятся, понеже интересанты фабрик объявляют, что затем в фабриках их чинится остановка».

Но несмотря на все эти меры, рабочих рук на фабриках все-таки не доставало. Из каких элементов восполнялся этот недостаток, видно из того, что на полотняные фабрики Андрея Турчанинова с товарищами предписывается отсылать «для пряжи льну баб и девок, которые, будучи на Москве из приказов, также и из других губерний, по делам за вины свои наказаны». Указом 1721 года эта мера сделана общей: женщины, виновные в разных проступках, отсылались, по усмотрению мануфактур- и берг-коллегии, для работы на компанейских фабриках на некоторый срок или даже пожизненно.

Таким образом, контингент фабричных рабочих слагался из самых разнообразных общественных элементов: беглые, крепостные, бродяги, нищие, даже преступники. Петровские фабрики были, по терминологии Маркса, мануфактурами, работа на них производилась руками. Производительность труда на мануфактурах зависит, главным образом, от ловкости и искусства рабочего: состав рабочего персонала на мануфактурах имеет особенное значение. Западно-европейские мануфактуры возникли на развалинах ремесла. Наша мануфактура возникла при совершенно иных условиях. Не только искусных, обученных рабочих получить было неоткуда, но даже и необученных рабочих доставать было крайне трудно. При таких условиях работа вольнонаемными рабочими оказывалась почти невозможной. Принудительный крепостной труд был единственным выходом из такого положения. Малая производительность труда

должна была возмещаться для фабриканта усиленной эксплуатацией рабочего, главным образом, уменьшением расходов на содержание последнего.

Поэтому петровские фабрики не могли держаться вольнонаемным трудом. Этим и объясняется знаменитый указ 18 января 1721 года, которым на «купецких людей» распространено в высшей степени важное право покупать к фабрикам и заводам населенные деревни, «под такую кондицию, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно». Этим указом вопрос о снабжении фабрик рабочими руками был решен в направлении, определявшемся общими социальными условиями. Вместо капиталистического производства с вольнонаемными рабочими, у нас водворилось крупное производство с принудительным трудом.

Переход русских фабрик от вольнонаемного к крепостному труду был возможен лишь вследствие низкой производительности труда, благодаря чему принудительная работа оказалась более выгодной для фабриканта. С другой стороны, крепостные отношения делали невозможным поднятие производительности труда. Пока работа на фабриках имела принудительный характер, она должна была оставаться малоуспешной. В этом и заключалась основная причина медленности развития нашей фабричной промышленности в течение всего XVIII века.

Товары, изготовлявшиеся на наших фабриках, отличались крайней дороговизной и низким качеством; об этом можно судить, между прочим, по любопытным показаниям московских торговцев в 1727 году. По высочайшему указу от них были отобраны отзывы, «которые из русских компанейщиков и заводчиков доброй работы против вывозных». Ответы оказались весьма неблагоприятны для наших фабрикантов. Так, например, старосте суровского ряда Калмыков заявил от имени суровских торговцев, что шелковые товары и бархаты «против заморских работою не придут, а ценою продаются из фабрик выше заморских». Если бы правительство разрешило свободный привоз заморских шелковых материй, то купечество было бы, по завлению Калмыкова, много довольно. Староста москательного ряда заявил, что «русский купорос, краска бакан, вохра против заморских ничто добротою не будет и весьма плоше и заморского ценою вдвое дороже»; повторяется просьба о свободном привозе заморских товаров. О ленточных и полотняных товарах купечество заявило, что они «работою против заморских

весьма плохи, а ценою продаются свыше заморских». Такие же жалобы на неудовлетворительное качество и высокую цену русских фабричных товаров мы встречаем и в заявлениях торговцев игольного ряда. Почти все торговцы высказывались в пользу облегчения ввоза заграничных товаров.

Эти отзывы московского купечества интересны также и тем, что они характеризуют отношение массы русских торговцев того времени к вновь образовавшемуся классу фабрикантов. Как мы видим, московское купечество относилось к фабрикантам недоброжелательно; фабриканты пользовались разными привилегиями, монополизировали внутренний рынок и, кроме того, стремились захватить в свои руки и розничную торговлю своими произведениями.

В этой борьбе массы купечества с фабрикантами можно видеть продолжение старинной борьбы крупного и мелкого купечества в Московском государстве.

Все эти основанные при Петре мануфактуры лопнули одна за другой, и едва десятая часть их довлачила свое существование до второй половины XVIII века.

Уже в Московскую эпоху промышленность была достаточно стеснена монополиями и привилегиями, но и те и другие стесняли приложение капитала, так сказать, отрицательно, указывая ему, чего он не может делать. Петр пытался учить капитал, что он должен делать и куда ему следует идти, предписывал «заводы размножать не в одном месте, так чтобы в пять лет не покупать мундира заморского, и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю, а за завод деньги брать погодно с легкостью, дабы ласковей им в том деле промышленлять было».

Мы слышали о крепостных рабочих при Петре, но о крепостных предпринимателях приходится слышать гораздо ранее, а этот тип несравненно любопытнее. В 1715 году до Петра дошло, что русскую юфть не хвалят за границей, так как она скоро портится от сырости, благодаря русскому способу выделки. Немедленно было предписано делать юфть по-новому, для чего разосланы по всей империи мастера: «сему обучению дается срок два года, после чего, если кто будет делать юфти попрежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения».

К каким результатам приводило такое отеческое попечение, показывает известная судьба северо-русского холстоткачества.

Русский холст, русское полотно в большом количестве шли за границу. Иностранцы купцы как-то заявили царю, что русские посылают к ним очень узкое полотно, которое невыгодно в употреблении и потому ценностью гораздо дешевле широкого. Немедленно строжайше запрещено было ткать узкие полотна и холсты. Но в избах русских кустарей негде было поставить широкие берда, и кустарное холстоткачество совсем завяло, причем разорилось и много купцов, промышлявших сбытом этого товара.

Такие же результаты имело запрещение псковичам торговать льном и продуктами из льна с Ригой. Это запрещение имело целью поощрить торговлю петербургского порта. Что весь этот поход на кустарное ткачество имел в виду поддержать крупные полотняные мануфактуры, заводившиеся в то же время (одна из них принадлежала императрице), это едва ли может подлежать сомнению.

В результате, на место десятков тысяч разоренных ткачей, получилась одна полотняная мануфактура Тамеса, где, правда, изготовлялся товар, по отзывам иностранцев, не хуже заграничного, но которая могла сводить концы с концами только благодаря тому, что в виде подкрепления к ней было приписано целое большое село с 641 крестьянским двором.

Плохо отразился на внутреннем рынке и приведенный нами выше тариф на большую часть привозимых из-за границы фабрикатов.

В число высокопошлинных товаров попало железо, уже за пятьдесят лет до этого ставшее предметом массового потребления. А фабриканты, в интересах которых шелковые ткани были обложены запретительными пошлинами, просили вновь разрешить им ввоз шелковой парчи на том основании, что их собственная мануфактура «не может скоро в такое состояние прийти, чтобы могла удовлетворять парчами все государство».

Они считали более выгодным для себя получить в руки контроль над торговлей заграничными шелковыми товарами, «чтобы мы по своему усмотрению могли ввоз одних парчей позволить, а других запрещать». Капитал, загнанный дубиной в промышленность, опять просился в торговлю. Под этим прошением стояли подписи трех из числа крупнейших персон двора — адмирала Апраксина, вице-канцлера Шафировова и Петра Толстого, владевшего крупнейшей шелковой фабрикой. В одной Москве шелковых фабрик было пять. В связи со знакомым нам положением России

во всемирной торговле шелком в те времена, увлечение идеей сбывать на Запад, вместо сырого шелка, шелковые изделия было вполне понятно. Но попытка конкурировать с Лионом или Утрехтом была детской затеей для государства, где промышленность еще только зарождалась. Староста московского суровского ряда официально заявил, что шелковые ткани отечественного изделия «против заморских работою не придут, а ценою продаются из фабрик выше заморских», и от лица всех суровских торговцев староста просил о свободном ввозе заграничных шелковых материй.

Все предприятие было типичной авантюрой и скоро лопнуло, а между тем на него тратились крупные казенные деньги и отвлекались капиталы от других мануфактур.

Так же проявлял себя меркантилизм в железоделательной промышленности: на железо были наложены почти запретительные пошлины, а в то же время казенные тульские заводы были поглощены изготовлением оружия, которого так много требовала реформированная армия. Обслуживание же народного потребления было в руках привилегированных предпринимателей-монополистов, вроде знаменитого Демидова и царского родственника Александра Нарышкина.

Выросший на царских монополиях, окруженный условиями ремесленного производства, русский торговый капитал очень плохо приспособлялся к тому широкому полю действия, на котором он очутился в начале XVIII столетия, не столько выйдя туда по доброй воле, сколько вытолкнутый напором западно-европейского капитала. Этому последнему и досталась львиная доля всех барышей: в то время, как в XVII столетии максимальное число кораблей в единственном тогда русском порте Архангельске не превышало сотни в год, в год смерти Петра в Петербурге было 242 иностранных судна, да кроме того в Нарве 170, в Риге 386, в Ревеле—44, в Выборге—72; запустел только Архангельск, куда пришло всего 12 судов из-за границы. С 1718 года торговля через этот порт была обставлена такими затруднениями, что иностранцы стали его избегать. В общем же по числу кораблей русская отпускная торговля выросла за полстолетие, со времени Кильбургера, раз в 8—10. «А русского купечества в это время было весьма мало, и можно сказать, что уже вовсе не было,—ибо все торги отняты от купцов и торгуют оными товары высокие персоны и их люди и крестьяне». Этот отзыв неизвестного прожектера, «обретавшегося в Голландии»,

вполне подтвердили косвенно и сами «высокие персоны» очень скоро после смерти Петра. В 1727 г. в комиссии о коммерции при Верховном Тайном Совете Меньшиков, Макаров и Остерман подали «мнение», где соглашались, что «купечество в Российском Государстве едва ли не вовсе разорено», и что нужно «немедленно учредить комиссию из добрых и совестных людей, чтобы оное купечество рассмотреть и искать сию государственную так потребную жилу из корени и фундамента излечить». Рекомендовалось пересмотреть промышленные предприятия петровской эпохи, рассудив о фабриках и мануфактурах, «которые из оных к пользе государственной, а которые к тягости», и предупредить на будущее излишнее размножение таких «тягостных предприятий», запретив купечеству «впредь деревни покупать». «А помещикам самим торговать», дипломатично прибавляло «мнение»: «но паче повелеть им крестьянам своим в промыслах и в размножении всяких деревенских заводов сильное вспоможение учинить». Дав некоторые подачки буржуазии, торг знатым персонам через своих людей предлагалось увековечить. Так рядом с иностранными капиталистами перед нами появляется другая социальная группа, пожившая плоды «преобразований»: то была новая феодальная знать, под именем «верховных господ», начавшая править Россией на другой день после смерти Петра.





4. Социально-политическая жизнь общества в России в XVII—XVIII веках.

1. Индустриализация крепостного хозяйства в XVIII веке и влияние этого на социальный строй.

Если уже к XVIII веку торговый капитал в России вполне завладел процессом обмена, то производство стало у нас капиталистическим лишь гораздо позже—не ранее второй половины девятнадцатого столетия. До этого времени, в промежутке, хронологическими границами которого являются, с одной стороны, реформы Петра (1690—1720 г.г.), с другой—реформы Александра II (1860—1870 г.г.), в России господствовал смешанный тип хозяйства: на капиталистических началах обменивались продукты не капиталистического, ремесленного производства—преимущественно продукты крестьянского труда. Крестьянин, самостоятельный мелкий производитель, продавал добытое им сырье—хлеб, лен, пеньку и т. п.—купцу, который, сосредоточивая в своих руках массу этого сырья, являлся уже не мелким, а крупным сбытчиком. Крестьянин и раньше работал не только для собственного потребления, но и для рынка. Но это был мелкий местный рынок, на который крестьянин являлся со своими продуктами сам и продавал их тем, кто в них нуждался, без посредников. Если при этой торговле и получался какой-нибудь «торговый барыш», он попадал в карман тому же крестьянину. Притом этот барыш был случайностью: как общее правило, ремесленное производство не знало прибыли. Целью всей деятельности купца была именно прибыль. Чтобы получить ее, он должен был покупать как можно дешевле, продавать как можно дороже. Он стремился отобрать продукт у крестьянина по минимальной цене. Само собой разумеется, что было бы странно ожидать от крестьянина уступчивости в этом вопросе по его, крестьянина, доброй воле. Его нужно было заставить продавать свой хлеб за гроши. Отчасти этого достигало косвенными мерами государство, находившееся под сильным влиянием торгового

капитализма: с ведома и разрешения государства откупщики спаивали народ, пропивавший при этом не только хлеб, но и вообще всякое свое имущество. Но на подобных вспомогательных средствах хозяйство торгового капитализма держаться, конечно, не могло: ему нужна была система. Эту систему он нашел готовой в лице крепостного права. Помещик охотно взялся выжимать из крестьянина «прибавочный продукт»—на условии, конечно, «участия в прибылях». Помещик получал добрую долю торгового барыша в свою пользу (купцы жаловались, что даже слишком добрую—им мало оставалось), а за это поставлял на рынок до возможного предела удешевленный хлеб. Это была далеко не такая простая операция—пришлось приспособить весь механизм помещичьего хозяйства к этой цели, превратив имение в «фабрику для производства хлеба». Таким путем на русской почве сложился совершенно своеобразный тип хозяйства. Именно его застала реформа 19 февраля: когда мы говорим о «крепостном праве», именно его вспоминаем, как наиболее к нам близкий и нам знакомый образчик крепостного права. Отсюда и будет правильно назвать этот тип крепостным хозяйством по преимуществу.

Интенсивное крупное хозяйство, как массовое явление, не старше у нас 1860-х годов. Ранее этого помещичье земледелие было настолько мало интенсивно, что даже такая элементарная мера, как удобрение, применялась далеко не везде. На нечерноземном севере к этому вынуждало качество почвы; как только леса бывали сведены и подсечное хозяйство оказывалось невозможным, быстро являлся вопрос, как же заставить землю родить хлеб. Первоначальным удобрением служила зола выжженного под пашню леса; как только ее не стало, пришлось искать ей заместителей, и покупка навоза, ради удобрения, встречается нам, в единичных случаях, уже в конце XVII века. Агрономы второй половины следующего столетия говорят о ней, как об обычном явлении, но еще не менее обычно было и то, что крестьянская земля, особенно дальние полосы, не удобрялась вовсе. Это в нечерноземной полосе, где хлеб, как правило, не шел дальше местного рынка. Но настоящим районом «хлебных фабрик» были черноземные губернии, и здесь даже в сороковых годах XIX столетия удобрения еще не знала не только крестьянская, но и барская земля.

Вся «наука» крепостной агрономии сводилась к более или менее искусной организации повинностей крестьянской семьи.

В центре этих повинностей стояла барщина. Уже в предшествующий период часть земли в деревне пахалась крестьянами не для себя, а на барина. Но сначала эта часть была очень невелика, и барская пашня не имела никакого коммерческого значения. Собиравшийся на ней хлеб шел отчасти на потребление самого барина с его дворней, отчасти, может быть, и на местный рынок—наравне с крестьянским хлебом. Но размеры барской пашни XV и даже XVI столетия ясно показывают, что дело тут шло не о «сельско-хозяйственном предприятии», во всяком случае.

В первой половине XVIII века пахать «десятину на десятину» считалось максимумом. Известный историк Татищев, оставивший в 1742 году «Краткие экономические до деревни следующие записки», требует, чтобы каждое тягло («муж с женой») сработало на помещика «в каждом поле по десятине» (у Татищева была четырехпольная система); «притом смотреть, чтобы не менее крестьянину досталось земли мужу с женой десятины в поле». Во второй половине этого столетия не менее известный автор мемуаров, Болотов, считал 50% барской пашни средней нормой, если не минимумом. «По большей части почитается за правило»,—писал Болотов в своем «Наказе для прикащика», составленном около 1770 года,—«чтобы крестьянин столько же земли пахал на господина, сколько он для себя вспахать может, или сколько под собою имеет, и потому следовало бы то число земли разделить пополам, сколько крестьяне силами своими вспахать и надлежащим образом в год уработать в состоянии, и одну половину оставлять ему, а другую на господина. Легче и способнее сего для них быть уже не может, ибо часто случается, что они и гораздо более половины на господина пашут». В Каширском уезде, где жил Болотов, барская и крестьянская пашня при этом не разделялись—та и другая лежали череполосно, половину полос крестьяне пахали на себя, половину на барина.

Но обработка барской пашни брала далеко не все время барщинного крестьянина. Как бы тяжела ни была барщина (во второй половине XVIII века встречались «такие строгие помещики, которые крестьянам и одного дня в неделю на себя работать не дают»), она в общем могла взять у крестьянина не более половины всех рабочих дней, и это по той простой причине, что сельские работы в России, по климатическим условиям, возможны

лишь в течение меньшей половины года. В средне-русских черноземных губерниях эти работы продолжаются, считая уборку и молотьбу хлеба, месяцев пять, в северных губерниях даже только четыре, и лишь в самых южных полгода. Но огромной ошибкой было бы думать, что в остальное время барщинные крестьяне «отдыхали». Всего менее. Хлеб не только производился, но и доставлялся на рынок крестьянами. «Возы возити на господина» обязывала крестьянина еще Псковская Судная грамота. В XVI веке повоз является вместе с барщиной, и в половине этого столетия он был организован в имениях Соловецкого, например, монастыря очень правильно. Было установлено не только, сколько возов должны поставить крестьяне, но и сколько какого хлеба можно накладывать на каждый воз: ржи по четыре четверти, а овса по шести, гречневой крупы по пяти четвертей. «А пшеница, и горох, и семя, и крупа запарная, и толокно класти противу ржи». Был установлен и масштаб крестьянских зимних поездок: за среднюю норму принималось расстояние до Вологды, где был ближайший для сел Соловецкого монастыря хлебный рынок; «а случится повоз везти к Москве или на Белоозеро или ближе Вологды, или дале Вологды, и крестьянам с прикащиками в том счет против Вологды» (грамота 1561 г.).

Двести лет спустя все это было разработано еще детальнее, до «всесовершенной точности». Хваставшийся такою точностью помещик возил хлеб в Москву, где цены были самые выгодные: по словам Болотова на месте продавали хлеб только крестьяне и разве самые бедные помещики; кто побогаче, возили, по крайней мере, в уездный город или на ближайшую речную пристань, за несколько десятков верст, а крупные землевладельцы не мирились меньше, чем на Москве, хотя бы у них, как у цитированного нами сейчас помещика, некоторые имения были не ближе 400 верст от Москвы.

Один экономист 1840-х годов высчитал, что подвоз хлеба к рынкам брал зимою не менее трети крепостного труда—другими словами, к пяти месяцам барщинной работы летом необходимо прибавить, по крайней мере, два—три с половиной месяца такой же работы зимой.

Барин находил, что и за всем этим у мужика все же остается слишком много свободного времени, и что это для мужика крайне вредно, не только морально, но и физически. «От праздности

крестьяне не только в болезнь приходят, но и вовсе умирают», писал Татищев: «спят довольно, едят много, а не имеют муциону». Чтобы обеспечить крестьянину «муцион» в те месяцы, когда он не был занят ни полевыми работами, ни подводной повинностью, самое простое было выгнать его на заработки в город. В подмосковных губерниях так и делалось: по расчету одного новейшего исследователя, «в конце XVIII века около 20% всего мужского населения Ярославской губернии уходило на заработки на сторону».

То же было и в Кашинском уезде Тверской губернии и в Каширском нынешней Тульской и т. д.: экономисты Екатерининских и Александровских времен в один голос говорят об огромном скоплении оброчных крестьян в Москве, усматривая в этом даже некоторую опасность для земледелия, и уже, конечно, для крестьянской нравственности. Где он, крестьянин, научается роскоши, где вольнодумству, где высокомерию, как не в городе, патетически восклицает один из них. По природной своей простоте, он скорее, нежели кто другой, по самому первому побуждению к тому имеет поползновение, а сие, я думаю, потому больше делается, что он живет не в природном своем местопребывании, но на стороне, а потому и на воле, которая, как обыкновенно, всякого почти портит. Чтобы избежать таких вредных для крестьян последствий, более дальновидные помещики старались найти им работу на месте, у себя в деревне. Самым простым и более всего ведущим к цели способом было развитие в деревне кустарных промыслов. Корни этого явления опять-таки уходят в глубокую старину. Из одной грамоты XIV века мы узнаем, что уже тогда этим занимались лучшие хозяева своего времени, монастыри: а лен даст игумен в села, и они прядут, говорит грамота. В XVIII столетии это было уже массовое явление, и крестьянский мануфактурный труд был правильно введен в рамки барщинного хозяйства нечерноземной полосы. В том же Кашинском уезде, где был так силен отход крестьян на заработки, не было почти ни одного помещичьего дома, где бы не было нескольких ткачей для тканья полотен, которые в Москве продают аршин по пятьдесят и по шестьдесят копеек, многие помещики сим большие барыши получают. Полотняное ткачество было развито здесь так сильно, что своего, местного льна иногда не хватало, и его прикупали на Ростовской ярмарке. Общее значение крепостного кустарного ткачества достаточно иллюстрируется тем фактом, что русские полотна в конце

XVIII века были предметом широкого сбыта за границу: в 1793—1794 годах их вывозили до пятнадцати миллионов аршин, на сумму более четырех миллионов рублей тогдашних (около 10 миллионов рублей довоенных). Только распространение хлопчатобумажных материй в XIX веке убило эту важную статью крепостного хозяйства.

Кустарничество в наши дни вытесняется фабрикой: от крепостного кустаря один шаг был до крепостной фабрики. Первые образчики крупной промышленности, возникшие в России в XVIII веке,—железоделательные заводы, работали вольнонаемным трудом. Это было возможно потому, что эти заводы в свое время были исключительным явлением; как только, в связи с развитием меркантилизма, крупное производство начинает принимать у нас массовый характер, свободных рабочих рук начинает не хватать, и начинаются поиски суррогатов свободного рабочего. Рядом указов, идущих с петровской эпохи, в распоряжение фабрикантов отдаются арестанты обоюго пола, бродяги, нищие, проститутки и, наконец, «солдатские, матросские и разных других служилых людей жены». Но готовый источник несвободной рабочей силы был под руками—это были крепостные крестьяне. Странно было бы все время идти обходными путями и не обратиться к прямому. Шаг был сделан уже при Петре Великом. Законом 18 января 1721 года было разрешено «как шляхетству, так и купецким людям» к заводам «деревни покупать невозбранно, с позволения Берг-и Мануфактур-коллегии, токмо под такую кондицию, дабы те деревни всегда были при тех заводах неотлучно». Последняя оговорка была направлена против «купецких людей»: опасались, что эти последние, под предлогом заведения крепостных фабрик, начнут себе попросту покупать населенные имения и тем втихомолку, присвоят себе дворянскую привилегию.

Опасения оправдались—и через 40 лет, в 1762 г., был издан указ, воспрещавший купцам покупать крепостные деревни под каким бы то ни было видом, но это отнюдь не было упразднением крепостной мануфактуры—только последняя стала теперь, как и крепостное имение вообще, исключительно «шляхетским», т. е. дворянским делом.

Закон шел в направлении экономической эволюции, а не против нее. Избыточное население давало готовый контингент фабричных работников, именно, в руки владельцев крепостных

имений, и они воспользовались этим своим преимуществом еще раньше закона 1762 года, который только убрал с поля последних их конкурентов.

У Болотова мы встречаем и настоящую «систему домашнего производства», с переходом даже к мануфактурной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли «в домах своих за плату». Но и там, где лен покупался и раздавался помещиком, а потом холстина ему же отдавалась в виде оброка, разница с домашней промышленностью была больше юридическая, чем экономическая. Крестьянин эксплуатировался уже, как современный нам кустарь; только поле эксплуатации было сужено: эксплуататором являлся не экономически сильнейший, а тот, кто имел над крестьянином власть и мог его принудить отдать свой продукт внеэкономическим путем. С другой стороны, дворовые женщины и девушки, ткавшие в барской усадьбе полотна высших сортов, очевидно, были зародышем настоящей мануфактуры, отличавшейся от западно-европейской опять-таки только юридическим положением работника. То, что Петр напрасно старался вызвать к жизни, уничтожая конкурировавшего с мануфактурой кустаря, теперь росло само собой из того же самого кустарничества.

Наглядную схему превращения маленького домашнего заведения в небольшую фабричку дает Орловский помещик Погодин. Он советует своим братьям заводить на первое время «таковые рукоесла, фабрики, заводы и прочие работы — самые небольшие», и рисует такую примерную картину: «Помещик, имеющий сто душ ревизских, может завести фабрику на первый случай не более пяти или шести станов и бечевую прядильню, и как уже не безызвестно всякому, что на сих обеих работах могут заниматься от 10- и до 15-летнего возраста крестьянские дети обоого пола, под надзором совершенного возраста людей, и которые к тяжелой полевой работе не так еще привыкли и способны и, по большей части, бывают праздны»...

Помещик начала XIX века, как видим, не хуже своего современника, английского капиталиста, умел понять, как выгодно эксплуатировать детский труд. Мало того, он постигал уже, что одним внеэкономическим принуждением в этом случае не обойдешься, и предлагал назначить маленьким работникам денежную плату, настолько, впрочем, безобидную для помещика, что послед-

ний при этом получал «второе или вчетверо» более, нежели от оброка, т. е. от отхожих промыслов крестьян.

В дворянских руках крепостная индустрия продолжала процветать, как хвастались представители дворянства, еще лучше, нежели в купеческих. «Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разные рукоmesла и трудолюбие и подали способ государству довольствоваться теми вещами своими, которые оно прежде от других народов получало», говорил в 1767 году Щербатов в Комиссии для сочинения нового уложения. По его словам, с 1742 по 1767 год количество суконных фабрик, благодаря дворянскому предпринимательству, с 16 увеличилось до 76, а полотняных с 20 до 88.

В начале XIX века некий коллежский секретарь Михайла Швитков, представивший Вольному Экономическому Обществу сочинение «О двух главных способах, назначенных к лучшему деревней управлению», ссылается на помещичьи фабрики, как на нечто прочно укоренившееся, и нужно посмотреть, с каким торжеством он о них говорит. «По поместьям и действительно есть многие таковые заведения, и существуют уже несколько лет, не приходя ни мало в упадок, между тем как по городам на нашей уже памяти скоропостижно возникшие разного рода фабрики и заводы, существовавшие весьма краткое время, скоропостижно упали. Суконные и другие фабрики князя Юсупова, состоящие в его поместьях, как известнейшие всему обществу, могут служить ближайшим всему сказанному в сей статье примером. Подрядчики и самые казенные места, по близости тех заводов и фабрик состоящие, с какою выгодой получают от них изделия их, то докажут всегда они сами».

«Попечение о стяжании множества денег стало быть общим», писал Швитков: «и, как кажется, единственно в том предмете, что оными думают заменить во всякое время другие свои недостатки».

«По приказным вотчинным делам не так известно, как по приватным сведениям, что многие помещики по пристрастию к одному только денежному богатству перестали уже существовать помещиками».

В начале XIX века в списке фабрикантов мы встречаем самые громкие имена русского дворянства — князей Барятинских, Юсупова, Шаховского, Хованского, Урусова, Щербатова. Прозо-

ровского, графа Разумовского, Безбородко, Салтыкова и т. д. Появились теоретики дворянских фабрик с крепостным трудом, как раньше были теоретики сельско-хозяйственной барщины. Можно поверить этим теоретикам, что вотчинная фабрика могла дать помещику «втрое или вчетверо» более доходу, нежели самый высокий оброк с его крестьян. Но этим последним, конечно, дело представлялось с обратной стороны. «В последние годы появилось новое несчастье для бедного русского мужика—суконные и другие фабрики», писал декабрист Н. И. Тургенев в своей известной книге о России, изданной при Николае I за границей. «Помещики помещали сотни крепостных, преимущественно молодых девушек и мужчин, в жалкие лачуги и силой заставляли работать... Я вспоминаю, с каким ужасом говорили крестьяне об этих заведениях; они говорили: «в этой деревне есть фабрика» с таким выражением, как если бы хотели сказать: «в этой деревне чума». На этой «чуме» целиком держались два производства, одно из которых имело колоссальное значение для русского народного хозяйства, другое приобрело даже значение международное. Первым было винокурение, сделавшееся с 1765 года дворянской привилегией. Водка в России курилась, конечно, и раньше, но более или менее кустарным способом. Первыми остзейские дворяне, во многом учителя русских (между прочим, и розги пришли к нам из Прибалтийского края на смену московским «батогам», т. е. палкам), додумались до мысли, что гораздо выгоднее сбывать на рынок вино, выкуренное из хлеба, нежели самый хлеб: «Одна лошадь свезет в город на столько вина, на сколько шесть лошадей хлеба», писал один Екатерининских времен агроном остзейского происхождения. В Лифляндии винокурение быстро развилось до того, что эта область, в допетровские времена массами вывозившая хлеб, во второй половине XVIII века начала его ввозить для своих винокурен. И не мудрено: винокурение давало помещику до 100% чистого дохода, а общий его сбыт на рынке доходил до 20 миллионов рублей на наши деньги—половина всего дохода помещичьих фабрик. Вторым были уральские горные заводы, не только снабжавшие железом всю Россию, но и вывозившие его за границу миллионами пудов, причем на английском, например, рынке оно шло первым сортом. Вся уральская руда была в руках крупного дворянства—на первом месте стояли Строгановы (другая уральская династия, Демидовы, купеческая по проис-

хождению, скоро одворянилась и слилась со знатью). Ее обработкой было занято более 25 тысяч крепостных уже при Екатерине II, причем вольных рабочих на Урале вовсе не было. Крупнейшая индустрия тогдашней России основывалась сплошь и без исключения на рабском труде.

Барщинное хозяйство было наиболее прямым и непосредственным способом выжимать из крестьянина «прибавочный продукт», необходимый торговому капиталу. Другая форма, в которую складывались отношения помещика к крестьянину при крепостном праве,—оброчное хозяйство, тоже было связано с торговым капитализмом, но с другого конца. Оброк с крестьян был наиболее простым средством добывать наличные деньги для тех помещиков, которые не жили сами в деревне и непосредственно хозяйства не вели.

Но было бы ошибкой думать, что с капитализмом торговым оброчная система имела только, так сказать, «потребительную связь», доставляя помещикам деньги для жизни в городе и косвенно обогащая этим городских торговцев, способствуя развитию привоза заграничных товаров и т. д. Нет, оброк служил и прямо той же цели, что и барщина,—доставке на рынок продуктов крестьянского труда по минимальной цене. Дело в том, что никаких норм, определявших оброк, хотя бы обычных, как это было в Западной Европе в Средние века, в России не было: помещик всегда требовал себе максимума того, что может вынести крестьянское хозяйство, и иногда больше максимума. Как энергично вели дело в этих случаях помещики, покажет один пример. В Московской губернии была Гуслицкая волость, до 1762 года принадлежавшая к числу «государевых»; в этом году она была пожалована Наталье Лопухиной—известной статс-даме Елизаветы Петровны, по приказу этой последней битой кнутом и сосланной в Сибирь, а при ее наследнице «амнистированной». Пять лет спустя наследники Лопухиной, умершей в 1763 году, собирали с этой волости, переводя на деньги и всякие мелкие поборы, более 16-ти тысяч рублей,—а когда волость была государевой, она платила всего с небольшим три тысячи.

Помещик сумел выжать из нее впятеро больше дохода, чем дворцовое ведомство. Аналогичный случай в Казанской губернии вызвал такое замечание у губернатора этой последней (тоже помещика, значит, хорошо знавшего деревенские условия): «что же затем у крестьянина оставаться может к содержа-

нию домоводства в порядке?» Разумеется, ничего не оставалось— другими словами, крестьянин и в этом случае должен был весь прибавочный продукт, без остатка, выбрасывать на рынок, чтобы получать деньги на уплату оброка. В результате, при большой интенсификации оброка, для его уплаты не хватало часто всего дохода крестьянина с его надела — отход в город на заработки является для него вынужденным: иначе ему нечем было бы существовать. Таким образом, в нечерноземной полосе оброчная система приводила к последствиям, совершенно аналогичным пролетаризации крестьянства.

Оброчный крестьянин, выгнанный своим баринком на заработки в город, крепостной кустарь, рабочий на крепостной фабрике,—таковы прослеженные нами три ступени возрастающей эксплуатации избыточного населения крепостных имений, не находившего себе работы у земли. Читатель с удивлением спросит: разве эта последняя так хорошо обрабатывалась уже, что дальше некуда было идти, и более интенсивной системы хозяйства, которая потребовала бы новых затрат труда, завести уже было нельзя? Напротив, и в земледелии интенсификация вполне была возможна—и последние десятилетия XVIII века были свидетелями чрезвычайных успехов крепостного хозяйства в этом отношении,—но и логически, и хронологически интенсивное барщинное земледелие пришло у нас позже крепостной индустрии. Хлеб, как товар, становится очень выгоден с 80—90 годов: промышленные предприятия давали раньше барыши, с которыми не могло сравниться никакое сельское хозяйство.

На помещичьих винокурнях и уральской железнопромышленности мы могли наблюдать влияние тех двух факторов, которые создавали концентрацию капиталов в после-петровской, как и в до-петровской России: монополий—с одной стороны, заграничного спроса—с другой. Дворянский капитализм времен Екатерины II ничем не отличался в этом случае от буржуазного капитализма последних дней Московской Руси.

Когда появились у нас зачатки аграрного капитализма, он не ушел из-под влияния общего закона.

Говоря теперь о сельскохозяйственном предпринимательстве в России, мы думаем о хлебе и о том, что связано с производством хлеба,—от засеянного пшеницей поля до молотилки и элеватора. А когда говорю или о нем полтора-два года назад, говорящему представлялась пенька.

В русском хлебе этот европейский рынок пока нуждался еще гораздо менее: в списке русских вывозных товаров хлеб стоит на шестом месте, ниже не только пеньки, льна и железа, но ниже продуктов скотоводства (сала) и даже холста. Холста в 90-х годах вывозилось на четыре слишком миллиона рублей, а хлеба меньше, чем на три. Это объясняется, однако же, вовсе не тем, чтобы русский хлеб меньше ценили на Западе, нежели русскую пеньку или русское железо,—напротив, хорошо просушенное русское зерно предпочитали всякому другому. Хлебный экспорт задерживался чисто-географическими причинами. До второй половины царствования Екатерины II у России были порты только на Балтийском и Белом морях. Но к концу царствования Екатерины в 1793 году уже пятая часть русского хлебного вывоза шла через Таганрог, Херсон и Феодосию, а пшеница в этом вывозе по ценности составляла почти половину.

Огромное вздорожание «сельских произведений» толкало к интенсификации помещичьего хозяйства, а это последнее в данный момент не могло обойтись без барщинного труда крестьян; интенсификация хозяйства должна была свестись к интенсификации барщины, а эта последняя и земельная теснота вели к крестьянским волнениям.

После Разина ровно сто лет не было в России большого крестьянского движения. Можно было подумать, что народ в отчаянии опустил руки. На самом деле, сначала Смута, а потом Северная война так разрешили население, что на долю каждого крестьянина доставалось больше земли, чем раньше (перед Смутой, например, на каждый крестьянский двор приходилось две с половиной десятины, а восемьдесят лет спустя — уже 9; число душ в каждом дворе, правда, тоже увеличилось, но значительно меньше, не более, чем вдвое). Крестьянину, благодаря этому, было гораздо легче переносить эксплуатацию. Но как только ко второй половине XVIII века население опять сгустилось, появились признаки земельной тесноты (первая ревизия Петра I дала пять с половиной миллионов душ мужск. пола, а третья, сорок лет спустя, уже почти семь с половиной милл., несмотря на то, что она была гораздо менее строгой, на самом деле, тогдашние статистики насчитывали до восьми с половиной милл. душ), опять начинают вспыхивать крестьянские «волнения» и к 70-м годам XVIII века разливаются в огромный пугачевский бунт.

Причиной была не одна земельная теснота,—она только делала положение напряженным до крайности во всей России, а местные причины крестьянской революции были другие: это видно уже из того, что вспыхнула она и всего упорнее держалась на восточной окраине России,—Урале и Поволжье, где как раз земельная теснота не могла быть главной бедой. Но тут нужно вспомнить, что это время вторая половина XVIII века—было временем первого расцвета русской хлебной торговли. Русская пшеница уже просилась за море, Екатерина II уже вела войны с Турцией, чтобы открыть ей дорогу, а поволжские и приуральские губернии—и теперь наиболее производящие, наиболее хлебные губернии. Здесь аппетит помещика к прибавочному продукту был особенно острым, а крестьян здесь было еще сравнительно мало: от этого эксплуатация крестьянства в восточной России отличалась особенной свирепостью. Здесь барщина, в других местах бравшая у крестьян 3—4 дня в неделю, доходила иногда до 6—7 дней. Если бы у крестьянина был и большой надел,—когда на нем ему было хозяйничать? Везде уже в тогдашней России раб, крестьянин был в этих местах рабом более, чем где бы то ни было, напоминая негра американских плантаций или раба в древнем Риме, у которого ничего не было своего, все барское.

В таком положении было не только земледельческое население, но и крепостные мастерские уральских горных заводов. Это особенно важно потому, что на уральских горнорабочих и горнозаводских крестьян (последние должны были для заводов рубить лес, подвозить руду, рыть пруды и т. п.) держалась главная сила Пугачева. Заводы на него работали, снабжали его порохом и ядрами. Люди, умевшие лить пушки, умели из них и стрелять; вместе с ядрами и порохом Пугачев получал с заводов и артиллеристов, и они были лучше правительственных. Участие уральских горных заводов дало пугачевцам технический перевес над войсками Екатерины II. А кочевые народы Приуралья (в особенности башкиры, которых царская администрация всячески мучила и истребляла: после одного восстания башкир было истреблено до 30 тысяч) усилили Пугачева конницей. Когда он явился со всей этой силой в Поволжье, то у него была настоящая армия.

Если бы Пугачев сразу пошел на Москву, он, может быть, имел бы полный успех: в Москве и Туле мастерские тоже волновались, а дворянство было в совершенной панике. Но казаки

заставили его остаться под Оренбургом, где сидел главный, по их понятиям, враг—губернатор. Этим он потерял время, а Екатерина выиграла. К Уралу были стянуты большие военные силы. Разбитый в нескольких сражениях, Пугачев и теперь еще был страшен. Он бросился, наконец, туда, куда ему следовало идти с самого начала,— по московской дороге, на Казань, всюду встречаемый восторженно не только крестьянами, но даже и духовенством, которое из страха перед крестьянами встречало «Петра III» с крестом и хоругвями. Всех помещиков беспощадно истребляли,—за время пугачевщины их было перевешано несколько тысяч.

«В Москве,—писал один современник,—холопы и фабричные и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, почти явно оказывала буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, который, по словам их, несет им желанную свободу».

Какую же свободу нес Пугачев? В своих «манифестах» он «каловал» «всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков верноподданными рабами собственно нашей короны» быть — поясняется дальше — «вечно казаками», «не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку». Это была, как видим, полная программа освобождения крестьян не только с их землей, но и с возвращением крестьянам всех угодий, когда-либо отобранных от них и от казаков помещиками и откупщиками (рыбные ловли и соляные озера сдавались на откуп).

Мало того, уничтожалось не только прямое давление торгового капитала через крепостное право, но и косвенное через подати, кроме подушных, о которых уже упоминалось выше, рядом с рекрутчиной; манифест освобождал крестьян «от всех прежде чинимых—от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей—крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений». Столь коренное преобразование, уничтожавшее весь смысл существования крепостнического государства, манифест явно не рассчитывал провести силами одной царской власти, от имени которой был написан манифест. В заключение, этот последний предлагал крестьянам действовать собственными средствами, и помещиков, «противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать».

Пугачеву удалось истребить много помещиков, но помещичье сословие истребить не удалось. В центральную, коренную помещичью Россию его не пустили. Его войско было достаточно хорошо организовано, чтобы разбивать отдельные небольшие правительственные отряды, но справиться с целою правительственною армией Пугачев оказался не в силах.

После разгрома Пугачев бежал в степь, был выдан казаками и казнен в Москве 10 января 1775 г. Крестьянское восстание было подавлено с варварской жестокостью, целые деревни были «сбиты» карательными отрядами. И еще долго около всех деревень бунтовавшего края красовались виселицы и колеса «на страх злодеям и преступникам подлого состояния».

2. Социально-экономическое преобладание дворянства и рост дворянских привилегий.

К половине XVIII века дворянство, державшее в своих руках торговый капитал, взяло и управление в свои руки. В дворянском управлении легко подметить две полосы. Одна все сводила к избавлению шляхетства от тягостей, наваленных на него службой. Эта полоса охватывает царствование Елизаветы и Петра III—ее кульминационным пунктом является манифест о вольностях дворянства 18 февраля 1762 года, освобождающий совсем дворянство от обязательной службы. С этого момента пассивная оборона может считаться достигнувшей своей конечной цели: тягости со шляхетства были страхнуты. Одержанная социальная победа пробуждает политические инстинкты: дворянство скоро не довольствуется этим; оно хочет организовать все государство заново и по своему. У него оказывается теперь программа. Выполнение этой программы и споры около нее наполняют вторую полосу дворянской политики; межевыми камнями этой полосы можно поставить 1767 год, год созыва Екатерининской комиссии, и 1785 год—издания жалованных грамот дворянству.

Центром дворянского управления был елизаветинский сенат. Такое значение сената было тесно связано с сосредоточением в столице массы дворян: сенат был орудием социальной политики гвардии, как лейб-компания—орудием ее придворного влияния. В сенат вошло все, что было повиднее среди шляхетства.

Особенно характерна для елизаветинского сената его власть над армией. Обе воинские коллегии были обязаны строгою ответ-

ственностью перед сенатом в денежных суммах, находившихся в их распоряжении... По распоряжению сената формируют новые полки. Он заботился об образовании молодежи, pripravляющейся к военной службе. Укомплектование полков и наборы вполне находятся в его распоряжении... Обмундирование и продовольствие армии находились под его руководством; точно то же следует заметить и о вооружении армии. Образцы оружия обыкновенно присылались в сенат, который уже распоряжался о сделании оружия по этому образцу для всей армии. Общий бюджет армии составлялся в сенате, который по представлению воинской коллегии распределял сумму на военные расходы. И в этой области классовое значение сената успело сказаться достаточно рельефно. Рекрутчина брала у помещиков много рабочих рук: сенат заботился о сохранении рекрутских наборов такой пропорции, чтобы и «армия была укомплектована и умножался бы народ к земледелию». Сенат чрезвычайно энергично боролся с попытками крепостных самовольно поступать в армию, которые петровским законодательством прямо поощрялись. Опираясь на петровские указы, дворовые «порознь и целою толпой» стали подавать Елизавете просьбы о принятии их в военную службу. «За таковое их вымышленное и противное указам (!) дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание: которые подавали челобитные не малым собранием, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно, а которые подавали челобитные порознь, тех били плетью, других батогами и по наказании отданы помещикам». В то же время для самих дворян служба всячески облегчалась: было отменено правило Петра, согласно которому недорослей, не явившихся к смотру, отдавали «вечно» в солдаты и матросы. Одновременно с этим окончательно укореняется обычай, не нашедший себе выражения в законодательстве, но который для дворян был полезнее всех писанных законов по этой части: обычай записывать в службу детей. Фактически дети, разумеется, не служили, и нередко на руках у няньки уже пробегали первые ступеньки военной иерархии. Пяти- и семилетние капралы и сержанты к началу их действительной службы бывали уже офицерами, и пожелание шляхетства, чтобы дворянских детей в нижние чины не отдавать, осуществлялось при помощи такого обходного движения без дальних хлопот и без помощи кадетского корпуса.

Но настоящей сферой дворянской политики сената должны были стать финансы. Именно, донесения иностранных дипломатов от самого начала царствования сохранили нам чрезвычайно любопытный проект — совершенного уничтожения подушных путем замены их увеличением соляного налога. Стремление к упразднению номинально крестьянского, а на практике дворянского налога (упомянутый нами иностранный дипломат необычайно точно определяет подушные, как «подать, платимую каждым помещиком со своих крестьян») составляет постоянную тенденцию финансовой политики Елизаветы, притом тенденцию сознательную. Душа этой политики, тот же П. И. Шувалов, писал Сенату в 1758 году: «Народ есть главная сила государственная, и потому надобно желать, чтобы народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен». Это звучало очень красиво—и как нельзя быть больше отвечало интересам помещиков. На практике возможно было, конечно, не достижение идеала, а только более или менее близкое к нему приближение. При вступлении Елизаветы на престол подушный оклад был уменьшен на 10 коп., на два следующие года—1742 и 1743, что должно было оставить в карманах помещиков около миллиона рублей (9—10 миллионов довоенных). В 1752 году подушный оклад вообще был уменьшен на 31,4 копейки, а манифестом 15 декабря этого года запрещена вся недоимка подушного сбора, с 1724 по 1747 год более двух с половиной миллионов рублей (20—25 довоенных).

Несравненно больше значения, нежели все четыре льготы, имела назначенная, по представлению сената, новая ревизия. Мотивировка ее не оставляет ничего желать по своей социальной выразительности. Сенат просил императрицу учинить ревизию для «удовольствия всех помещиков и пресечения донныне исходящих непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь недоимок... и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки... пресекутся, а бедные и неимеющие помещики, кои сами и жены и дети в доимках под караудом содержатся и помирают, от такого бедствия освободятся». Даже крупнейшая финансовая реформа царствования—уничтожение в 1750 году внутренних таможен—рассматривалась проводившими ее с той же точки зрения, хотя и начинали с указания на то, какие обиды терпит от устаревшей таможенной системы крестьянство, на те мытарства, которые приходится испытывать крестьянину, везущему «на продажу

от Троицы в Москву воз дров», но дрова эти чаще всего были барские—или из вырученных на них денег крестьянин должен был заплатить барский оброк.

Естественно является вопрос—кто же расплачивался за все эти льготы в пользу шляхетства, льготы, которые должны были образовать порядочную брешь в государственном бюджете одно упразднение внутренних таможен должно было уменьшить доходы казны на миллион почти рублей. Конечно, «народ». Упразднение внутренних таможен было покрыто огромным повышением внешних таможенных пошлин—в $2\frac{1}{2}$ раза. Большую часть заграничного привоза все еще составляли, если не предметы роскоши, то, во всяком случае, предметы потребления высших классов. Но эти последние жили или крестьянским трудом или крестьянским оброком. Рост этого последнего в елизаветинское царствование достаточно показывает, что положение «народа» не облегчалось с облегчением платежей, падавших так или иначе на помещика. Возьмем один пример. В Загарской волости, Московского уезда, крестьяне платили своему барину в 1740-х годах 300 руб. оброку, в начале 1750 года уже—2300, в 1746—3.900 р. Но и все другие финансовые эксперименты сводились к тому же переложению податного бремени с плеч дворянства на плечи других классов—и в первую голову крестьянства. Увеличение дохода от винной монополии дало блестящие результаты: от продажи вина удалось сэкономить 750.000 рублей, на которые был основан первый в России дворянский банк.

Ту же силу дворянства, какую мы видели в центре, можем мы наблюдать и в деревне. Вотчинное управление имением складывалось (по типу управления государством. Помещик в своей вотчине был таким же абсолютным монархом, как и представители верховной власти, которых он ставил в центре. Подобно тому, как верховная власть в своей правительственной деятельности опиралась на подчиненные ей учреждения, так и помещик свои законодательные мероприятия вводил в жизнь через центральное учреждение, называемое «домовой конторой», домовой канцелярией. Оттуда рассылались указы в вотчины с приказанием немедленно выполнить требуемое. Сюда же посылались рапорты должностных лиц, просьбы крестьян. Всему этому велась строгая регистрация, деловые бумаги отсылались или подавались помещику, который и клал на них соответствующие резолюции. Как

правительство находило необходимым составление инструкции для той или другой должности, так и многие помещики составляли «наказы» для своих приказчиков и управителей. Если помещик жил в имении, то к нему по утрам являлись с докладами разные должностные лица, как то: дворецкий, ключник, выборный староста. Эти доклады обставлялись известным церемониалом подобно тому, как это было принято на аудиенциях двора. Отступление от церемониала влекло за собой немилость помещика вплоть до разжалования и ссылки в деревню, и в этом отношении было полное сходство с придворным бытом и традициями. Помещик был не только источник закона: в его лице крестьяне видели источник права и справедливости, иногда в первой инстанции, иногда в апелляционной. Носители всей полноты судебной власти сплошь и рядом допускали такое злоупотребление своею властью, которое, конечно, было возможно только в крепостном государстве.

Свои приказания помещик сообщал через приказчиков или управителей. И те и другие были двоякого типа: в оброчных вотчинах и в некоторых барщинных имениях ими были старосты, выбранные самим сельским сходом; но в большинстве случаев в барщинных имениях приказчик был назначаем из числа вольноотпущенных, а то и из крепостных.

Приказчики получали особое вознаграждение в размере от 40 до 100 рублей, при этом давалось добавочное содержание хлебом и другими продуктами натурой; кроме того, приказчику давалось разрешение иметь определенное количество штук скота на барском дворе. Конечно, приказчичья должность давала полную возможность пользоваться широко регулярными доходами, подражая в этом отношении представителям правительственной центральной и провинциальной администрации.

В руках приказчика или управителя сосредоточивался верховный надзор по управлению и ведению хозяйства в имении. Приказчик должен был смотреть за своевременностью производства полевых работ и вообще за состоянием всех отраслей хозяйства. Приказчик заботился о сборе подушных денег, большею частью, по третям года и о сдаче крестьян в рекруты. Кроме того, приказчик должен был выслушивать крестьянские жалобы, судить и наказывать, смотря по вине. Приказчиьи инструкции запрещали брать с крестьян всякого рода излишние поборы, но требовали неукоснительно принуждать крестьян к работе. За хорошее ве-

дение дела помещики обещали награду — прибавку жалованья, а если что упускалось нерадением и леностью, управителю грозила немилость, вплоть до обращения в конюхи, как это сказано в инструкции Голицына, — если только управитель был крепостной.

Конечно, на практике управляющие позволяли себе всевозможные злоупотребления властью, и крестьяне по необходимости им подчинялись, хотя случалось, что, не выдержав бессовестной эксплуатации управителя, посылали помещику челобитную. Так, крестьяне генеральши Толстой жаловались, что управляющий, приезжая к ним по несколько раз в год, брал с них за каждый приезд по 30—40 рублей, а если они не давали, то сбрасывал им бороду и волосы на голове. Брала управляющие и натурой: льном, медом, птицей, а если кто не давал, то всегда, конечно, по-своему им отплачивали. Помещики, живя вдали от имения, не имели никаких средств оградить крестьян от подобной эксплуатации. Был только один выход, по словам одного весьма опытного крепостника: отдать крестьянам всю землю и угодья, и при этом условии ежегодный доход помещика будет больше, чем при содержании старосты, вдали от хозяйского взгляда. Зато и отношение помещиков к своим подчиненным было полно грубости. В своих письмах они называют их «двухголовой архибестией», «ночными хищными волками», и все эпитеты обыкновенно сопровождаются угрозой «плетью добро высечь», обещанием «раздавить их, как лягушек», что на практике и случалось, и притом довольно часто. Кроме управителей и приказчиков, во всяком имении были еще и другие должностные лица. Это бурмистры и старосты, большей частью всегда выбираемые миром. Обязанности бурмистра заключались «в смотре за деревнями». Ему в деревнях все крестьяне должны беспрекословно повиноваться. Ему передаются приказания из главной конторы, куда он посылает и свои донесения. Бурмистр получал жалованье из мирской кассы, если он был по избранию мира: размеры устанавливались на сельском сходе. В противном случае, жалованье платил из своих средств помещик.

Назначенные бурмистры и выбранные старосты смотрели «за земледельцами, чтобы они жили добропорядочно и не были бы праздношатающиеся и пьяницы: они унимали людей, впавших в «прелюбодеяние», и заботились о призрении незаконнорожденных; они разбирали ссоры и несогласия между подчиненными, назна-

чали совместно с выборными людьми опекунов как над детьми, так и взрослыми, по разным причинам неспособными вести самостоятельно хозяйство, приискивали с ними женихов девушкам, обращая внимание, чтобы браки были равные. Кроме бурмистров, были еще целовальники, выбиравшиеся всем миром для хранения казны помещика. Целовальник вел отчетность по приходу и расходу помещичьих денег. В некоторых имениях выбирались целовальники для приема хлеба и столовых запасов, для отправки на винокурный завод. Наконец, для ведения письмоводства в имениях были земские дьячки. Вот почти полный перечень крестьянских должностных лиц. Управление вотчиной и суд над крестьянами сосредоточивались в «приказной избе», «земской избе».

Власть помещика не ограничивалась только требованием с крестьян повинностей и платежей. Помещики вмешивались во все функции жизни крестьян, часто превращая деятельность схода в одну фикцию. Помещик отдавал приказания наказать в чем-либо провинившихся перед ним сельских властей, издавал всякого рода полицейские распоряжения, регламентирующие до мелочей жизнь крестьян, отдавал девушек замуж и женил юношей, по своему усмотрению соединяя пары, а иногда за особые выводные деньги отпускал девушек на сторону. Вообще, в брачном вопросе помещика интересовали вопросы более материальные; вся нормальная сторона заключения брака отступала на задний план. Требовалось также согласие помещика или властей на отлучку из усадьбы. Помещик издавал распоряжения противопожарного характера, устраивал карантин во время эпидемии, заводил хлебные магазины, наполняя таковые крестьянским хлебом на случай неурожая, переселял крестьян из одного имения в другое, иногда очень далеко от родных мест, напр., в Новороссию, не обращая никакого внимания, что подобные переселения были разорительны для крестьян и тяжелы в моральном отношении; помогал правительству в преследовании раскола, требуя от крестьян исполнения православных религиозных обрядов. Словом, вся жизнь крестьянина была связана регламентирующими постановлениями помещика. Все эти распоряжения вытекали из бесконтрольного права помещика на труд и личность крестьянина.

Елизаветинский дворянин был настоящим «государем в своем имении». Центральная власть, еще недавно, при Петре, довольно энергично вмешивавшаяся во внутренние отношения вотчины, не

заметно отходит в сторону. Указ 1719 года, предписывавший отдавать в монастырь «под начал для исправления» тех дворян, которые разоряют крестьян своих вотчин, был, собственно, единственной юридической сдержкой помещичьего произвола на весь XVIII век, но и о ней предшественники Екатерины II, повидимому, совсем забыли. Зато с необычайной последовательностью практика проводит точку зрения на крестьянина, как на «подданного» своего барина. Уже один из указов конца петровского царствования требует от ушедшего в город на заработки крестьянина паспорта, выданного помещиком и визированного, так сказать, представителями центральной власти — земским комиссаром и полковником. В случаях недалекой отлучки или когда правительство по тем или другим причинам желало облегчить крестьянский отход — так было, например, по отношению к судорабочим, — визы правительственных агентов не требовалось, и достаточно было разрешения одного помещика, точно так, как и теперь в пограничных местностях для облегчения сношений упрощают паспортные формальности.

Закон 1760 года предоставил помещикам право налагать на своих крестьян одно из самых тяжелых уголовных взысканий — ссылать их в Сибирь. Как бы для того, чтобы подчеркнуть характер помещичьего господства, на решение барина в этом случае не разрешалось апелляции. В то же время, чтобы барин не потерпел материального ущерба от результатов своей расправы, сосланный засчитывался ему в рекрута. «Вследствие позволения, данного дворянству, произвольно, по своему усмотрению отправлять в ссылку ему подвластных, причем суд даже не может спросить о причине ссылки и исследовать дело, ежедневно совершаются самые возмутительные дела», писал Екатерине II новгородский губернатор Северс в 60-х годах.

Помещичьи права юридически были ограничены лишь в одном пункте: права жизни и смерти над своими крестьянами помещик никогда не получал.

Предполагалось подвергать помещика судебному преследованию за убийство крепостного в том случае, если он совершил это убийство лично, притом не случайно, а с заранее обдуманном намерением. Если же крепостной умирал от последствий жестокого наказания, назначенного барином, но исполнявшегося другими людьми (крепостным кучером, например), проект возлагал ответственность на этих последних. На практике помещики запарывали своих кре-

стьян на-смерть чуть не ежедневно, и никто в это не вмешивался. Даже когда свирепые наказания не вытекали естественно из уголовной юрисдикции помещика, а являлись просто любительским мучительством, на них смотрели сквозь пальцы: дело об известной «Салтычихе» начиналось двадцать один раз без всякого результата. Когда уже дело рассматривалось в юстиц-коллегии, челобитчики на Салтыкову, ее крепостные, были по распоряжению сената наказаны плетью: так строго сенат соблюдал правило, неоднократно подтверждавшееся в течение XVIII века, — что на барина государю бить челом нельзя. За границу помещичьего государства центральная власть могла проникнуть или по собственному почину или по почину самого помещика; но для подданных этого последнего государство кончалось его бариним: итти дальше без позволения барина они не смели.

Пытка в государственной практике начала отживать в то время: ее применяли теперь только при политическом розыске да при следствии по важнейшим уголовным делам. В помещичьем государстве пытка продолжала процветать, и находились особые любители заплочного мастерства. Уже в начале царствования Екатерины один орловский помещик Шеншин устроил у себя в деревне форменный застенок со всеми приспособлениями — дыбой, клещами и т. д. У Шеншина «работало» иногда до 30 человек палачей и их помощников. Пытали не только крепостных, но и свободных: однодворцев, канцеляристов, даже священников. На пытке одного купца и сорвалось все дело: купец пожаловался и так как он был не крепостной, начался процесс. Священника Шеншин пытал, подозревая в том, что тот давал его дворовым «чародейский корень», чтобы известить барина. Другой помещик пытал своего крестьянина, его жену и сына по подозрению в том, что его испортили. Любители пытки были, сравнительно, редкостью, но это отнюдь, однако, не были какие-либо изверги. Бить крепостного считалось настолько нормальным делом, что этим не гнушались представители тогдашней интеллигенции, притом, — что особенно интересно, — они сами потом рассказывали о своих подвигах, как о деле вполне обычном. Болотов, автор известных мемуаров и автор книжки «Путеводитель к истинному человеческому счастью», изданной Новиковым, сам рассказывает, как он истязал своего крепостного столяра, подвергая его сечению в несколько приемов, — чтобы не засечь до смерти, — а в промежутках держа его

на цепи. Он довел этим самым столяра до самоубийства, одного из его сыновей—до покушения на самоубийство, а другого—до покушения на убийство самого Болотова. Но даже этот трагический исход не навел Болотова на мысль, что он совершил нечто ненормальное; напротив, ненормальными людьми, «сущими злодеями, бунтовщиками и извергами» оказались у него замученные им крепостные, хотя он сам признает, что раньше сыновья столяра были хорошими работниками.

Нет ничего удивительного, что помещик, потерявший способность видеть в крестьянине человека, а видевший в нем вещь, его продавал вместе с животными и печатал (в объявлении): «Продается девка, умеющая шить белье. Тут же продаются брильянтовые вещи и цветные камни, да бык и корова хорошей породы за сходную цену».

Наконец, в середине XVIII века дворянство было уже недовольно тем, что власть в уездах и в губернии была назначаемой из центра. В наказах своим депутатам, ехавшим в 1767 году в Комиссию по составлению Нового уложения, они ясно выражали пожелания изменения такого порядка и передачи власти на местах в руки выборных местного дворянства.

«От прежде бывших времен и доньше из правительствующего сената в города определяются воеводы,—писали козельские дворяне,—а к их должности принадлежащих качеств правительствующему сенату, за множественным числом оных, определяемых в воеводы, знать невозможно, то благоволено будет отдать выбор воеводы дворянству того города, чтобы они выбирали из своих сотоварищей»...

Но передав в руки местных помещиков уездную администрацию до самой ее верхушки, почему не передать в их руки и местный суд? Скромнее других в этом отношении были костромские дворяне. Судиславское дворянство выражалось так: «Весьма бы для дворянства способно и полезно было, если бы ее императорское величество, милосердная мать отечества, соизволила повелеть для дворянства учредить словесный суд и по оному определить того уезда из дворян, выбрав обществом, судью, и к нему, по такому же выбору, определить же из дворян четыре персоны помощников... А суд дозволить им производить в нижеследующих делах, а именно: в ссорах, драках, потраве хлеба и лугов, в порубке леса, в перепашке земель и в других случающихся прось-

бах (окроме криминальных и розыскных дел) для того, чтобы дворяне, не имея себе убытка и приказной волокиты, могли получить себе вскоре и малое удовольствие, сочтя за большое, ибо из дворян многое число таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют».

Совершенно естественно, что калужане не довольствовались переходом в дворянские руки одних низших судебных инстанций. «Чтобы на учрежденный дворянский суд апелляцию просить от каждого уездного города прямо в губернских городах в учрежденном же дворянском суде, также избрание общим дворянским», ходатайствовали они. В этом губернском суде центральная власть была бы представлена губернатором, который в нем должен был председательствовать; апелляционной же инстанцией для губернского суда был бы только сенат или юстиц-коллегия. Перемышльские и воротынские дворяне (нынешней Калужской же губернии) желали, чтобы и местная прокуратура была выборная; на местах получался, таким образом, сомкнутый фронт дворянских учреждений, противостоявших непосредственно центральной власти, тоже дворянской, но в состав которой местные помещики не желали мешаться. Далее, писали калужане и медынцы: «Препоручаем вам, почтенному господину депутату, в учрежденной комиссии представить, чтобы дворянство везде и всегда избавлено было бы всякого телесного и бесчестного наказания и пыток, а потому и смертной казни».

Каширское дворянство шло еще дальше и подбиралось к «действительной неприкосновенности личности», исключительно дворянской, конечно. «Следовало бы было положение... дабы дворянин, действительно владеющий своим именем, без предводителя и других ему в помощь назначенных, никогда и ни по какому делу арестован не был, в деревнях своих находящийся». И все дворянские пожелания прямо и просто резюмирует кашинский наказ (нынешней Тверской губернии): «живущий дворянин в уезде независим бы был ни от кого, кроме того уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другие какие правительства не могли дворянина собою к суду призвать или к должности определить, или по какому делу взять». «Дворянство должно было стать сословием политически привилегированным».

А затем, после роспуска комиссии 1768 года, большая часть практических пожеланий дворянских наказов была превращена

в законы, что в истории получило пышное название «реформ Екатерины II». По положению о губерниях 1775 года, уездная полиция была отдана выборному от дворян капитан-исправнику, были созданы дворянские суды не только в уезде, но и в губернии (верхний земский суд), были удовлетворены даже второстепенные требования дворянства, — учреждены, например, дворянские опеки, о которых много толковали указы 1767 года, — дворянский предводитель занял определенное место среди губернской администрации. Изданная в 1785 году «жалованная грамота дворянству» обещала, что «благородный без суда не будет лишен ни дворянского достоинства, ни чести, ни жизни, ни имени, что он будет судим только своими равными, что его не коснется телесное наказание; что с дворянами, служащими в нижних чинах, будут поступать во всех штрафах так, как с обер-офицерами; что благородный имеет право покупать деревни, устраивать в них фабрики и заводы, торговать оптом сельскими продуктами, вести заграничную торговлю; было разъяснено, что право собственности на земли распространяется и на «недра той земли», так что упущенные Щербатовым в его наказе минералы не ушли-таки от дворянских рук. Наконец, подтверждено было собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы через депутатов их «как сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений».

3. Отражение экономических отношений на эволюции государственного строя в XVII—XVIII столетиях.

К началу XVIII столетия царский двор, по отзыву иностранцев, походил на купеческую контору. Там все время толковали о разных торговых сделках, о поташе, пеньке, конопле и т. д., так что привыкшие к совершенно другим придворным разговорам иностранцы не могли в себя притти от удивления. Крупные купцы, московские гости, стали своего рода привилегированным сословием. Это было торговое дворянство — вся масса мелких торговцев была у него в кабале, немного лучше той, в которой помещики держали крестьян.

Иностранцы обратили внимание еще на одну особенность Московского государства. Они свидетельствуют, что если бы в Московском государстве вспыхнуло восстание, то гостям прежде всего свернули бы шею. Но дворянско-купеческая власть зорко смотрела за «порядком» в государстве и принимала все меры,

чтобы не повторилось тех событий, каким ознаменована была «смута», как стали дворяне и купцы называть народное движение начала XVII века. Прежде всего тщательно оберегалась самая личность царя, чтобы с ней не случилось такой неприятности, как с первым Дмитрием, которого убили, или с Шуйским, которого свергли с престола и постригли. Строго запрещено было с оружием в руках приближаться к царскому дворцу, кроме, конечно, караульных солдат. Даже в ворота Кремля, так называемые Спасские, народ не смел входить в шапках. Одного холопа жестоко избили плетью за то, что он осмелился провести лошадь через царский двор. Словом, к царской династии старались внушить такое благоговение всем подданным, какого не требовала к себе династия Ивана III и Грозного. Затем была хорошо организована полиция. Почти во главе всего государства был поставлен «приказ тайных дел», и с его легкой руки всякие тайные «канцелярии» и «экспедиции» провожают нас через весь XVIII век. В XIX веке все эти тайные учреждения передаются в руки корпуса жандармов и департамента полиции. Тайный приказ с самого начала был наделен огромными полномочиями. Даже члены боярской думы, т. е. государственного совета, употребляя позднейшее выражение, в этот приказ не ходили и дел там не ведали. Он был, значит, вне контроля этого московского государственного совета. Он был подчинен непосредственно самому царю, и чиновники его на деле имели больше власти, чем члены боярской думы.

Но такая полиция и тогда была только силой организующей, была, так сказать, мозгом этого управления. А мозгу нужны были руки, и поэтому нужно было позаботиться о создании хорошей вооруженной силы, вполне надежной и, по возможности, не зависящей от народной массы. Прежде ополчение московского царя, состоявшее из его вассалов — помещиков и из наемной пехоты, набранной преимущественно из низов городского населения — стрельцов, было мало надежно. Оно было недостаточно дисциплинировано и, как показали события начала XVIII века, легко увлекались народными волнениями. Этих стрельцов и мелких помещиков мы видим то на одной, то на другой стороне, то вместе с Тушиным, то у царя Василия. Стали брать на службу большое количество иноземных, наемных солдат. Из этих людей стали формироваться московские полки. Скоро, однако, нашли, что

это черезчур дорого, с одной стороны, что это не вполне надежно— с другой, ибо эти люди служили только за деньги и за деньги же их можно было перекупить. Мало по малу эти дорогие и не вполне надежные кадры войск стали пополняться людьми, взятыми из народной массы, но оторванными от нее совсем, навсегда. Это не было ополчение, которое призывалось время от времени, как прежде. Солдатом человек становился на всю жизнь. Он совсем отрывался от родной деревни, казарма для него становилась вторым домом. «Наши братцы— туги ранцы, наши сестры— сабли востры, наши детки— пули метки», пела солдатская песня времен Николая I.

Так солдат привыкал думать, и ему всячески вколачивали палками и увещаниями внушали, что он обязан служить исключительно царю, и что если царь прикажет, то он должен расстрелять отца, мать, кого угодно. Под начальством немецких или обученных у немцев офицеров из этих рекрутов скоро выросла регулярная армия, которая по своему вооружению, организации и дисциплине стояла бесконечно выше старого московского ополчения. Не только имея такую армию в руках, можно было не бояться никаких внутренних волнений, но торговый капитал, располагая таким орудием, мог вести такую смелую и энергичную внешнюю политику, о какой он едва мог мечтать за сто лет до этого.

Внутреннее значение регулярной армии сказалось раньше всего. Под гнетом торгового капитала, в половине XVII века, за исключением части северной России, где земледельческое хозяйство могло быть только подсобным и куда помещики не заглядывали, не оставалось никаких других крестьян, кроме крепостных. Только изредка мы встречаем крестьян, которые рядятся со своим баринном, т. е. крестьян вольных, которых нужно приманить при помощи ссуды. Подавляющее большинство было крепко своим господам без всяких «ссудных записей» и рассматривалось, как помещичья собственность. Например, если должен был помещик, отвечали его крестьяне. Неисправных должников ставили на правож, т. е. били палками каждый день, пока они не отдадут долг. За помещика ставили на правож его крестьян, так же, как раньше этой участи подвергались холопы. Так что теперь между крестьянами и холопами не было уже никакой разницы.

Само собой разумеется, что не улучшилось и положение городского класса под гнетом торгового капитала, а так как со-

держание новых войск и вообще всей администрации требовало больших расходов, то ко всему прочему чрезвычайно увеличивались и те налоги и подати, которые лежали на низших классах населения — на крестьянах и мелких городских людях. Образчики этих налогов теперь брались отчасти оттуда же, откуда брались образчики и новой военной силы.

Так, подражавший Западной Европе царь Алексей, второй Романов на престоле, ввел соляную подать. Она вызвала бунт, но бунт этот, при помощи новой воинской силы, был усмирен. Также был усмирен и другой бунт, сопровождавший попытку правительства выпустить поддельные деньги, так называемые медные рубли. Тогда было в обычае не у одного только московского правительства портить монету, к серебру подмешивая медь. Народ это мало замечал, и порченые рубли ходили так же, как полноценные. Но это уже бросилось в глаза, и медные деньги, которых вдобавок начеканили бесчисленное количество, стали быстро падать в цене, а все товары стали дорожать. Это опять вызвало народное возмущение, но правительство оказалось достаточно сильным, чтобы и с ним справиться.

Самое большое восстание, с которым пришлось иметь дело, это было восстание казацко-крестьянское, вышедшее с Дона, восстание Степана Разина. Оно непосредственно связано с развитием торгового капитализма. Его театром было Поволжье, как раз те места, по которым пролегал самый главный торговый путь Московской Руси — река Волга, связывающая Московский край с Персией, откуда получались самые ценные восточные товары, с большой выгодой перепродаваемые потом царскими гостями в Западную Европу, английским и голландским купцам в Москве и в Архангельске. Вдоль этого торгового пути скопилось множество безземельного люда — грузчики, бурлаки, всевозможные мелкие торговые служащие, а затем просто торговцы и ремесленный люд. Помещичье землевладенье на приволжском черноземе быстро распространялось, и так как здешние помещики имели много земли, но обыкновенно мало крестьян, переведенных сюда помещиками из центральных областей Московского государства, то здесь была, конечно, самая жестокая барщина. Крестьян заставляли работать больше, чем в каком-либо другом месте, и к довершению всего тут же рядом, по соседству, был вольный Дон, казацкое гнездо.

В конце революции XVII века вооруженные силы этого казачества были расколоты, и казацкое офицерство — атаманы — перешло на сторону имущих классов. Казачество было дезорганизовано (расстроено). Часть его попала в дворяне, остальных правительство также старалось задобрить, не только не дразня их, а, наоборот, стараясь всячески их ублажать, снабжая хлебом и натравливая их на соседей — турок и татар. Грабежи и налеты поглощали все внимание казачества XVII века. Но когда случилось, что главная турецкая крепость Азов очутилась в их руках, и казачество наивно обратилось к Москве с просьбой о поддержке, — Москва отказала. Ей Азов совсем не был нужен, а нужно было только занять казаков. Казаки были выбиты из Азова, и турки настолько укрепились в нем, что эта крепость сделалась неприступным оплотом турок. Движение на юг было прекращено, казачество вынуждено было искать выхода в других направлениях, на юго-восток, и совершенно естественно оказалось на том торговом пути, который был так дорог для торгового капитала, — на нижней Волге и Каспийском море. Казаки начали с грабежей на русских людей, персов. Но совершенно естественно, что они нарушили и интересы русской торговли, и столкновения с московским правительством были совершенно неизбежны. А раз начав борьбу в этих местах, казаки невольно оказывались в центре всего этого мелкого, угнетенного, закабаленного люда, о котором мы говорили. Степан Разин стал наследником Болотникова. Под его предводительством восставшие овладели Астраханью, овладели Царицыным и двинулись вверх по Волге, по направлению к Москве. Но под Симбирском их встретили новые, по заграничному обученные московские войска и разбили на-голову. Разин был захвачен в плен и казнен в Москве. Так кончился эта новая казацко-крестьянская революция, оставившая по себе память в народных песнях, но гораздо меньше поколебавшая торговый капитал и созданные им порядки, нежели революция начала XVII века. А усмирено было восстание настолько прочно, что сто лет после Разина подобных восстаний больше не было, и надо было неслыханное усиление тяготевшего над крестьянами гнета во второй половине XVIII века для того, чтобы разразилось почти в тех же местах новое восстание Пугачева.

Большую услугу в борьбе с внутренним врагом оказало новое войско именно против старого войска. Стрельцы, смутно

чувствуя, что новые порядки угрожают самому существованию стрелецкого войска, стали волноваться и воспользовались внутренними раздорами при царском дворе, чтобы на некоторое время завладеть Москвой. С ними быстро справились иноземные полки нового строя. «Что ни зубец, то стрелец», говорила тогдашняя мрачная поговорка о том, как Петр развешивал вождей восстания на зубцах кремлевской стены, не считая тех, кто был непосредственно расстрелян на месте битвы.

Наконец, новое войско явилось оплотом торгового капитализма и в борьбе с Пугачевым. Но новое войско было нужно торговому капиталу не только для того, чтобы усмирять внутренних врагов, но и для внешних предприятий, таких огромных и смелых, о каких он не решился бы и подумать сто лет тому назад. Уже в половине XVII столетия правительство чрезвычайно ловко использовало казацко-крестьянскую революцию, происходившую в Западной России. Там, в юго-восточной части Польско-Литовского королевства, происходило то же самое, что было в Московском государстве. Так же развивался торговый капитал, под влиянием этого торгового капитала на месте прежней феодальной повинности появились жестокие оброки, жестокая барщина,—словом, все средства выколачивания из крестьянина, как его называли в западной Руси, «хлопа», прибавочного продукта, который потом поступал на рынок и руками купцов распространялся по всей Европе. Польским хлебом питались в Лиссабоне, и в Неаполе, и неурожай в Польше иногда означал голод в Италии. Как это было в Московском государстве, новые порядки особенно тяжело дали себя чувствовать в местах новой колонизации, т. е. как раз в Приднепровье, в теперешних Киевской, Волынской и других соседних губерниях.

А поблизости, тут же на Днепре, было казацкое гнездо Запорожье, образовавшееся таким же путем, как и на Дону, из беглых «хлопов». Естественно, что здесь повторилось то же самое, что было в Московской России. И как Московское государство видело казацко-крестьянское восстание в начале XVII века, так конец XVII и первая половина XVIII века были наполнены рядом казацких восстаний в Приднепровье. Польское правительство, с самого начала располагавшее и хорошими регулярными войсками, и лучшей полицейской организацией, чем было у Москвы во время Шуйского, долгое время боролось с этими восстаниями. Здесь, однако, и про-

тивник был у дворянско-купеческой власти гораздо более серьезный. Казаки и крестьяне Великодержавии были темной неграмотной массой. У казаков и «хлопов» Западной державии нашлась своя интеллигенция в лице городского мещанства.

Это городское мещанство Львова, Киева, Житомира и других украинских городов терпело от своего торгового капитала не меньше, чем московское от своего. Польское правительство было, разумеется, как и московское, на стороне богатого купечества и всячески теснило и жало украинского мещанина. Но тот имел свою организацию, на подобие западно-европейской, организацию церковную: украинские ремесленники и мелкие торговцы образовали свои «братства» при церквях, с больницами, школами и т. п. Торговый капитал старался сломить эту организацию: в конце XVI века польское правительство провело в Западной державии «унию», т. е. подчинило украинскую церковь назначенным правительством архиереям, которые, в свою очередь, подчинились общекатолическому центру — римскому папе. Для народа эту казенную церковь красиво изображали, как об'единение всех христиан в одной церкви (отсюда «уния», что и значит — «соединение»). Но мещанство поняло, что уния наносит смертельный удар его организации, и воспротивилось унии всеми силами, не подчиняясь казенным «униатским» архиереям. За это на мещанские братства обрушились гонения, все больше и больше толкавшие мещан в сторону «хлопской» революции. Православная вера сделалась знаменем этой последней, а киевская духовная академия — ее умственным средоточием. Казаки и «хлопы» здесь, таким образом, не только не страдали от гнета «панов» — помещиков и помещичьего правительства, но имели и готовое, понятное для себя оправдание своего восстания против этого гнета.

Если восстание здесь было лучше организовано, нежели в Московской Руси, то польское правительство вело себя гораздо менее ловко, чем московское. Это последнее, чувствуя свою слабость, старалось разделить и подкупить восставших. Польское, надеясь на свою силу, пренебрегало этим и одинаково жало и душило и нищего, и «хлопа», и зажиточного казака «зимянина», и городского лавочника, и даже православного, не принявшего унии попа или архиерея. Оно спланивало своих врагов вместо того, чтобы разделить их. Оттого казацкое восстание 1648 года, во главе которого встал один из представителей верхнего, зажи-

точного слоя казачества, Богдан Хмельницкий, одержало блестящую победу над польско-литовскими правительственными войсками. Но одержать победу до конца Хмельницкий не смог, он должен был искать союзников. Этим чрезвычайно ловко воспользовалось Московское государство: оно взяло Хмельницкого под свое покровительство, и таким образом Украина, сначала левый берег Днепра с городом Киевом, перешла в руки Московского государства. Кроме волжского торгового пути, это последнее держало теперь в своих руках и другой торговый путь к Черному морю — днепровский. Но прошло много времени, прежде чем оно использовало этот новый путь и прежде чем борьба за Черное море сделалась главной борьбой для московского торгового капитала. Очередная задача была другая. Наиболее близкий выход к Западной Европе был для Московской Руси не Черное море, а Балтийское. И вот, в этой борьбе за Балтийское море, так называемой Великой Северной войне 1700—1721 годов, в особенности оказалось ценным для торгового капитала его новое оружие — организованная на иноземный образец армия. Сыграла эта армия важную роль в интересах торгового капитала и в турецких войнах второй половины XVIII века.

В XVII и XVIII веках окончательно складывается и весь механизм торгового бюрократического государства. Мы помним, что торговый капитал не организовал сам производство. В его руках были только все средства сбыта и обмена. Торговый капитал был скупщиком готовых товаров, созданных, произведенных самостоятельно мелкими хозяевами, крестьянами и ремесленниками. Эти мелкие хозяева сами по себе не нуждаются в скупщиках, они могли бы продавать все товары сами и весь доход положить себе в карман или могли бы сами их потребить, и поэтому их надо заставить отдать свои произведения; для этого торговый капитал создает сильную центральную власть, с прекрасно организованным по образцу купеческой конторы чиновничеством, с безграничными полицейскими полномочиями и со свирепым, не народным, а тоже чиновничьим, действующим тайно и только казнящим явно судом. В то же время он поддерживает в деревне крепостное право, при помощи помещиков заставляя отдавать хлеб и другое сырье, выбивая его из крестьян розгами помещичьих конюшен. Все это складывалось уже в Московском государстве XVII века, но все это было еще в хаотическом,

неорганизованном состоянии. Сильная центральная власть уже была, но она была еще окружена старыми феодальными учреждениями, которые были ни на что не нужны торговому капиталу. Рядом с царем, была боярская дума, куда люди назначались по их происхождению. Дума не смела, конечно, сопротивляться царской власти, но это лишнее колесо, скрипучее и медленно вертящееся, затрудняло ход всей машины. Во время Северной войны боярская дума исчезает окончательно, и на ее место появляется сенат, составленный из чиновников, назначенных царем, совершенно не считаясь с их происхождением, и обязанных беспрекословно исполнять царские приказания. Сенат — это собрание царских приказчиков. Рядом с ним, под его контролем, из пестрой кучи московских приказов, которые возникли случайно и заведывали всем на свете — и судом, и сбором податей, и войсками, каждым понемножку, — возникает стройная система коллегий, предшественников позднейших министерств, между которыми отдельные государственные дела были распределены в строгом порядке. Была своя коллегия для суда — юстиц-коллегия, своя коллегия для сборов государственных доходов, своя для расходов, своя для контроля. Чрезвычайно характерным для всей системы является большое количество коллегий с чисто хозяйственным назначением. Была образована своя коллегия для управления горными заводами (берг-коллегия), фабриками (мануфактур-коллегия), своя для заведывания торговлей (коммерц-коллегия).

Точно так же было образовано и все остальное управление государством. Города были окончательно отданы в распоряжение местного купечества. В первое время было образовано даже чисто классовое купеческое всероссийское учреждение — ратуша — нечто вроде центральной коллегии гостей, собирающих доходы со всей России. Но во время войны этот орган оказался неудобным и был заменен соответствующими коллегиями. В руках купечества осталось только управление на местах в отдельных городах. Что касается деревни, то она была отдана в полное распоряжение помещиков, в руки которых после этого переходит самая главная функция управления в деревнях. Они судят и наказывают всех крестьян, вплоть до ссылки в каторжные работы, и собирают с них новую подушную подать, введенную во время Великой Северной войны, вместо разных сборов, которые достались романовскому государству от московских царей XVI века. Подушную

подать платили все мужчины без изъятия и без различия возраста. Грудные младенцы и старики одинаково были ею обложены. Это, таким образом, не было попыткой обложить тот или другой доход. Это было просто средством получать деньги с народа самым простым и легким способом: сосчитать число жителей мужского пола, затем разделить между ними сумму, которую должно было получить государство, главным образом, на содержание армии,—подушная подать предназначалась для этой цели,—и все было готово. Что касается косвенных налогов, то в течение XVIII века по отношению к главному из них, питейному налогу, сбору за право продавать водку, которая давала огромный доход, все более и более применялась откупная система. Крупные купцы платили государству известную сумму, а за это получали право торговать водкой в той или иной губернии. Как они ею торгуют, как спаивают народ, как они продают, вместо настоящего хлебного вина, скверный дурман, на это государство смотрело сквозь пальцы, лишь бы только получить то, что причитается. Как видим, и в этой области сбора налогов государство Петра и его преемников верно отражает свою основную сущность, как владычество торгового капитала.

4. Экономическая политика торгового капитала и меркантилизм.

Торговый капитал XVII и XVIII веков имел громадное влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику правительства. До завоевания Малороссии и отчасти до Петра объектом первой был юг;—колонизация южной страны, теперь безраздельно доставшаяся в московские руки, дала непосредственный повод к походам в Крым кн. Голицына и к азовским походам Петра. Перемена в ориентировке этой политики была вызвана, главным образом, интересами русской внешней торговли. Уже де-Родес указывал в 1650-х годах, что традиционное направление этой последней на Архангельск, по крайней мере, вдвое понижает барыши капиталистов, так как по климатическим условиям торговый капитал на Белом море успевает обернуться только один раз (он совершал этот оборот в 5 месяцев), а на Балтийском два или даже три раза, считая судоходную кампанию в 9 месяцев, а оборот при максимальной скорости в 3 месяца. Де-Родес формально работал в пользу Швеции, по существу едва ли не в пользу своего родного города Риги, торговля которого росла во второй

половине XVII века чрезвычайно заметно: вывоз льна увеличен вдвое, конопли слишком втрое, все прочее в такой же пропорции. Территорией, питавшей рижскую торговлю, была Литва и соседние области Московского государства. Экономически город был теснее связан с ними, чем со своим «юридическим» отечеством—Швецией, которой он тогда принадлежал. В таком же положении был и второй после Риги остзейский порт—Ревель.

Когда Петр начал Великую Северную войну походом на Нарву, воскрешая этим операционную линию Грозного; когда он, идя по следам Алексея, осаждал Ригу, — он являлся, в сущности, освободителем плененного шведским засильем остзейского торгового капитала. Рига должна была стать русским портом, так как русская торговля уже выросла из Архангельска; с другой стороны, Риге нужно было освободиться и от шведских пут, так как ее убил бы Кенигсберг, который год от году отбивал у Риги ее клиентов, пользуясь тем, что кенигсбергские пошлины были в несколько раз ниже шведских. Собственно на Петербург Петр был отброшен после того, как ему не удалось завладеть Нарвой, а его союзники саксонцы потерпели поражение под Ригой.

Торговыми интересами на Балтийском море определяется и та комбинация держав, при которой началась Северная война и которая держалась с перерывами до ее конца.

Союз России с Польшей именно на этой почве был столь же естественным, как тяготение Риги к Московскому государству: обеим державам для их экспорта нужно было «свободное» Балтийское море, т. е. уничтожение шведской монополии. Дания была в этом с ним солидарна, хотя бы прежде всего во имя зундских пошлин, которых она не могла заставить платить шведов, не говоря уже о старинной конкуренции двух скандинавских народов на Балтике. Наоборот, голландцы, именно от этих зундских пошлин убежавшие на Белое море, должны были отнестись к русско-польскому предприятию весьма несочувственно.

Взаимные отношения Петра и Нидерландской республики во время Северной войны и по ее поводу могут служить наилучшей иллюстрацией того, что всяческие «культурные» влияния пассуют перед экономическими в случае столкновения.

Казалось бы, что могло быть сильнее голландского влияния на «саардамского плотника», даже в своей подписи рабски копировавшего ту страну, которая в его глазах была олицетворением

европейской цивилизации? А между тем, начиная войну, он знал, что его друзья смотрят на это более, чем холодно. Даже обещание понизить вдвое таможенные пошлины, сравнительно с Архангельском, не заставило лед растаять. «Нынешняя война ваша со шведами Штатам очень неприятна», писал из Гааги Петру его тамошний представитель Матвеев: «и всей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше—взять у шведа на Балтийском море пристань». А когда в Гаагу пришло известие о поражении русских под Нарвою, оно произвело там «несказанную радость». Друзья Петра вместе с англичанами не останавливались даже перед тем, чтобы разорвать союз Петра с Польшей, наладив отдельный мир короля Августа с Карлом XII. На Данию тоже оказывалось давление в том же направлении. Голландцы же формально заявили русскому представителю, что они «по старым договорам обязаны во всем помогать Швеции». Нужны были, с одной стороны, Полтавская победа, с другой—видимое упрочение русских на берегах Финского залива для того, чтобы в Лондоне и в Гааге решились несколько изменить свое отношение к внешней политике Петра.

Таким образом, борьба за Балтийское море была великим испытанием для государства Романовых. Торгово-капиталистическое государство Польша, возникшее раньше Московского, рухнуло в конце XVIII века, и остатки его разобрали себе соседи. Московское государство удачно разрешило стоявшие перед ним задачи. Война не была случайностью и неожиданностью. Московское государство к ней готовилось исподволь и осторожно, накапливая силы и тщательно скрывая свои намерения. Однако, хорошо подготовиться к войне не удалось, потому что задача была тяжела. Швеция нашего времени—маленькая, очень образованная, но совершенно бесильная в военном отношении страна; Швеция 200 лет назад была одной из величайших, если не самой великой державой Европы. В течение XVII века она вынесла знаменитую 30-летнюю войну, во время которой шведская армия заняла первое место среди европейских армий того времени. Готовясь вступить в бой с этим, по-тогдашнему, исполином, Московское государство тщательно запаслось всеми новейшими, по тому времени, приобретениями. Старый фитильный мушкет Смутного времени заменился кремневым ружьем, а на конце этого ружья был привинчен штык, может быть, главное военное изобретение того времени. Следует заметить, что шведы

еще не усвоили себе этого изобретения, а в Москве этим воспользовались: солдаты Петра имели ружья со штыками. В 1721 году по Ништадскому миру Швеция должна была признать себя побежденной, и Московское государство стало одной из великих балтийских держав. К этому времени в руках одной Российской империи было не только устье Невы с Петербургом и Кронштадтом, но и целый ряд балтийских портов: Выборг, Рига, Ревель. Северный конец великого водного пути, связывающего Европу и Азию, Балтийское море с Каспийским, был теперь прочно в московских руках. Оставалось закрепить свое положение на южном конце пути, где Москве принадлежала раньше только Астрахань. Последний поход Петра был направлен против Персии и его задачей было — захватить Каспийское море так же прочно в руки русского торгового капитала, как перед этим была захвачена восточная часть Балтийского. Этот персидский поход Петра был менее удачен, чем Великая Северная война, но все же транзитная, передаточная торговля азиатскими товарами, главным образом, шелком, оставалась в московских руках. Московский торговый капитал блестяще выдержал испытание и мог теперь не бояться ни Швеции, ни Польши.

Торговый капитал в московские времена сосредоточивался на вывозе предметов роскоши — ценных мехов, шелка и т. п. Предметы массового потребления стали у нас вывозиться только после Северной войны, когда Россия получила в свое обладание ряд гаваней на Балтийском море. В предшествующее время хлеб, например, вывозила в Западную Европу Польша, от которой близки были такие удобные балтийские порты, как Данциг и Кенигсберг. Удобство этих гаваней состояло в том, что они никогда не замерзали, тогда как Петербург, Выборг, Ревель и даже Рига оставались запертыми льдом несколько месяцев в году. Русский торговый капитал с самого начала стремился завладеть хоть одной не замерзающей балтийской гаванью, и лет сорок спустя после Северной войны Россия вновь вмешалась в огромную войну, происходившую в Западной Европе, в так называемую Семилетнюю. Целью этой войны для России было завладеть Курляндией, с ее незамерзающими гаванями Виндавой и Либавой. Курляндия была тогда самостоятельным государством, зависевшим то от России, то от Польши, но Польша была уже так слаба, что с нею не считались, и соперницей России была, главным образом, Пруссия; с

нею и велась война. Русским удалось было завладеть даже одной из прусских гаваней—Кенигсбергом. Но Россия была так истощена войной, что вынуждена была заключить мир, ничего не добившись.

До этой войны Россия вывозила только сало, мачтовый лес, пеньку, воск и меха, по-старому. Последняя статья понемногу теряла значение по мере того, как русские пушные богатства истощались, а на рынке появлялись все в большем и большем количестве американские меха. Воска требовалось тогда довольно много, потому что сальные свечи были очень неудобны и неопрытны, а стеариновых делать еще не умели, керосину также не умели употреблять. Поэтому во всех богатых домах, по крайней мере, в «господских комнатах», горели восковые свечи. Пеньку и мачтовый лес покупали преимущественно англичане, вообще главные покупатели русских товаров, державшие в руках всю русскую вывозную торговлю. Они же доставляли и всю мануфактуру для высших классов русского общества—от «аглицкого» сукна до почтовой бумаги, конвертов и даже облаток, которыми заклеивали письма. Произведения русских мануфактур больше распространялись среди простонародья или покупались казной (например, сукно для армии, парусина и канаты для флота и т. д.). Только в конце Семилетней войны стали говорить, что для России «хлебный торг натуральнее всех», и только с первых лет XIX столетия хлебный вывоз начинает приобретать для русской торговли то значение, какое он имел до войны 1914 года. На хлебном вывозе, главным образом, окончательно вырос и развился русский торговый капитализм.

Он с чрезвычайной ловкостью использовал при этом развитие чужого промышленного капитализма.

Под влиянием промышленного переворота в Англии начинается чрезвычайный рост городского и вообще неземледельческого населения. Прокормить быстро росшее промышленное население Англия оказывалась не в силах. Цены на хлеб стали в Англии быстро расти.

Как раз во второй половине XVIII столетия начинается большое оживление среди русских помещиков. Они основывают Вольное Экономическое Общество для обсуждения и изучения вопросов, связанных, главным образом, с сельским хозяйством, начинают разные опыты с новыми семенами, с удобрением и т. п., выписывают из-за границы (из той же Англии) машины и маши-

нистов и т. д. В «трудах» Вольного Экономического Общества начинают писать, что пшеница — самый выгодный товар, и что России самой судьбой предназначено быть «житницей Европы» и источником пшеницы для всех западных стран.

Все эти явления отразились сейчас же и на внешней политике России. Для пшеницы всего лучше чернозем южно-русских губерний. Но оттуда до гаваней Балтийского моря очень далеко, и вот Россия начинает пробивать себе дорогу на юг, к гаваням Черного моря.

Во второй половине XVIII века Россия ведет две войны с Турцией, в результате которых завладевает Крымом и Одессой (вернее, местом, на котором теперь стоит Одесса, потому что Одесса тогда только и была построена) и добивается от Турции права свободного прохода через проливы, отделяющие Черное море от Средиземного.

Вопрос о проливах, из-за которых Россия ввязалась в мировую войну 1914 года, таким образом тоже был поставлен торговым капиталом.

Последствия оправдали надежды русского купца и русского помещика.

Уже в 1801 году они вывезли семь миллионов пудов пшеницы, в 1820 году этот вывоз удвоился, а к 1840-му году почти утроился. Дальше дело шло быстрее: в 1850 году было вывезено 26 миллионов пудов, в 1860 году — 42 миллиона, в 1870 году — 96 с половиной миллионов. К концу XIX века (1895 г.) вывоз русской пшеницы за границу достиг колоссальной цифры — 237 миллионов пудов.

Мы видим, таким образом, что торговые интересы не только оказывают могущественное влияние на русскую внешнюю политику, но и прямо господствуют в ней. При Петре Россия определенно вступает на путь меркантилизма. Исходя из отождествления богатства с деньгами или вообще с драгоценными металлами, торговые политики видят в торговле, приносящей в страну драгоценные металлы, источник народного богатства. Но теория не стояла на одном месте, и в то время, как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особенно колониальным, в XVIII столетии стали сознавать всю выгоду сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикатах перерабатывалось местное сырье, которого не было или которого мало было у других.

Петровской России. были уже знакомы обе стадии. Первая нашла себе юридическое выражение в Новоторговом Уставе 1667 года. Устав начинается с характерно-меркантильного заявления: «Во всех торговых государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами; остерегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и всенародных пожитков мирских». Здесь речь идет об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко фискального характера, стеснявших обмен, ради непосредственной грошевой выгоды царского, а раньше—княжеского казначейства. Множество мелких поборов, оставшихся от удельного времени (мыты, сотое, тридцатое, свальное, складки, повороты, статейное, мостовое, гостиное и проч.), были уничтожены Новоторговым Уставом и заменены однообразной таможенной пошлиной, которая имела в виду не столько непосредственную прибыль казны, сколько создание выгодного для Московского государства баланса: была повыше а пошлина с иностранных вин, зато совсем беспошлинно можно было привозить драгоценные металлы. А предметы роскоши, «узорочные вещи», были вовсе запрещены к привозу без особого разрешения.

В литературе у нас выразителем взглядов этого раннего меркантилизма является Посошков, писавший при Петре, отчасти даже в конце царствования, но характерный, в сущности, для второй половины XVII века. Но Посошков уже понимал, что народное богатство извлекается не из одних торговых барышей. Поэтому у Посошкова мы находим вполне определенный переход к промышленному меркантилизму кольберовского типа. Он все рад бы делать дома до «ребячих игрушек» и очков включительно, не покупая ничего подобного у иноземцев, «ни на полезное», и по обыкновению же налегал на волевой момент, уверял, что коли хорошенько приняться за дело, так стеклянной посудой, например, «все их государства наполнить можем». Меры, которые он предлагает для поднятия русской промышленности — мелочной контроль над доброкачеством каждой отдельной вещи, штрафовка «неисправных» мастеров и т. п., — чисто средневековые. Но когда он мотивирует устройство суконных заводов в России тем, что тогда «те деньги у нас в России будут», он идет в ногу с современными ему европейскими меркантилистами. Здесь Посошков очень близок к голштинцу Люберасу, бывшему при Петре вице-

президентом берг- и мануфактур-коллегий. В одной из своих записок, представленных Петру, Люберас заявляет, что «знакомство с прошлым и настоящим временем делает бесспорным и ясным, как день, что после благословения божия существует два главных пути, пренебрежение и невнимание к которым обуславливают как погибель и порабощение стран, так и их процветание и рост: именно—мореплавание и промышленность». Как на пример, Люберас указывает русскому царю на его собственную страну, «превосходные и необходимые продукты которой до сих пор зависят от чужеземного вывоза и уравниваются обменом на иностранные товары, частью вовсе ненужные, так как ваше величество имеете возможность завести собственные подобные мануфактуры». В этом отношении интересны мысли Федора Салтыкова, изложенные им в 1714 г. в его «Изъявлениях прибыточных государству». Здесь он набрасывает целый план создания в России «заводов: шелковых, парчей, суконных, бумажных, стеклянных, игольных, булавочных, белого железа и смоляных».

Все эти советы теоретически оформляли то, что давно уже давала сама жизнь. Мы уже видели, что XVII век знал фабрики и «заводы». Таким образом, теория кольбертизма и у нас, как и всюду, возникла на почве практики и, стало быть, после нее. Мы видели, что московская вывозная торговля представляла собою в конце XVII века систему довольно правильно и прочно организованных монополий. В конце XVIII века такую же систему стремится принять и крупная промышленность, и у нее являются свои теоретики промышленного меркантилизма. Таким был, между прочим, Радищев, который близко интересовался экономическими вопросами, на что его натолкнула отчасти его служба (он был начальником петербургской таможни). Он прямо упоминает о том влиянии, какое на него имела тогдашняя экономическая литература, преимущественно французская. У него были и собственные работы, например, «Письмо о китайском торге», написанное им во время ссылки, в Сибири. Здесь он высказывает новую для того времени мысль о необходимости «покровительственной системы», осуществившейся в России через тридцать лет после этого письма. «Запрещение иностранных мануфактурных произведений неминуемо родит мануфактуры дома,—говорит Радищев,—а без того внутренние рукоделия могут притти в запустение». Республиканец Радищев был, таким образом, в то же время одним из первых провозвестников идей промышленного меркантилизма в России.

5. Проникновение культурных влияний с Запада и зарождение буржуазных революционных идей

В конце XVIII века буржуазная интеллигенция была еще очень немногочисленна. Она сосредоточивалась в масонских ложах и около единственного тогда в России Московского университета. Во главе масонов стояли тогда московский типографщик-издатель Новиков и профессор Московского университета Шварц. На самодержавие московские масоны и не думали посягать, они надеялись, напротив, осуществлять свои планы при помощи самодержавия.

Первый, кого можно назвать буржуазным революционером в России, вышел не из масонской ложи: это был Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву», изданной в 1790 году.

Уже в одной книжке, изданной еще до «Путешествия», он объяснял своему читателю, что «самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». «Неправосудие государя дает народу то же над ним право, какое ему (государю) дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества». В «Путешествии» он заговорил о том же, во много раз смелее. Он вставил в одну из глав своей книги будто бы не им сочиненное стихотворение «К вольности». Содержание этого стихотворения посвящено вооруженному восстанию против самодержавия, восстанию удачному, которое кончается тем, что «венчанному мучителю», царю, отрубают голову. Царь при этом называется «чудовищем ужасным», «злодеем, злодеев всех лютейшим». Центральной картиной «Вольности» является суд народа над царем за восстание—восстание царя против народа.

Сковав сторучно исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел:
«Преступник, власти мною данный,
Вещай, злодей, мною венчаный,
Против меня восстать как смел.

Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я...
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнущаться восхотел.

А за судом следует казнь.

Ликуйте, склепанны народы:
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя...

Из одного эпизодического упоминания Радищева, похвалы Кромвелю, видно, что конкретным оригиналом его «царя» был Карл I Стюарт. Едва ли кто-нибудь решится утверждать, что автор «Путешествия» ретроспективно, задним числом, мог такой свежей ненавистью возненавидеть Стюартов. Оригиналом его «царя» был несравненно ближе к нему, и ода «Вольность» есть не отголосок французской революции в русской литературе, а литературный памятник русского революционного настроения.

Идеи Радищева, однако, не были чем-нибудь оригинальным в теоретическом отношении. Учителем Радищева, учителем не непосредственно, разумеется, был Мабли (1709 — 1785), один из самых антимонархических писателей XVIII века.

В «Путешествии» писал Радищев о крепостном праве в то самое время, когда оно было особенно дорого помещику, и писал так: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отнимаем у него нередко не только дар земли — хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отнять у него (крестьянина) жизнь. Но разве мгновенно (т. е. сразу). Сколько способов отнять у него постепенно! С одной стороны — почти всеислие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судья, исполнитель своего решения, и по желанию своему — истец, против которого ответчик ничего сказать не может».

Радищев и не думал обращаться к народу: книжка была напечатана в ничтожном числе экземпляров, да и написана так, что выше мы должны были немножко исправить некоторые выдержки, чтобы сделать их понятными. Это одинокий литератор, — интеллигент, писавший для интеллигенции. Никакой связи с крестьянским движением у первого русского республиканца, — как со всей справедливостью можно назвать Радищева, — не было. Правда, в своем «Путешествии» он с сочувствием говорит об убийстве крестьянами жестоких помещиков, но это все, что у него можно найти, хотя бы отдаленно напоминающее пугачевщину. Зато у Радищева гораздо большая близость к буржуазии, и не даром он выступает на защиту зарождавшегося капитализма в своем «Письме о Китайском торге».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Какие изменения произвел торговый капитал.

В XIV, XV и XVI столетиях появляется современный капитал, сначала, главным образом, в виде торгового капитала, и тотчас же начинает оказывать разлагающее действие на феодальный способ производства и, расширяя эксплуатацию ремесленника и крестьянина, становится все больше хозяином положения.

Чем больше развивался товарообмен, тем в большую силу превращались деньги, за которые каждый мог все получить, в которых каждый нуждался и которые каждый брал. У родника капиталистического способа производства стоял не ремесленно-цеховой мастер, который при ограниченности количества подмастерьев мог достигнуть лишь умеренной зажиточности, а купец, капитал которого способен к неограниченному расширению, и у которого жажда прибыли в такой же степени беспредельна. С торговым капиталом, революционной силой XIV, XV, XVI столетий, в общество вошла новая жизнь, и вместе с тем стал возникать новый строй.

Революционный торговый капитал в соответствии со своими потребностями претворял общественные классы. Жажда золота и серебра,—товара, который все может купить,—перекинулась в деревню; сельское хозяйство обратилось к производству товаров: пусть сельский хозяин попрежнему производил для собственного потребления, все же, кроме того, что требовалось ему непосредственно, он должен был произвести еще известный избыток, который можно было бы вынести, как товар, на городской рынок. Сельское хозяйство тоже сделалось источником для добывания денег, и при особо благоприятных условиях крестьянину удавалось, превратив свои оброки и барщины в денежные платежи, освободиться от феодального ярма. Тем не менее вообще денежные платежи оставались бичем, который доводил крестьян до отчаяния, но в то же время немного пользы приносил и сеньорам. Товарное производство и самой земле придало характер товара, а вместе с тем придало стоимость, определяемую не количеством жителей, которые от нее кормятся, а избытками, которые она доставляет. Чем меньше число возделывателей по сравнению с получаемым продуктом и чем беспритязательнее их жизнь, тем больше становился избыток, получаемый от земли, а потому и ее стоимость. Таким-то способом во всей Западной Европе возникла жажда земли, в особенности такой земли, ко-

торая, подобно лесам и пастбищам, не требует многочисленных рук для возделывания. Если дворянство искало ранее земли и людей, если оно тем более богатело, чем больше крестьян прикрепляло к земле и чем больше поселенцев умело привлечь к себе, то у нового дворянства были иные цели. Оно стремилось к захвату крестьянских запашек, а в особенности общинных лесов и общинных выпасов, без которых крестьянское производство было невозможно, и в то же время оно хотело обезлюдить отнятую землю, насколько это было возможно без угрозы продолжению сельско-хозяйственного производства, являвшегося источником денег для дворянства. Барщины тех крестьян, которых еще терпело дворянство, увеличивались до крайних пределов. Эти крестьяне подпадали той наиболее тягостной и бесстыдной эксплуатации, которая характеризует товарное производство, построенное на принудительном труде; бешеная жажда прибыли уже не встречает здесь того сопротивления, которое свободный рабочий все же оказывает капиталистической эксплуатации.

Из крестьян, массами сгоняемых со своих участков, возникли зачатки современного пролетариата. Этот пролетариат отличался от античного тем, что он возник не в виде подонков эксплуататорских и господствующих классов, а сложился вследствие разложения эксплуатируемых и подчиненных классов. Впервые в истории появился класс свободных пролетариев, составлявший низший класс общества. Конечно, у него еще не было ни малейшего предчувствия ожидающего его исторического призвания, тем более, что его крестьянское ядро усиливалось элементами совершенно иного происхождения: вследствие распускания феодальных дружин, которые сделались ненужными для дворянства, когда оно превратилось в придворного паразита или в барышника—товаро-производителя. Этот новый пролетариат использовали отчасти полководцы, отчасти купцы: первые в своих армиях, вторые в своих мануфактурах, в которых они начали производить товары, до того времени получавшиеся из-за границы. Но эти отводные каналы были далеко не достаточны, тем более, что мануфактуры могли применять только обученных рабочих, и что большинство солдат обыкновенно распускалось по окончании войны. Таким образом пролетариат становился жертвой массовой бедности и массового одичания, которое тщетно старались искоренить посредством ужасающе-жестокое кровавого законодательства.

Поскольку дворянство усваивало эту убийственную и грабительскую политику, отпадала его экономическая необходимость.

Чем сильнее становилась центральная государственная власть, чем решительнее полиция подавляла внутренние распри, чем меньше самостоятельной военной силы оставалось у дворянства, тем излишнее для крестьян становилось отыскивать сеньора, который давал бы защиту от сильных. Сеньором-покровителем и защитником оказывался теперь человек, против которого крестьяне прежде и больше всего нуждались в покровительстве и защите. Феодалное дворянство сделалось тягостной помехой для исторического развития; впрочем, последнее скоро отмело его слабейшие элементы, так называемое рыцарство, низшее дворянство, стоявшее между крупными сеньорами и крестьянами, как теперь мелкие буржуа стоят между буржуазией и пролетариатом. Подобно современной мелкой буржуазии, рыцарство тщетно старалось задержать свое падение, как самостоятельного класса, при помощи политики, которая шаталась между господствующими и подчиненными классами из стороны в сторону. Его смертные муки часто приобретали трагический характер, примером чего могут служить германские рыцари Гуттен и Зиккинген. Но литература возвышающейся буржуазии в своем задоре, вытекавшем из избытка сил, видела в гибнувшем рыцаре только комическую фигуру, о чем еще и теперь свидетельствует Дон-Кихот испанского поэта Сервантеса и Фальстаф английского поэта Шекспира.

Постепенно превращение феодального в капиталистический способ производства оказало глубокое влияние и на церковь, и в первую очередь на мировую власть, которая выпала на долю пап. Крупнейший землевладелец Средних веков, церковь, пережила такой же процес, как крупное землевладение вообще. Чтобы использовать сельско-хозяйственное производство в качестве источника денег, она разоряла крестьянский класс, захватывала общинные леса и общие выгоны, прогоняла крестьян с земли или грабила их самым беспощадным образом. Нехорошо стало житься под жезлом. Растущая алчность заставляла также церковь все больше ограничивать попечение о бедных; натуральные доходы, избытки которых раньше охотно предоставлялись ею на это дело, так как сама она была не в состоянии потребить их, превратились теперь в торговые товары, и порожденное этим корыстолюбие захватило и церковь.

Если она становилась, таким образом, все более ненавистой для крестьянского класса, то не снискала она и дружбы поднимавшейся в то время буржуазии. Как бы ни пренебрегала она по-

печением о бедных, все же она не могла забросить их совершенно,— иначе она бы утратила всякую опору в массах. Она все еще представляла некоторое предохранительное сооружение против обнищания масс, пролетаризация которых, производимая капиталом, все еще казалась последнему недостаточно быстрой. Пока неимущий получал от церкви хотя бы скудную милостыню, но еще не отдавался капиталистической эксплуатации. Кроме того, католические праздники были бельмом на глазу для расцветавших городов; чем многочисленнее становились эти праздники, тем резче противоречили они капиталистической мудрости, согласно которой рабочий не работает для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы работать. Но что в особенности важно—новый способ производства уже не нуждался в церкви, как наставнице и руководительнице. Он создал для себя собственное образование и науку; он создал также и собственные органы управления. Духовенство осталось необходимым только для деревни, как еще и теперь в отсталых странах ему приходится выполнять некоторые государственные задачи, например, вести регистрацию браков, рождений и т. д. В XVI веке приходское духовенство оставалось еще экономически необходимым, и никто не думал об его устранении. Но тем решительнее выступил капитал против двух других сил церкви, которые экономически и социалью становились все более лишними, а потому все более вредными для нового способа производства: именно, против монастырей и против папской власти.

Монастыри стали излишни в качестве образцовых сельскохозяйственных учреждений, в качестве учителей населения, покровителей бедных, хранителей искусств и наук. Они кормили тысячи праздных монахов, вместо того, чтобы выгнать их на улицу и передать в распоряжение капитала в качестве наемных рабов. Не исполняя никаких функций в общественной и государственной жизни, грубые, ленивые, невежественные, при всем том непомерно богатые, монахи все более впадали в разврат, грязь, всевозможные пороки. Они становились предметом всеобщего презрения. Столь же излишним, как монастыри, становилось и папство. Защитой христианских народов от язычников и неверных оно выполнило свою историческую задачу; со времени крестовых походов уже никакая опасность не угрожала со стороны Азии. Папская власть и вера в ее всемирно-историческую миссию, являвшиеся до XII века средством спасения христианских народов, с XIV века превратились

в средство эксплуатировать эти народы. В эпоху торгового капитала Римская курия увидела, что торговля—наилучшее средство для того, чтобы обирать людей и быстро приобретать крупные богатства. И вот она начала барышничать церковными должностями, а в особенности отпущением грехов за наличный расчет,—так называемыми индульгенциями, которые из года в год становились все бесстыднее. Таким образом, римский церковный механизм превратился в гигантскую и неустанно действующую эксплуататорскую машину.

В соответствии с своими потребностями, революционный торговый капитал создал и современный абсолютизм. Государственное управление должно было приспособиться к новой экономической организации и повести к усилению власти государей там, где последние еще сохраняли ее остатки. Для торговли был необходим надежный полководец и сильное войско, которое, в соответствии с характером обслуживаемой им экономической силы, нанималось за деньги, представляло наемное войско в противоположность феодальному рыцарскому войску. Торговля нуждалась в таком войске для того, чтобы охранять свои интересы во вне и внутри, подавлять конкурирующие нации, завоевывать новые рынки, разрушать те границы, которые полагались свободным сношениям внутри государства мелкими общинами, для того, наконец, чтобы осуществлять на путях полицейскую власть по отношению к тем крупным и мелким феодалам, которые хотели бы захватить торговые барыши наиболее простым способом—посредством дорожного разбоя. Коротко говоря, соединив все ресурсы административной и военной власти в одних руках, княжеский абсолютизм сделался экономической необходимостью.

Но приходилось позаботиться и о том, чтобы этот современный абсолютизм, чем больше он усиливался по отношению к крестьянам и ремесленникам, к дворянству и духовенству, не получил бы такого же преобладания и над капиталом. В действительности, чем больше основой его власти становилось уже не землевладение, а деньги, тем больше возрастала его зависимость от капитала. Войска, которые приходилось держать государям, стоили очень дорого, не менее денег требовало содержание дворов, которые своим величием и пышностью должны были выманить недовольное феодальное дворянство из его замков. При княжеских дворах развернулась безумная роскошь, которая поглощала несметные суммы. Князья начали повышать денежные поборы, причем они становились в большую или меньшую зависимость от

богатых городов, которые ценой денег покупали новые права для себя. Но и денег, доставляемых им городами, было недостаточно для того, чтобы заштопать прорехи, которые производились в княжеских финансах нескончаемыми войнами и придворной расточительностью, и современные государи, несмотря на свою власть, кажущуюся неограниченной, скоро попали в долговое рабство к капиталу.

Наконец, торговый капитал создал и свою идеологию. На место ограниченного партикуляризма, характерного для Средних веков, выступил космополитизм, который чувствует себя хорошо повсюду, где только можно что-нибудь заработать. В противоположность цеховому горожанину, который нередко всю свою жизнь не переступал границ своего города, купец неустанно рвался в неведомые страны, перешагнул пределы Европы, положил начало эпохе открытий, которая увенчалась отысканием морского пути в Индию и открытием Америки. Но, с другой стороны, универсальности средневековой церкви купец противопоставил национальность, которая была лишь слабо развита в Средние века с их мелкими самодовлеющими общинами. Противоположность покупателя и продавца развилась в мировой торговле в национальную противоположность; чем сильнее было общество, к которому кто-либо принадлежал, тем выше были для него шансы увеличить свои барыши. Таким образом, в мировой торговле выросли мощные экономические интересы, которые мало-по-малу укрепили слабую спайку средневековых государств, но в то же время резче отделили их друг от друга, так что христианский мир раскололся на глубоко обособленные нации. В той же мере, как мировая торговля, внутренняя торговля тоже содействовала усилению национальных государств. Из существа торговли вытекает концентрация ее в узловых пунктах, где сосредоточиваются заграничные товары, которые отсюда по широко разветвленной сети дорог и путей расходятся по всей стране, и где в то же время сосредоточиваются туземные товары, которые отсюда сбываются за границу. Вся территория, над которой господствует такой узловой пункт, превращается в экономический организм, который тем теснее срастается с узловым пунктом и тем сильнее зависит от него, чем более производство для собственного потребления вытесняется товарным производством. Но вместе с тем он становится центром духовной жизни для зависимой от него территории, и национальный язык начинает вытеснять, с одной стороны, универсальный латинский язык средневековой церкви, а с другой стороны—крестьянские диалекты.

2. Торговый капитализм и современность.

До XX века не исчез ростовщик и торговец-скупщик, созданные торговым капитализмом. Одним из ярких примеров может служить так называемое кулачество в деревне.

Хозяйство крестьянина неустойчиво в силу многих причин: и вследствие первобытной грубой техники, ставящей ход производства в сильнейшую зависимость от всяких изменений в атмосфере и вообще во внешней природе, и вследствие непропорциональной тяжести податей и налогов, и вследствие колебания цен на хлеб и т. д. При натуральном хозяйстве одни из этих причин не существовали, например, колебание цен, другие приводили только к тому, что сокращалось потребление крестьянской семьи. При денежном хозяйстве все эти причины ведут к тому, что в известные моменты у крестьянина возникает потребность в деньгах на покупку орудий, семян для посева, на уплату податей. И так как, по большей части, продажа крестьянских товаров, хлеба и рабочей силы не дает необходимой суммы, то крестьянин обращается за помощью к кулаку — обыкновенно его же более зажиточному односельчанину. Кулак дает деньги, но за громадные проценты, по большей части десятки процентов в год, причем ссуда выплачивается нередко не одними деньгами, но также отработками (кулак обыкновенно тоже земледelec) и продуктами (кулак является здесь и скупщиком). Но так как проценты велики, а хозяйство крестьянина слабо, и вдобавок по своей темноте и незнанию законов крестьянин очень часто оказывается обманут, то, не смотря на все усилия должника, долг не уменьшается, а возрастает. Наконец, когда фактически долг уплачен уже несколько раз, юридически его сумма достигает таких размеров, что хозяйство крестьянина не может более существовать, и его имущество переходит в руки его кредитора. Неизбежность закабаления крестьянина обуславливается и самим характером его работы на отдаленный рынок: он не может сбывать свой продукт, например хлеб, только при посредстве скупщика. То же нужно сказать по отношению и к кустарю.

Возьмите крестьян как ремесленников или мелких промышленников, и вы увидите то же самое.

Вторая стадия развития торгового капитализма — домашняя система крупного капиталистического производства — пустила до того глубокие корни, что она продолжает жить даже в XIX и

XX веках, т. е. в период господства высших форм капитализма. Домашняя система крупного производства распространена особенно сильно в конфекционном деле, в производстве обуви, вязальных изделий и т. д. В Германии еще в конце прошлого века полмиллиона человек было занято в домашней промышленности; в Швейцарии в тот же самый период 20% всех работающих работало у себя на дому под руководством торгового капитала. Домашняя промышленность распространена даже в Англии, где она получила характерное название «система выжимания пота». У нас в России домашняя промышленность известна под названием кустарных промыслов, охватывающих около трех миллионов трудящихся. Кустари работали и работают почти исключительно на скупщиков. Скупщики снабжают их сырьем, иногда даже орудиями, и ссужают им деньги. Ясно, что кустари очень часто при этих условиях превращаются в наемных рабочих торгового капитала.

Крупный характер домашнего капиталистического производства выступает ясно уже не только в том факте, что перемещение готовых продуктов на рынок совершается в больших размерах, но также и в массовой доставке материалов, которые затем распределяются между отдельными мелкими производителями.

Понятно, что чем сильнее фактическая зависимость мелкого производителя от торговца-скупщика, тем легче он утрачивает остатки своей самостоятельности, тем меньше он в силах сопротивляться дальнейшим захватам со стороны торгового капитала.

Отчего так живучи формы, созданные торговым капиталом? Оттого, что экономические условия жизни не изменились всюду со всюю силою. И в настоящее время во многих местах размеры местного рынка ничтожны, интересы промышленников и ремесленников не выходят за пределы окраинных селений, они не приходят в соприкосновение с промышленниками других районов, они боятся, как огня, «конкуренции», которая беспощадно разрушает патриархальный парадиз мелких ремесленников, не тревожимых никем и ничем в их рутинном прозябании. Чем захолустнее деревня, чем дальше она стоит от влияния новых капиталистических порядков, железных дорог, крупных фабрик, крупного капиталистического земледелия, тем ближе к отдаленному прошлому условия, тем сильнее монополия местных торговцев и ростовщиков, тем сильнее подчинение им окрестных крестьян и тем более грубые формы принимает это подчинение. Число этих

местных пиявек громадно по сравнению со скудным количеством продукта у крестьян, и для обозначения их существует богатый подбор местных названий. Вспомним всех этих прасолов, шибает, щетинников, маяков, ивашей, булыней и т. д. и т. д. Преобладание натурального хозяйства, обуславливая редкость и дороговизну денег в деревне, приводит к тому, что значение всех этих «кулаков» оказывается непомерно громадно по сравнению с размерами их капитала. Зависимость крестьян от владельцев денег приобретает неизбежно форму кабалы. На труде закабаленного кустаря в XVIII, XIX и XX веках наживались скупщики, фабриканты, помещики и другие капиталисты, давая кустарю столько за работу, чтобы он не умер с голоду. Они могли это делать, так как кустари работали поодиночке в разных местах, страшно нуждаясь в сырье и деньгах, которые были в руках капиталистов, и кустари невольно сами шли в кабалу; подчас это был сам богатый кустарь, имеющий орудия и деньги. Не в интересах капиталистов было поднимать технику кустарей, их конкурентов на рынке, не в их интересах было открывать кустарям возможность организоваться в кооперацию. Правительство, выражавшее интересы капиталистов, не шло навстречу кустарю.

Со времени нашей революции, когда началась борьба с капитализмом, и в частности, с торговым, власть пошла на помощь кустарю: государство давало ему сырье, давало заказы для Красной армии, железных дорог, освобождало от воинской, трудовой, гужевой повинности. С новой экономической политикой, когда частные лица получили возможность торговать и производить, власть немедленно дала возможность кустарю организоваться в кооперацию, право образования артелей, союзов для совместной работы, закупки сырья, сбыта изделий. К ноябрю 1922 года Всероссийский Центр промысловой кооперации объединял 151 союз с 3941 артелями и с 179.000 членов в них. Кооперации предоставлены льготы. Кооперации государство помогает и средствами. Оно организовало для нее особый кооперативный банк (Всекобанк) и постепенно, по мере исчезновения старых условий, формы торгового капитализма начинают изживать себя.

Когда же исчезнет та поразительная раздробленность мелких производителей, которая была неизбежным следствием патриархального земледелия, когда разрушатся в самом основании старинные формы хозяйства и жизни с их вековой неподвижностью и

рутиной, в связи с этим разрушится оседлость застывших в своих средневековых перегородах крестьян, и создадутся новые общественные классы, по необходимости стремящиеся к связи, к объединению, к активному участию во всей экономической, и не одной экономической жизни государства и всего мира,—тогда исчезнут в жизни окончательно и формы торгового капитализма.

Промышленный капитализм, стягивая вместе местные мелкие рынки, соединял их в крупный национальный, а затем всемирный рынок, разрушал первобытные формы кабалы и личной зависимости, развивал вглубь и вширь те противоречия, которые в зачаточном виде наблюдались в общинном крестьянстве, и таким образом подготовлял разрешение этих противоречий. Социализму предстоит дать окончательное разрешение их.



Книгоиздательство „СЕЙТЕЛЪ“ Е. В. Высоцкого.

Ленинград, пр. Володарского 34. Тел. 2-10-20 и 5-47-76.

- ЦЕНТНЕРШВЕР М.**—Радий и радиоактивность 1 20
ЭЙНШТЕЙН А.—Основы теории относительности.—4 лекции, прочитанные в Пренстонском университете. — 75
- Из серии «Физика и химия в технич. экскурсиях».
- БИЗЮКИН Д. Д.**, инж.—На железнодорожной станции 1 50
- Из серии «Победы техники».
- Техника пара и газа, под. ред. проф. **А. ПЕТРОВСКОГО** 2 50
- ДЖИЛЬБРЕТ Л.**—Психология управления предприятиями (распр.) . 1 80
- ===== Естествознание. =====
- БУБЛИКОВ Ш. А.**—Биологическ. беседы. 2-ое изд., соверш. перераб. 1 35
ЕГО ЖЕ. Опытная ботаника — —
ВАСИЛЬЕВ Ю. А., д-р.—Очерки физиологии духа (распр.) — 85
ПЭРНА Ник.—Строители живого тела. (Очерки физиологии внутренней секреции) 1 25
РАЙКОВ Б. Е., проф.—Книжка для практич. работ по неживой природе. Пособие для учащихся — 35
ФИЛИПЧЕНКО Ю. А., проф.—Общедоступн. биолог., 4-е изд. испр. и доп. 1 20
ЕГО ЖЕ Е.—Происхождение домашних животных — 70
ШМИДТ П. Ю., проф.—Сила жизни. Биологический очерк — 65
- ===== География. =====
- География, как наука и как учебный предмет. Сборник статей под ред. проф. **С. П. Аржанова**. 1 30
ИВАНОВ Г. И.—Начальн. курс географии. Части I и III по — 85
ТОЖЕ Часть II — 70
ЛОТЦЕ Р.—Древность земли. — 60
ЛУШАН Ф.—Народы, расы и языки. 1 75
- ===== Педагогика. =====
- Трудовая школа в свете истории и современности. Сборник статей под ред. проф. **М. М. Рубинштейна** (распр., печ. 2-е изд.) 2 —
СИНКЛЕР Э.—Гусята (Народное образование в Америке) — 90
- ===== История. =====
- ГРОССМАН С.**—Фердинанд Лассаль.—Перевод с немецкого. . . 1 25
КАРЕЕВ Н. И., проф.—Очерки по социально-экономич. истории Западной Европы в новейшее время. 1 50
ЕГО ЖЕ Е.—Французская революция в историческом романе. . . — 90
ЕГО ЖЕ Е.—Две английские революции XVII века 1 50
ЙОЦ Е. С.—Крестьянские движения в России 1 30
ЛОЗИНСКИЙ С. Г., проф.—История древнего мира—Греция и Рим. 1 10
ЕГО ЖЕ Е.—Средневековые ростовщики. — 90
ОЛАР А.—Культ Разума и Культ Верховного Существа во время франц. Революции 1 50
СИГРИСТ С. В.—У порога Великой войны — 80
ТАРЛЕ Е. В., проф.—Европа от Венского конгресса до Версальского мира 1 50
ТХОРЖЕВСКИЙ С. И.—Народные волнения при первых Романовых. 1 25
ВОЛЬТЕР Ф. А.—Мемуары и памфлеты 1 —

Обществоведение и экономика.

Библиот. Обществ. под ред. проф. Н. Г. Тарасова.

- Т. I. Жизнь общества в первичных формах и сложных образованиях античного рабовладельческого мира. (3-е изд.) 2 —
- Т. II. Формы организации труда и общества в Европе в эпоху преобладания натурального хозяйства и развития средне-земно-морской торговли (2-е изд.) 2 —
- Т. III. Жизнь общества в эпоху океанической торговли, зарождения мировых рынков и капитализма (2-е изд.) 1 75
- Т. IV. Жизнь общества в эпоху новейшей мировой торговли, капиталистич. промышленности и развития социализма (2-е изд.) 2 25
- БОЛДЫРЕВ Н. В.** проф. и **С. Я. ГЕССЕН.**—Современная Европа . . . 2 —
- ГРЕДЕСКУЛ Н. А.**—Происхождение и развитие обществен. жизни. 2 25
- ФОРЛЕНДЕР К.**—История социалистических идей — 85
- ШАФТ С.**—Социальная борьба в Западной Европе XIX века . . . 2 —
- ФОЙХТ А.**—проф.—Техническая экономика 1 35
- ШТЕЙН В. М.**, проф. — Развитие экономической мысли. т. I. Физиократы и классики 2 —

Литература и родной язык.

- АРТЮШКОВ Р.**—Звук и стих. Совер. исслед. фонетики русск. стиха -- 50
- АЛЬБАЛА АНТУАН.**—Искусство писателя. С предисл. А. Горнфельда. 1 —
- ВОЛЬПЕР Ж. И.**—Справочник по этимологии русского яз. в табл. — 40
- Е Г О Ж Е.**—Новый орфографический словарь — 50
- Е Г О Ж Е.**—Правила правописания. — 20
- КАРСКИЙ Е. Ф.**, акад.—Диалектология. 2 50
- КЛЕЙНБОРТ Л. М.**—Очерки народной литературы (1880—1923) . 2 75
- МИРОНОСИЦКИЙ П. П.**—Словечко—букварь — 30
- Е Г О Ж Е.**—Как обучать грамоте по „Словечку“ (Методические указания для учителей) — 40
- Письма **В. Г. КИРОЛЕНКО** и **А. Г. ГОРНФЕЛЬДУ.** 1 40
- РЕДЬКО А. Е.**—Литературно-художеств. искания за последние 25 лет. 2 —
- СОЛОВЬЕВА Е. Е.** и **ТИХЕЕВЫ Е. И.** и **Л. И.** Русская грамота. Первая после букваря книга для чтения — 75
- СИПОВСКИЙ В. В.**, проф.—Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней — 70
- ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ТУРГЕНЕВА.** — Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. 2 75
- ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДОСТОЕВСКОГО**—Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. 2 —
- ЭНГЕЛЬГАРТ Э.**—Рабиндранат Тагор, как человек, поэт и мыслитель 1 50

Иностранные языки:

- ДОДЕ А.**—Малыш 1 10
- ФЕХНЕР Э.**—Методика преподав. немецкого языка в русской школе 1 75



2015147.66